

**ВРЕМЯ
И МЫ** 104
1989



ПОЭТ И ВЛАСТЬ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКОМУ СУДЬЕ

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Пятнадцатый год издания.

Выходит один раз
в три месяца

104
1989

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1989

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН	СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ЕФИМ ЭТКИНД (<i>зам. гл. редактора</i>)
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК	

Израильское отделение журнала «Время и мы»
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала «Время и мы»
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Давид ШАХАР
Цезарь.....5
Леонид ИЦЕЛЕВ
Детективная история с рыхлым сюжетом.....83

ПОЭЗИЯ

Шарль ДОБЖИНСКИЙ
Открытое письмо советскому судье..... 95
Лариса МИЛЛЕР
Слова и молчание.....102

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА.

Дора ШТУРМАН
Соблазн прогноза.....107
Валерий ЧАЛИДЗЕ
Возродиться нелегко.....124
Елена ГЕССЕН
Синдром колорадского жука.....132
Игорь ШАФАРЕВИЧ
О русофобии.....145
Ефим ЭТКИНД
Без маски.....173

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Давид АЗБЕЛЬ
До, во время и после..... 180
Юрий ДРУЖНИКОВ
Дома у Сталина без его приглашения.....246

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Людмила КАФАНОВА
Плагиат в эпоху гласности.....271

ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»

В. ПЕТРОВСКИЙ
Русская культура в портретах и анекдотах.....276



Давид ШАХАР

ЦЕЗАРЬ

Перевод с иврита Наталии Вольберг

Державный Цезарь, обращенный в тлен,
Пошел, быть может, на обмазку стен;
Персть, целый мир страшившая вокруг,
Платает щели против зимних вьюг!

(Гамлет, перевод М.Л. Лозинского)

Я схватил Цезаря обеими руками и швырнул его в клетку. Сторож надавил на засов, закрыл его ударом и побрел прочь, тяжело ступая.

Когда мы вышли на шоссе, я взглянул на Шинхав и увидел, что глаза ее полны слез. Она старалась побороть их молча, покашливая и глотая их так, чтобы я не услышал. Но слезы катились капля за каплей. Ее красивые карие глаза ослепли от слез, и слезы затушевывали их красоту. Я впервые видел ее плачущей, плачущей по-настоящему, и удивлялся действительности, которая разрушила воображаемое и находилась в полном противоречии с тем, что я представлял.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

©"Время и Мы"

ISSN 0737 7061

Copyright Давида Шахара

Сколько раз видел я плачущую Шинхав в своем воображении, и каждый раз плач добавлял ей красоту, и нежность, и блеск далекого и высокого мира, пока не пришел этот плач и одним махом не разрушил все. Чистые белки ее глаз покраснели и помутнели, гладкая кожа ее лица сморщилась и постарела. И из-за этого сделалась она более близкой и трогательной. Я чуть было не сказал «и более любимой», но я на самом деле не знаю, можно ли назвать весь этот клубок отношений любовью. Я не знаю. И Шинхав не знает. А все остальные тем более не знают даже о существовании этого клубка. Но все знают о любви Цезаря. Цезарь — пес. Простой уличный пес. Из дворняжек. И несмотря на это, он самый честный, хороший, смелый пес из всех псов, встреченных мною в жизни. Если бы существовала справедливость в этом мире, в этой тесной клетке должен был сидеть я.

И это не пустая болтовня человека, не знающего, что значит сидеть в тюрьме. Дважды в жизни я уже сподобился быть арестованным — я, для которого нет ничего более страшного, чем находиться длительное время в закрытом месте, и оба эти раза я был арестован, можно сказать, ни за что или почти ни за что.

Я говорю только о тех случаях, когда я был настоящим арестантом, и опускаю воспоминание о коротком двадцатичетырехчасовом пребывании моем на гауптвахте в военном лагере. Я не собираюсь сейчас развертывать рассказ об этих двух случаях во всех подробностях, ибо это очень длинный и скучный рассказ. Но поскольку я коснулся их, то не могу перейти к рассказу о жизни Цезаря и обо всем, что с ним связано, без того, чтобы не вспомнить о моем первом аресте. Не потому, что существует какая-то связь между этими двумя историями, но потому, что я просто не могу удержаться от этого всякий раз, когда собираюсь рассказать что-либо. Это моя дежурная история. До сих пор не встречался мне человек, не обладавший какой-либо определенной историей, которую он готов рассказывать

всякий раз, когда беседует с кем-нибудь о своей жизни. Даже отец, мир праху его, у которого никогда не было достаточно свободного времени, чтобы развлекать себя всякими рассказами и сказками — даже он каждый раз заново наслаждался, когда представлялась ему возможность повторить свой дежурный рассказ. Он был о том, как Верховный правитель посетил промышленные предприятия Мертвого моря, где отец был рабочим, и о беседе, которая завязалась между ними, и о том, что случилось в ее конце. Подобные рассказы — это одно из бедствий супружеской жизни или всякой другой жизненной связи, продолжающейся длительное время.

Что касается матери, которая была знакома с рассказом отца и знала его наизусть, от начала до конца и от конца до начала, вдоль и поперек, со всеми вариациями, добавлениями и украшениями, то она не только была вынуждена слушать его снова и снова, когда бывали гости, но еще должна была качать головой с удивлением и изумлением и каждый раз заново приходить от него в восторг. Впрочем, это было самым маленьким несчастьем в ее супружеской жизни.

Что касается моего рассказа, то я был арестован в первый раз, когда еще учился в средней школе, за год с небольшим до того, как англичане оставили страну. Была суббота, и я гулял в районе Катамонов, где жили арабские эфенди, греческие торговцы и британские государственные служащие. Пройдя вдоль всей рощи Сен-Симона я спустился по тропе к домам. Я собирался пересечь Катамоны и вернуться к еврейским улицам через район Тальбие. Еще в роще охватило меня чувство какого-то неуютя, характерное для всякого, кто оказывался за пределами еврейских районов и начинал ощущать чуждую и враждебную атмосферу. Такое чувство возникало во мне каждый раз, когда я возвращался домой один поздно ночью от своей девушки, которая жила в старом районе Монте-фиоре, напротив горы Сион. Возвращаясь, я должен был

пройти открытый участок, засаженный оливковыми деревьями, и дорогу, и несколько улиц, по которым бродили по ночам молодые арабы. Чуждая и враждебная атмосфера господствовала приблизительно до Центральной почты. В этом районе два араба напали на одного из моих друзей, которому удалось спастись только потому, что он занимался дзюдо. Для большей уверенности я еще в поле вооружался обычно круглым камнем, чтобы увеличить силу удара моего кулака, которым я собирался съездить по морде всякому, кто вздумает напасть на меня.

Сейчас я не поднял камня, потому что было тихое утреннее время. На воротах ограды первого на тропе дома я увидел надпись греческими буквами. Я приблизился к ней, чтобы посмотреть, смогу ли я расшифровать написанное. Как-то выучил я, просто из любопытства, греческий алфавит. «Георг Атанасис Спирдакос», — было написано там. Еще когда я наклонился к табличке, какой-то трепет прошел по моему позвоночнику. Я обернулся, и кто-то шевельнулся за окном дома, на другой стороне улицы. Потом подошел к подоконнику и посмотрел на меня, и я посмотрел на него и увидел по его шапке и по знакам отличия на его погонах, что это крупный чин британской полиции. У него были маленькие усики — коричневый квадрат между ноздрями и верхней губой. «Наверно, один из самых главных», — сказал я себе и подошел к его дому посмотреть, что написано там. Тогда не знал я еще, что этот человек был начальником тайной полиции и получил несколько угрожающих писем от членов «Лехи»*. Но в тот момент, когда мы стояли друг против друга, промелькнула у меня определенная мысль. «Если бы был я террористом, — сказал я сам себе, — я мог бы сейчас уничтожить этого офицера полиции одним pistolетным выстрелом и спокойно убежать через рошу Сен-Симона».

*Организация еврейского сопротивления в Палестине.

Я не знаю, что заставило меня посмотреть на табличку над входом в его дом. Почему-то казалось мне, что и она будет написана греческими буквами. В этот момент, черт знает откуда, выросли позади меня два араба полицейских, которые на английском языке приказали мне поднять руки. Из-за ограды появился британский сержант, который обыскал меня с поразительной быстротой, и раньше, чем я понял, что происходит, я оказался в полицейской машине, везущей меня в тюрьму.

В машине я не думал о том, что ждет меня, а удивлялся, что это вдруг мне вздумалось разгуливать именно сегодня по Катамонам. Следуя здравому смыслу, я вообще не должен был находиться здесь сегодня, а готовиться к экзамену по истории еврейского народа. Завтра экзамен, и в течение всей недели я откладывал подготовку на субботу. Утром встал с твердым намерением посвятить ей весь день, но прежде чем уселся за стол, я обнаружил, что не могу сосредоточиться, если не выйду на улицу глотнуть свежего воздуха. Стоял весенний, ясный, залитый солнцем день. Чем дальше удалялся я от дома, тем больше возрастала во мне жажда горного простора. По дороге бросилось в глаза объявление о митинге, который должен был состояться в кинотеатре «Орион» в одиннадцать часов. Я удивился, что существует так много людей, которые вместо того, чтобы выйти на воздух в субботний день, собираются в набитом зале слушать речи. Я вспомнил, что Эфраим хотел встретиться со мной сегодня, — я отказал ему, сказав, что должен готовиться к экзамену. Не будь экзамена, я бы нашел другой повод, потому что знал, чего он хочет от меня. Вот уже некоторое время он склоняет меня вступить в «Лехи», а я не хочу делать это. И не потому, что не приемлю их путь, а потому что больше всего дорожу своей личной свободой. В глубине души я не верю, что кучка людей обладает достаточной силой для борьбы против Британской империи (я не верил также, что это сможет сделать весь ишув*). Но сомнение не помешало бы

* Еврейское поселение в Палестине.

мне присоединиться к ним, если бы не страх потерять свою личную свободу. Судьба солдата, роль которого сводится к выполнению приказов, была для меня кошмаром.

«И вот я сижу здесь, в машине, которая везет меня в тюрьму», — сказал я себе, и вдруг мне показалось, что я смотрю как бы со стороны на то, что происходит со мной. Я не чувствовал какой-либо вражды, ненависти или злости ни по отношению к полицейским, арестовавшим меня, ни по отношению к тому офицеру в окне, обладателю квадратных усов, который подал им знак рукой. Ясно, что мое поведение около его дома и то, с какой тщательностью я изучал таблички с именами и то, как я уставился на его квадратные усы, — ясно, что все это было достаточным, чтобы возбудить подозрение относительно моих намерений. Что касается намерений, то пойдя докажи им, что попал я сюда совершенно случайно, что просто шел по дороге «без всякого умысла» и что единственной моей целью было подышать немного свежим воздухом прежде, чем я погружусь в историю еврейского народа. Такова была цель, если не брать в расчет ту мысль, которая возникла у меня, когда я вонзил свой взгляд в офицера. А если даже учесть эту мысль, ведь не судят же человека за его мысли, иначе в мире не оказалось бы ни единого человека, который хоть раз не был бы приговорен к смертной казни за мысли о мести и убийстве. Только бог проверяет мысли и чувства, и поэтому мы бьем себя в грудь, каюсь в грехах, которые мы совершили против него в своих мыслях. А тут простой английский полицейский!

Тюрьму, в которую меня привезли, арабы и англичане называли «кишла». Одна ее стена прислоняется к стене Старого города, а вторая выходит во двор башни Давида. У входа в здание у меня отобрали все вещи, найденные в моих карманах, переписали их на листе бумаги и после этого положили в пакет, на котором я расписался. Через калитку меня ввели во двор кишлы, окруженный со всех сторон высокими стенами, утыканными сверху би-

тым стеклом для предотвращения побега, над которыми для большей надежности была протянута колючая проволока.

Во дворе в тот момент проходила поверка полицейских. Все они были арабами, и командовал ими на английском языке сержант-араб. Между большими древними камнями стен пробивался мох, и вдруг проблеснула там кожа змеи, которая, извиваясь, исчезла внутри щели.

«Там змея!» — крикнул я по-английски и показал пальцем на угол, но сержант-англичанин, шедший рядом со мной, втолкнул меня в камеру. Это помещение было предназначено для заключенных, арест которых не превышал одного месяца, и для задержанных, которые еще не были осуждены, и представляло собой огромный зал, длинный и очень высокий. Его окна, с одной стороны выходящие на Новый город, а с другой — во внутренний двор, были прорублены на большой высоте где-то там наверху, под самым потолком. Они были снабжены железной решеткой, и добраться до них можно было бы только в том случае, если бы были высокие лестницы, как у пожарников. Но лестниц тут не было, так же как и каких-либо других вещей. Зал был совершенно пуст, и только на полу вдоль стен валялись продавленные и протертые тюфяки. Из-за огромных размеров зала они были почти не заметны.

В тот момент, когда меня втолкнули внутрь и дверь закрылась за мною, дыхание мое прекратилось, а в глазах потемнело. Запах общественной уборной был свежим ветерком по сравнению с тяжелым духом заплесневелого и пыльного воздуха, в котором копошились арестанты-арабы, как головастики и водоросли на дне болота.

После того как глаза мои привыкли к темноте, я заметил ряд ведер около стены, которые предназначались для отправления нужды. От них исходил запах дезинфекции, смешанный с вонью. Арестанты, не отличавшиеся, как я вскоре обнаружил, излишней стыдливостью, почему-то

никогда не забывали повесить перед собой одеяло, когда сидели на ведре.

Примерно шестьдесят арестантов арабов наполняли помещение гомоном. Было там всего пять евреев, которые сгрудились в одном углу. Около половины арабов были хораны с Гилиадских гор, которые пришли в Иерусалим в поисках хлеба и работы, но запутались в воровстве и грабеже. Трое из пяти евреев были арестованы по уголовным делам, связанным с деньгами и ценными бумагами; один из них, бородач, не переставая бормотал псалмы. Четвертый, молчаливый парень моего возраста, лежал большую часть времени навзничь в своем углу и смотрел в потолок испуганными глазами. Он целиком и полностью соответствовал образу, известному из кинофильмов и романтических рассказов, образу поэта, попавшего в тюрьму без всякой вины из-за жестокости людских сердец. «Поэт» лежит на каменном полу, вперив глаза в потолок, и философские меланхолические мысли, казалось, пробегают в его мозгу, мысли, которые в конце концов должны были родить великое поэтическое произведение.

Пятый арестант, еврей, был молодой слесарь, кончавший срок своего двадцатидневного заключения. Он был ветераном среди заключенных евреев. Когда его арестовали, он оказался единственным евреем среди арабов и выбрал себе место для сна между двумя хоранами, похожими на двух диких коней. Он завязал с ними дружбу, которая, однако, не помогла ему во время большой драки. Его приговорили к двадцати одному дню ареста за то, что он дал пивной бутылкой по голове английскому полицейскому во время переполоха, возникшего в кафе.

Большая драка разразилась в первое утро, когда я открыл глаза и обнаружил, что лежу на тюремном полу. Ее причиной было пение Иехуды-слесаря, сидевшего здесь дольше всех нас.

В пять часов утра нас разбудили надзиратели, но не потому, что мы должны были делать какую-то работу, а

потому, что так полагалось согласно правилам. После того, как мы проснулись, встали и стояли на ногах, и надзиратели убедились, что никто не остался лежать, завернувшись в свое одеяло, на тюфяке, мы снова были свободны и могли предаться ничегонеделанию.

В течение целых двух часов, с пяти и до семи, я был свидетелем, а затем и участником удивительного спектакля. Все арестанты шагали от одной стороны зала к другой, как подразделение солдат в марш-броске. Часть из них двигалась от южной стены к северной, а часть — от северной к южной. Еще раньше, чем я очнулся от своего удивления, я заметил, что и я быстро шагаю вместе с колонной, двигающейся между двумя другими колоннами, идущими ей навстречу. Только после того как потоки пота покрыли мое тело и я стал искать какой-нибудь угол, где бы я мог отдышаться от этой скачки, я заметил, что Иехуда-слесарь, не входит в число шагающих. Ему оставалось всего два дня до окончания срока, и он не чувствовал никакого желания заниматься этой массовой утренней зарядкой.

Он нагромоздил один на другой несколько тюфяков, удобно улегся на них сверху и смотрел на все отсутствующим взглядом с тонкой улыбкой на губах. Неизвестно, что толкнуло его встать на ноги и запеть не что иное, как гимн «Ха-Тикву». Арестанты, арабы и хораны, продолжали прилежно вышагивать от стены к стене, и только двое или трое из колонны, близкой к нему, остановились, чтобы послушать его пение. Закончив «Ха-Тикву», он запел «Вышел, вышел полк наш ночью». Когда он дошел до середины этой песни, вокруг него уже столпилось около дюжины арестантов. Хораны казались даже довольными и готовы были присоединиться к веселью, только не знали, каким образом. Но один из городских арабов, национальные чувства которого были задеты, подошел к нему и приказал ему прекратить пение. Иехуда-слесарь пальцами правой руки сделал ему определенный жест, который на культурном языке оз-

начает «плевал я на тебя», и продолжал петь с удвоенной энергией. И тогда араб ударил его по щеке сандалем, молниеносно снятым с ноги. Иехуда прыгнул на него с высоты всех тюфяков, и оба они покатались по полу. Когда победа слесаря была уже близка, на него напал еще один араб и стал пинать и кусать его.

«Не вмешивайся, а то начнется побоище между евреями и арабами, и они уничтожат нас в два счета, не забывай, что надзиратели тоже арабы, да и англичане не будут спешить, чтобы спасти нас», — сказал мне арестант с лицом поэта, когда заметил, что я собираюсь вступить в потасовку. Порыв возник сам по себе, от несправедливости ситуации, когда я увидел, как два араба избивают семнадцатилетнего мальчишку-слесаря. Три других арестанта еврея притворились, что они вообще не видят происходящего. Бородач бормотал псалмы с удвоенной сосредоточенностью, а два его друга съезжились в углу и о чем-то шушукались между собой.

«Но ведь они убьют его!» — прокричал я в ответ «поэту», но на самом деле я обращался к высшему судье, взиравшему со своей высоты на то, что происходит в этом заброшенном углу мира, и даже пальцем не пошевелившему, чтобы отстоять порядочность в этой драке. Сознание, что двое этих арабов собираются убить Иехуду, вдруг превратилось в уверенность. Первый раз в жизни я собственными глазами увидел в действительности драку, более жестокую, чем драки, изображаемые в кино. Трое дерущихся кусали один другого, пинали, били кулаками и вонзали ногти куда попало, и все это в плесени рваных тюфяков, пропитанных человеческой мочой и калом. «Настал решительный час», — сказал я себе. Мне казалось, что все происходящее здесь случилось только для того, чтобы испытать меня. Ученик слесаря из старого торгового центра нашел в себе смелость воевать здесь, в этой пещере дикарей, без всякой надежды, что кто-нибудь придет, чтобы вызволить его из трудного положения, а я, что делаю я? Ничего не делаю,

по своему обыкновению только стою и рассуждаю сам с собой, обращаясь к высшему судье, как будто его обязанностью является установление справедливости. А в чем заключается моя обязанность? Прятаться за вынужденной галутской отговоркой, что пусть, мол, они сами справляются, а то нападут на нас все шестьдесят арабов и уничтожат в одно мгновение. По-видимому, так диктует логика. «Но что это за логика!» — вскричал внутри меня какой-то горький голос. И на этот вопрос я ответил себе, что логика эта — галутская. И так стоял я здесь и рассматривал критическим оком всю еврейскую историю, начиная с падения Второго храма и до нынешнего дня, и открыл, что наш народ сохранился только благодаря своей рабской способности склонять голову перед каждым мальчишкой и приспосабливаться к жестокости всякого чужого властителя.

«У меня нет достаточных научных данных, чтобы делать исторические выводы, да и всегда был я слаб в истории вообще и в истории еврейского народа в частности. Что я? Просто пустое место, ноль. Меньше ноля — минус. Сейчас или никогда!» И я всем телом нырнул в центр драки и вытянул вперед кулаки. С быстротой молнии я почувствовал сокрушительный удар кулака, который пришелся мне по лицу, и сквозь завесу боли — теплую струю крови, она текла из моего носа в рот и брызгами разлеталась с подбородка в разные стороны. Только потом я узнал, что удар моего кулака задел по ребрам Иехуды и что мой нос истекает кровью от удара его кулака. Звуки дикого хохота хоранов отдавались в моих ушах, и удары моего сердца следовали один за другим в предвестии несчастья: вот из-за меня поднимаются все шестьдесят арабов против нас. Драка прекратилась вдруг, когда открылась дверь и дежурный полицейский вошел, чтобы прочитать список арестантов, которые должны предстать перед судьей.

2

«И такое случается в драке», — попытался утешить меня Иехуда, заметив, что я уж очень сокрушаюсь из-за того, что промазал и по ошибке ударил его к радости арабских преступников. «Да, да, — ответил я ему расстроено, и лицо мое покрылось краской. — Нельзя ли достать тут какую-нибудь папироску?» До сих пор никогда я не ощущал в ней необходимости, и когда курил на переменах, то делал это только потому, что так было принято в кругу моих ребят. Впервые я на самом деле почувствовал необходимость закурить.

Иехуда подмигнул мне и кивком головы пригласил меня следовать за ним. Мы пошли к его месту между двумя огромными хоранами. Вчетвером мы уселись в кружок, скрестив ноги, и молчали, пока Иехуда, порывшись в своем тюфяке, не вытащил оттуда папиросу «плаерс» и коробку спичек. Он зажег папиросу и сделал две сладкие затяжки, глаза двух хоранов следили за каждым причмокиванием его губ. Так переходила эта папироса от одного к другому.

«Возьми еще «шахту», — поощрял меня Иехуда на тюремном жаргоне, и я еще раз глубоко затянулся.

«У нас есть и лезвие, — открыл он мне, и только тогда я обратил внимание, что все арестанты плохо или хорошо побриты, несмотря на то, что иметь бритву в стенах кишлы строго запрещалось. — Но тебе придется научиться бриться без бритвы, так, — и, как фокусник, создающий нечто из ничего, он вытащил вдруг лезвие «жиллет» и начал показывать, как бреются без бритвы, без мыла и без воды. — А когда нужно, — продолжал он, — то пользуются лезвием во время драки». Услышав эту радостную новость, я весь покрылся гусиной кожей. «Они нападут на нас посреди ночи и уничтожат нас в одно мгновение», — эта мысль завладела мной до такой степени, что мне захотелось подбежать к двери и попробовать удрать. «В сущности, им

совсем не нужно ждать ночи, они могут заняться уничтожением и днем, не спеша и не торопясь».

— А дело было так, — начал рассказывать один из хоранов после некоторого раздумья, когда нашло на него хорошее настроение, вызванное удовольствием от курения, — когда проходил я около Яффских ворот, встретились мне две желтоволосые еврейские девушки.

— Еврейки с желтыми волосами, — повторил за ним второй с удивлением и восторгом.

— Да, еврейки с желтыми волосами, — подтвердил рассказчик и, воспользовавшись этим, сделал еще три глубокие затяжки, ускорившие конец папиросы. — И страх стоял в их глазах, как в глазах серны, преследуемой охотниками.

— Чего же боялись эти желтоволосые еврейские девушки? — задал ему его друг многозначительный вопрос.

— А боялись они волка, — ответил ему первый строго.

— Какого волка? Что-то не слышал я до сих пор, чтобы волк разгуливал около Яффских ворот.

— Ты помолчи-ка, дурак, — прервал его рассказчик и протянул в его сторону ладонь с растопыренными пальцами в знак презрения. — Они бы спаслись от волка, да пока они смотрели во все стороны в великом страхе, ища помощи, примчался вдруг волк с улицы Хабатрак.

— Примчался волк с улицы Хабатрак, — повторил за ним второй, весь захваченный рассказом до того, что более чудесного он и не желал. — А ты, что ты-то сделал? Ему не терпелось услышать конец.

— Что я? Я вытащил свой суковатый набут из-под галабии и ударил его со всей силы по голове; тот еще не пришел к себя от удара, а я уже вытащил кинжал из ножен и воткнул его глубоко в его левый глаз.

— Йя ба йя! В левый глаз! Валла шатир! * — восторгнулся

* Какой герой! (араб.)

хоран и хлопнул себя по коленям. — А после этого что случилось? Еврейские девчонки, что они сказали?

Рассказчик дважды глубоко вздохнул и вернулся на свое место, как будто не было у него намерения продолжать рассказ. Папироса давно была обсосана до конца, от нее осталось только несколько обгоревших крошек табака.

— Досюда, о, душа моя, брат мой! Только досюда в силах я рассказывать, — вздохнул сочинитель и вознес пару невинных глаз к зарешеченному окну в высоте потолка. — И кто я, и что я, прах и пепел, чтобы нагромождать слова! Вот так это произошло: случилось это во времена моей молодости, и был я тогда крепким, как кедр, и ловким, как олень, и душа у меня была легкая, веселая и порхающая, как крылья бабочки! А теперь, брат мой, что дороже мне зеницы ока? А теперь, разве есть у меня достаточно силы, чтобы делать и говорить и делиться воспоминаниями на пустой и тоскующий желудок? Горло мое пересохло, дорогой брат мой, а глаза полны слез!

— Не печалься слишком, — пожалел его друг, который проник в глубину его тонкого намека, — ведь мы братья, и пока мы живы, будем делиться последней лепешкой. Ведь, правда, Джордж, дорогой мой брат, — обратился он к Иехуде с мольбой, — ведь поделимся мы последней лепешкой?

— Ну тебя, акрот* , хитрый, как змея! — закричал на него Иехуда. Ты хочешь вырвать последнюю крошку хлеба из моего рта? Всегда только я даю, отрываю от себя, а вы что? Вы едите, и пьете, и курите за мой счет, как пиявки, ей Богу, как пиявки!

— Ну, не сердись, Джордж, — стал умолять его хоран сладким голосом. Вот попались мы тут в руки англичанина, будь он проклят, безо всего, и богатый наш дядя не знает, но дай нам только выйти из этого проклятого места, и мы расскажем нашему богатому дяде в Дамаске о твоём

* Незаконнорожденный (араб.)

добром к нам отношении, и он засыпет тебя подарками так, что весь твой дом не сможет вместить их. Клянусь жизнью, весь твой дом не сможет вместить подарков, которые пошлет тебе наш дядя, живущий в Дамаске!

— Все вы вруны и дети врунов, — крикнул Иехуда им, а те притворились обиженными, потому что уже заметили, как его рука протягивается к тайникам тюфяка и вытаскивает оттуда банку мясных консервов. — Всем, что я получаю из дому, я делюсь с этими подлецами, — сказал он мне, — а они даже пальцем не пошевелили, чтобы помочь мне в драке, пугливые трусы, хитрые, как змеи.

После того как мы уничтожили банку мясных консервов, а также приложились к фляге и закурили по второй папиросе, язык сочинителя развязался, и он продолжил свой рассказ, поведав о том, как отблагодарили его две еврейские девушки, желтоволосые и полнотелые, за то, что он спас им жизнь, и как соблазнили его прийти к ним в дом.

— Семь дней и семь ночей упивался я их плотью, и переставали мы наслаждаться лишь для того, чтобы вкусно поесть и выпить хорошего вина, которое подносили нам слуги.

— С двумя вместе, сразу — как это можно? — удивился его товарищ, когда понял, что там не хватало еще одного мужчины, и уже представляя себе, как он сам помогает рассказчику.

— Ты, брат мой, еще мал, лиса валад*. — оборвал его рассказчик назидательно, и тот умалился в своих глазах, хотя и достиг уже, согласно всем признакам, возраста зрелости. — Действительно, это правильно. Очень сожалел я в эти семь дней, что дан мне только один член, но он не подвел, клянусь головой, не подвел. Я целовал одну и протягивал руку, чтобы пощупать белый зад другой, кусаю ляжки одной, а другая целует своим ртом головку моей короны, целует и сосет, пока не извергаю я семя.

* Новорожденный (араб.)

Каждый день повторял он этот рассказ, а друг его слушал с огромным вниманием, задавал те же вопросы и наслаждался им заново, как будто слышал его впервые в жизни.

3

Первая ночь, проведенная мною в тюрьме, прошла у меня, как уже сказано, без особых неприятностей и бессоницы. Хотя трудно было мне привыкнуть к вони тюфяка и к жаркой близости арестантов справа и слева от меня. Но не прошло много времени, и я погрузился в тяжелый сон и проспал до того момента, как надзиратель разбудил меня прикосновением своей палки. А во вторую ночь я совсем не мог заснуть. Все тело мое болело от ударов, которые я получил при неудачной попытке помочь Иехуде в драке. И, кроме того, меня охватило какое-то грызущее беспокойство: мне казалось, что должно произойти что-то ужасное.

Иехуда должен был освободиться завтра, и поэтому он разделил между двумя своими друзьями-хоранами остатки своих продуктов, напитков и папирос, которые он получал от родителей и от своего хозяина, стареющего слесаря, не оставившего своего ученика. Казалось, что уже ничто не угнетает его. «А что, если тюремщики забудут освободить его, если закрадется в книге записей ошибка, и его освободят через год?» Эта мысль не давала мне покоя. «Ведь достаточно ей, служащей, ведающей делами освобожденных, сделать опisku в одной цифре, в одном слове, и вместо двадцати одного дня будет сидеть Иехуда двадцать один год. И это может случиться со мной, и даже хуже этого: они могут оставить меня здесь и вообще забыть о суде или перевести меня в лагерь политических заключенных, а никто ведь и не знает даже, что я арестован!»

«А что, если начнется здесь пожар?» Я поднялся и сел на тюфяке. Было два часа ночи. Во всех углах царил темнота, и только один слабый электрический глаз, вставленный в центре потолка, распространял вокруг себя мутный свет.

Из дальнего угла зала пробивался страдальческий слабый голос арабского подростка, который вздыхал и стонал: «Йя швиш, йя швиш!»* Ни один полицейский не отозвался на его стоны, и двое хоранов, схватив его, творили над ним содомский грех. «Все полицейские уснули, и если он даже подымет страшный крик, не потрудятся проснуться. Мы пропали, мы пропали...»

Вначале возникла лишь слабая тень запаха чего-то горелого, которая достигла моего носа. Кто-то, как видно, не погасил папиросы, и ее пламя перешло на тюфяк, и сейчас он тлеет и разгорается, тлеет и разгорается, и вот-вот разгорится пожар. Все мы сгорим заживо, и никто не придет к нам на помощь. Я зажмурил глаза и стал принюхиваться. Нет, это не запах дыма, это запах бородача, лежащего рядом со мной. Я пытался уснуть, но не мог. Ужасные видения нагоняли на меня страх. Вот огонь охватывает все углы зала, пламя поднимается и лижет стены вокруг меня, извивается и окружает всех арестантов. Лица наши искажаются, мы разбегаемся, стучим в двери, взбираемся вверх по гладким стенам, натываемся друг на друга, а огонь все усиливается, вот он охватил меня, и ступни мои уже горят. Я вскочил на ноги — темный зал как будто замышляет что-то недоброе. Два хорана, которые насильовали подростка, уже закончили свое дело, и возня на их тюфяке прекратилась. Я подошел к постели Иехуды. Он лежал на спине, и его спокойное лицо казалось очень молодым. Я повернулся и стал переходить от тюфяка к тюфяку, принюхиваясь, в надежде обнаружить источник пожара, который должен вот-вот вспыхнуть. Источника пожара я не нашел, но ходьба по залу немного успокоила меня.

«Что глина в руке горшечника, которую он по воле своей растягивает и по воле своей сжимает...»,** — запел

* Ой, полицейский, ой, полицейский! (араб.)

**Из вечерней молитвы Судного дня.

бородатый еврей, открыв утром свои глаза. Я был уже более спокоен, но страх еще не прошел. Страх не проходил до самого дня моего освобождения.

Когда дежурный сержант велел мне идти за собой, я еще не знал, что расстаюсь с тюрьмой. Начальник следственного отдела, тот самый офицер высокого чина с квадратными усами, по мановению руки которого я был задержан, собственной персоной принял меня, сидя в своем кабинете.

«Я опасаюсь за свою жизнь, — сказал он мне, как бы извиняясь, и я удивился — почему. — С момента, когда я выхожу за пределы охраняемой зоны, я боюсь за свою жизнь, да и в охраняемой зоне нет полной уверенности. Это не открытая война, ваши террористы нападают из-за угла. И поэтому мы должны применять все меры предосторожности и арестовывать всякого, чье поведение вызывает подозрение. Я не сомневаюсь, что французы, американцы или русские применяли бы намного более строгие меры. Мы, можно сказать, ведем себя с большой выдержкой».

«Ваше место не здесь, а в Англии», — вырвалась у меня сама собой эта шаблонная фраза, хотя у меня не было никакого желания спорить с ним. Все, что можем мы сказать один другому, — все это давно известно и повторялось не раз. И ни один из нас не может убедить другого. На мгновение его лицо приняло серьезное выражение, но тотчас же к нему вернулась его сдержанная вежливость, и он сказал с холодной улыбкой: «Молодой человек, вы и ваши руководители склонны забывать, что мы отвоевали эту страну у турок. Эта страна завоевана кровью тысяч английских солдат, чьи тела заполняют военные кладбища. Мы завоевали страну и дали вам «Декларацию Бальфура».

Тень промелькнула на решетке окна. Один из английских часовых совершал положенный обход. Офицер повернул лицо к окну и посмотрел за ограду задумчивым взглядом. Мне было ясно, что в этот момент не было вещи, более далекой ему, чем «Декларация Бальфура», чем эта

страна со всеми ее проблемами и чем я. «Он жаждет уйти отсюда не меньше меня», — сказал я себе, и было странно, что по его воле я был арестован и по его воле освобожден. Выйдя на свободу, я почему-то почувствовал себя побежденным.

4

Что касается второго моего ареста, то разница между ним и первым заключалась лишь в том, что на этот раз все тюремщики были евреи, так же как и заключенные, за исключением трех или четырех тайно перешедших границу арабов. Случилось это на второй год существования государства. Меня поместили не в кишлу, поскольку она оказалась за границей, а в Центральную тюрьму в Яффе, потому что она находилась в пределах государства. И можно сказать, что снова, в определенном смысле, сидел я не по своей вине, а из-за ткани моего отца. Той проклятой английской ткани, которую он купил незадолго до своей смерти.

И тут-то возникает сам по себе вопрос: какое отношение имел отец к тканям? Речь идет об английской шерсти для костюмов, цена которой в то время достигала шестисот или семисот лир.

Я задавал себе этот вопрос не один раз, а десятки раз в течение трех месяцев моего заключения. Какая связь может быть между отцом, который большую часть своей жизни ходил в коротких штанах-хаки, и шерстяной тканью не какого-нибудь, а английского производства? С тех пор, как я себя помню, отец был рабочим в компании по добыче поташа на севере Мертвого моря. Он напоял там солью мешки и грузил их на огромные грузовики. Всю неделю он оставался на предприятии, а когда приезжал на субботу домой, то только и делал, что спал и ел, ел и спал, а между этими занятиями вел грошовые денежные расчеты с мамой. Он требовал у нее отчета за каждую копейку, истрачен-

ную ею на домашнее хозяйство, и критиковал все, что осмеливалась она купить из «излишеств», и почти не было вещи, которую бы он не считал излишеством. По его мнению, она могла всю жизнь обходиться одним кухонным передником и одним субботним платьем в течение двадцати-тридцати лет. Все мы немножко боялись его, даже тогда, когда он улыбался и был доволен жизнью, что случалось не слишком часто.

Я не понимал, как это человек может проводить весь свой день отдыха в кровати, спать целую субботу, пока однажды я не навестил его на предприятии и не увидел, как он работает. Только тогда я понял, что означает выражение «изнурительный труд». В ужасной жаре, царившей в этом районе, в длинном бараке, наполненном щиплющей соляной пылью, он работал по десять часов в день, а иногда и больше, не потому, что так полагалось по установленным тут правилам, а по собственной воле, чтобы заработать побольше за сверхурочные часы. Господи всемогущий, откуда брались у него силы выносить это? Очевидно он был одарен из ряда вон выходящей выносливостью, хотя с виду совсем не был таким уж героем. Он был похож на всех остальных русских евреев своего поколения, которые прибыли в страну, как поется в песне, чтобы «построить ее и перестроить себя в ней», то есть был он маленького роста, с начинающей лысеть головой и начинающим полнеть брюшком. Он расхаживал в коротких штанах-хаки, широких и доходящих до колен, и в шапке цвета хаки, которая и не шапка-тембель и не настоящая шляпа, а что-то характерное для руководящих сотрудников фирм «Солель-Боне» и «Мекорот»; шапки эти бывают также синего и серого цвета. Сам отец, мир праху его, был уверен, что внешне он похож на Бен-Гуриона, и если кто-нибудь хотел доставить ему удовольствие, то не мог он сказать ему более приятного комплимента, чем произнести: «Ты знаешь, Зяма, ты ведь как две капли воды похож на Бен-Гуриона, особенно с затылка». И поэтому в последние

годы он отрастил на затылке волосы, чтобы они развевались по ветру.

Двадцать лет работал он, как одержимый, как человек, в которого вселился бес, в этом соленом, щиплющем и пылающем аду, работал все дни недели сверхурочные часы, а домой являлся только для того, чтобы спать и кричать на маму. И после всех этих лет открыл однажды утром глаза и увидел, что он остался за воротами предприятия, которое оказалось в руках Иордании: гражданин государства Израиль с двумя тысячами лир в кармане, ревматизмом и язвой желудка. Тогда он еще ничего не знал о раке, который уже пустил метастазы в его почки. За двадцать лет рабства ему удалось скопить две тысячи лир. И поскольку так случилось, он купил на пятьсот лир английской ткани для костюмов и решил открыть магазин, чтобы на старости лет превратиться в торговца мануфактурой.

В те дни, когда еще никто не знал, что всего через полтора года он умрет в страшных мучениях, казалось, что подобное вложение пятисот лир — это поистине гениальный коммерческий шаг, какого еще не знал мир. Через несколько недель после покупки им шерсти произошло сильное снижение курса израильской лиры, которая теперь никак не была связана с фунтом стерлингов и было бы просто насмешкой судьбы, если бы он не купил шерсть и остался с двумя тысячами израильских лир в качестве сбережений, накопленных в течение двадцати лет тяжкого труда, двадцати лет добровольного рабства.

Он не только купил ткань, но успел также снять в аренду магазин, однако умер, так и не открыв его. Все годы мама мечтала о возможности щедрой рукой тратить деньги на новые платья и костюмы, но лишь после смерти отца появилась такая возможность. Однако не могла же она сразу после его смерти побежать заказывать себе новую одежду из материала, купленного им, и на деньги, накопленные им за двадцать лет каторжной работы на Мертвом

море, да и, кроме того, она также нуждалась в заработке. И вот так случилось, что она стала торговать высококачественной мануфактурой английского производства. Отцу при жизни не повезло стать торговцем (хотя всю жизнь он и был сознательным рабочим, но в глубине души питал большое уважение к крупным торговцам), зато после его смерти жена смогла открыть магазин благодаря деньгам, которые он скопил за двадцать лет.

5

Мой старший брат Элиезер, изобретатель, оборудовал магазин, сделал прилавок, полки и все, что нужно, чтобы его открыть. Теперь Элиезер один из высших офицеров в армии. И я слышал от многих и самых разных людей, что его считают одним из лучших, хотя он и не дает жизни своим подчиненным, которые изнывают под его командованием от тяжелой работы, а может быть, именно поэтому и считают его таким, что он сам не знает устали в работе и не дает им соскучиться от безделья. Оказалось, что по работоспособности он не уступает отцу, мир праху его, а, может быть, даже и превосходит его. Мой младший брат Амос также обладает исключительным запасом энергии и настойчивостью. Хотя он младше меня на три года, он уже доктор физических наук и полгода назад был приглашен с докладом на международную научную конференцию. Амос всегда был погружен в мир своих мыслей и далек от происходящего в доме, а я всегда был далек от всякого дела, посягавшего на мою свободу, от порабощения мелочами, и поэтому именно Элиезер оборудовал магазин и сделал все необходимое для его открытия. Это было сразу же после войны, и Элиезер предполагал оставить армию и посвятить себя разработке своих изобретений. Поскольку я упомянул о его изобретениях, остановлюсь на самом главном. Самое важное изобретение, которое Элиезер сделал с помощью своего друга, слесаря Хаима, была разно-

видность пистолета, из которого (на последнем этапе его усовершенствования) можно было выстрелить без опасения быть убитым летящим назад затвором.

Это случилось почти накануне того дня, когда англичане покинули страну, и мы очень боялись остаться тут, особенно в Иерусалиме, без оружия. Я не знаю, как удалось Элиезеру и Хаиму сделать ствол и курок и другие части, я вообще не разбираюсь в этих делах, но, во всяком случае, это факт, что на нашем чердаке, в бухарском районе, без станков, без сырья и без руководства специалистов удалось создать револьвер, стреляющий пулями от автоматического пистолета. Им удалось решить все проблемы, кроме проблемы затвора и ударника. На первом этапе затвор отлетал назад под давлением газов, а на поздних этапах он не отлетал, а просто сдвигался с места.

Итак, пока Элиезер занимался устройством полок, мебели и жалюзей в магазине, вышел в стране знаменитый закон о нормировании. Как известно, этот закон должен был дать каждому гражданину возможность получать продукты и одежду: в стране устанавливался надзор за ценами, который должен был предупредить вздорожание и спекуляцию. Каждому владельцу магазина вменялось сообщать о количестве товара, находящегося в его распоряжении, и мама тоже должна была сделать это.

Так бы она и сделала, хотя и не совсем точно так. Она задумала скрыть некоторое количество материала, которого должно было хватить для нас и для всех наших знакомых и друзей, и затем продать им его без нормирования, хотя, конечно, по цене более высокой, чем официальная. Не по цене черного рынка — ведь это были наши знакомые и друзья — но по ценам, которые были выше разрешенных. На этом этапе появился я и сделал все, что мог, чтобы убедить маму не только скрыть некоторое количество, а и вообще не сообщать о существовании материала.

Сегодня я не могу найти разумного объяснения своему

поведению: в сущности, все это не очень-то меня и трогало. Предполагаемая прибыль от сокрытия материала совершенно не оправдывала опасности. И, по правде говоря, я не совсем ясно понимал суть дела и вообще был далек от всего этого. Я был далек от всего этого и не думал о прибыли, когда влиял на маму с такой горячностью, просто заставив ее продать весь материал на черном рынке. Я почему-то связал это с сообщением, которое прочитал за день до этого в газете. Министр в правительстве или заместитель министра, не помню точно, во всяком случае, один из стоящих у кормила государства, религиозный к тому же, был заподозрен в тайных сделках на сумму в десятки тысяч долларов, что не мешало ему продолжать занимать высокую должность. Ходили слухи, что из-за межпартийной политики все это дело было замято, и этот человек даже не был привлечен к суду. Он также не подал в суд на тех, кто опубликовал свои подозрения. Я не сомневаюсь, что вся эта история не взбудоражила бы меня так, если бы не одна подробность, которая разбудила во мне тяжелое воспоминание из времен моего детства. Этого слугу народа звали так же, как и старшего сына нашего очень набожного соседа раби Хониклекера. Его старший сын, Шрага, поймал меня как-то, когда было мне лет одиннадцать, а ему около пятнадцати, и залепил мне две пощечины из-за того, что я осмелился курить в субботу в углу нашего двора. Это была моя первая попытка закурить. Я взял одну папиросу из пачки моего брата Элиезера, изобретателя, и спрятался в дальнем углу двора, чтобы выкурить ее. Мало того, что меня чуть не вырвало, так я получил еще две обжигающие и обидные пощечины от этого Шраги. В его цели не входило отвадить меня от курения из-за заботы о моем здоровье или о моем воспитании; он наградил меня пощечиной по религиозным мотивам — потому что «нельзя курить в субботу».

Правда, пощечинам предшествовала энергичная беседа между ним и мною, в конце которой я выложил ему суть

моих взглядов, то есть, что я плюю на него и на его Бога, и на Бога его отца и матери, но несмотря на это у меня было чувство, что надо мною совершается несправедливость и страшное насилие.

Событие это не было исключением, а, можно сказать, заключением и вершиной целой системы отношений. На каждом шагу Шрага и другие члены его семьи не давали нам прохода и досаждали нам от имени религии. Мама боялась зажечь примус в субботу, чтобы шум его не достиг ушей госпожи Хониклекер, Элиезер боялся усилить звук радио, а отец в перерывах от сна до сна, когда хотел усладить себя в свой выходной день, закулив папиросу, выглядывал в окно, чтобы посмотреть, нет ли во дворе господина Хониклекера. Больше всего злило меня поведение отца. Хотя он и заявлял, что «не стоит сердить их и вызывать шум», я чувствовал, что в глубине души он считает, что эти черные фанатики правы и что действительно не годится вести себя так, как ведет себя он.

Вся боль и обида и чувство угнетения и несправедливости, которые вызвали во мне эти две пощечины, полученные от Шраги (потому что я сделал что-то, что, по его мнению, нельзя было мне делать) вновь поднялись во мне, когда я прочитал в газете это сообщение и имя «Шрага» всплыло перед моими глазами. «Ты не сообщишь даже об одном метре ткани, — закричал я на маму, — ты продашь все, все на черном рынке!»

Мама не успела продать все на черном рынке. Инспектора оказались более проворными, чем она, и обнаружили запасы скрытой ткани, о существовании которой не было заявлено, прежде, чем ей удалось избавиться хотя бы от одного метра материала, прежде, чем она успела сшить костюмы себе и нам.

Когда был предъявлен судебный иск, я, конечно, сообщил свое имя в качестве хозяина магазина — ответчика. Так диктовал здравый смысл, не говоря уже о простой порядочности, да и не было у нас другой возможности. Элиезер

с его полком находился где-то на границе, Амос был тогда в Нью-Йорке, где он занимался своим исследованием, чтобы получить звание доктора физико-математических наук. Да и вообще ни один из них не имел отношения к этому делу. Амос, который находился за границей, не знал даже о существовании ткани, а Элиезер, все участие которого в этом деле ограничилось тем, что он оборудовал полки, был к этому времени уже женат и имел ребенка. Что касается мамы, которая после смерти отца как-то сразу и внезапно постарела и была совершенно ошеломлена всеми этими странными торговыми проблемами, то у нормального человека не могло бы возникнуть и мысли, чтобы взвалить на нее ответственность и позволить привлечь к суду.

6

Да, таковы были причины, по которым я попал в тюрьму во второй раз, после того как привлекли меня к суду и приговорили к трем месяцам заключения. И, честное слово, теперь, как и в первый раз, во все время судебного разбирательства и потом, в тюрьме, не было у меня никаких претензий ни к обвинителю, ни к судьям, делавшим свою работу честно, согласно всем законам государства и его постановлениям.

Я был охвачен каким-то недоумением, как человек, погруженный в странный сон. «...Обвиняемый, владелец мануфактурного магазина», — так было написано в протоколе обвинения, и слова эти: «обвиняемый, владелец мануфактурного магазина» повторились эхом в длинной комнате с высоким потолком и сводчатыми окнами, где происходил суд, в комнате номер тринадцать, в здании мирового суда на Русской площади, около белой квадратной православной церкви с зеленым куполом. В этом же самом здании, но в другой комнате, меньшей по размерам, стоял я после того, как привезли меня из кишлы, перед

английским офицером с квадратными усами, который говорил о десятках тысяч убитых английских солдат, заплативших за эту страну своей кровью.

Как уже сказано, все казалось мне бессмысленным, как какой-то странный сон. Странный, но не гнетущий. Самое странное во всей этой ситуации заключалось в атмосфере, которая, несмотря на ирреальный характер, была насыщена деятельностью и деловитостью. Коридоры были полны истцами, и ответчиками, и адвокатами в черных мантиях, развевающихся при быстром движении, как крылья гигантских летучих мышей. Все были в напряжении, благодаря ощущению, что находятся в центре важных событий, а вместе со всеми и я. Я почти радовался, что и я имею отношение к этим делам — хозяин мануфактурного магазина, привлеченный к суду за свои черные сделки, и у меня тоже есть адвокат в черной мантии, который учит меня, что надо говорить, а чего не надо.

Я был полностью погружен в «эти дела» в течение всех трех месяцев своего заключения и, несмотря на все, что испытал, я не был угнетен. Угнетение я начал ощущать, как это ни странно, лишь после, когда вышел из тюрьмы, и это совершенно противоречило моему предыдущему опыту во время моего первого освобождения.

После того, как я вышел на свободу из кишлы, я со всех сторон был окружен знаками уважения, которого не знал раньше и подобное которому вряд ли испытаю когда-нибудь в будущем. Я был брошен в кишлу, как мышь, пойманная в ловушку, а вышел из нее, как герой. Национальный герой, который пытался совершить покушение на главу британской тайной полиции, во время заключения боролся с английскими полицейскими и арабскими погромщиками и победил их. Таковы были слухи — слухи, можно сказать, наиболее близкие к действительности. С течением времени они расцвели и разрослись до того, что сделали меня одним из главных командиров террористов, а я, конечно, не предпринимал ничего, чтобы опровергнуть их.

Поскольку считали, что я пытался совершить покушение на важного полицейского начальника, мои акции повысились даже в глазах Гилы, владевшей сердцами всех учеников нашего выпуска и вселившей переполох также в сердцах тех учителей, страсть которых еще не была разбужена. Эта Гила была одна на тысячу девушек. Говорят, что среди учениц в каждом классе всегда есть одна, вокруг которой кружатся по своим орбитам все ученики класса, как планеты вокруг Солнца. И если продолжить это сравнение, то следует сказать, что до своего ареста я был одной из самых отдаленных от солнца планет. Эти несчастные планеты хорошо знают свое место в системе вселенной и могут лишь тосковать в своем дальнем углу об одном, единственном луче света, который милостиво упадет на них невзначай с высоты. Я ничего не знаю о девушках других классов. Я знаю только, что эта Гила была самая умная и самая милая девушка и к тому же обладательница самого притягательного тела во всем нашем классе. Во время уроков физкультуры и на переменах даже учителя тайком выглядывали из окон учительской, чтобы посмотреть, как в своих физкультурных штанах она изумляет всех нас своими спортивными фокусами. Как только я появился в школе, вернувшись из тюрьмы, она немедленно возникла передо мной и конспиративно (конспирация было главным словом и понятием в жизни каждого юноши и девушки в то время) сказала мне, что нам надо встретиться, чтобы «выяснить» наши отношения. Да, такой прием был оказан мне при моем первом освобождении: я удостоился того, что Гила подошла ко мне с просьбой назначить свидание. Но оставим эту историю, не имеющую к делу никакого отношения. Совсем другим было ощущение после моего второго освобождения. Это было гнетущее чувство, от которого в определенном смысле я не избавился до сегодняшнего дня.

В самой подчеркнутой и категоричной форме почувствовал я отношение к себе общества в учреждении, где я

работал до ареста. После окончания военной службы и до ареста я был государственным служащим. Только из-за желания сохранить свою личную свободу превратился я в это странное существо, называемое государственным служащим. Так случилось, хотя это может показаться абсурдом, с которым разум не может согласиться. После того, как я забросил живопись и погрузился в размышления о природе вещей, я начал изучать философию в университете. Очень быстро мне стало ясно, что я должен целиком подчинить себя университетскому режиму, отдав все свое время чтению книг, которые меня не интересуют, короче — снова превратиться в школяра, причем без всякой уверенности, что режим, которому я должен подчиняться, действительно продвинет меня в моих размышлениях и поможет решить волнующие меня проблемы. Чтобы читать интересующие меня книги, я не нуждаюсь в лекторах и профессорах. Я оставил университет и начал учиться самостоятельно. Если бы отец оставил мне в наследство приличный капитал, я бы только и занимался размышлениями, чтением книг и наблюдениями за тем, что происходит вокруг, и это занятие могло бы заполнить мое время до предела. Но так как отец оставил мне в наследство только эту проклятую английскую ткань, у меня не было другого выхода, как искать работу. И поскольку искал я работу, нашлась для меня должность чиновника, ведающего газетами в отделе общественных отношений.

В мои обязанности входило писать всякие объявления и статьи о том, что происходит в бараках и поселках новых репатриантов, и обо всем, что происходит в мире, называемом «Вторым Израилем». Эту работу я никогда не любил и много раз намеревался подать заявление об увольнении. Я не сделал этого только потому, что не было у меня достаточно энергии искать другое место. Я не любил эту работу, хотя она была легкой, так как для ее выполнения не требовалось ни усилий, ни особых знаний, только некоторое воображение, а также способность уга-

дывать, чего хочет начальник увидеть в той или иной статье, и следует сказать в похвалу начальнику, что его пожелания никогда не заключали никаких новшеств и неожиданностей. Служа в отделе общественных отношений, я безо всякого сомнения убедился, что нет ничего на свете легче, чем писать статьи на любую тему, если только у тебя под рукой энциклопедия и ты умеешь приспособиться к направлению мыслей начальства.

Я вернулся на службу через три дня после того, как был освобожден из тюрьмы в Яффе. Почему-то (до сегодняшнего дня я не могу это объяснить) я был уверен, что сослуживцы встретят меня с сияющими лицами, с криками «ахалан»* и с трубными звуками радости и веселья, что они засыпят меня вопросами о происходящем в преступном мире, а я буду сидеть в центре и рассказывать им пикантные истории из тюремной жизни. И если я не буду в их глазах героем, то, по крайней мере, они увидят во мне человека, который обогатился из ряда вон выходящими впечатлениями. У меня не было даже тени мысли, что кто-нибудь заподозрит во мне настоящего преступника, понесшего заслуженное наказание. Ведь кто, как не они, знали, что я никогда не торговал мануфактурой и не был связан с черным рынком, а сидел рядом с ними и писал сообщения о подготовке почвы, прокладке труб, посадке лесов и тому подобных вещах, важных для будущего народа и государства. И если я все-таки советовал ей, маме, и не советовал, а просто требовал, чтобы она продала на черном рынке всю ткань, которую оставил нам отец после двадцати лет рабства в северной части Мертвого моря, то сделал это не потому, что хотел разбогатеть нечестным путем, а из-за сердечной боли и протеста, можно даже сказать, из-за идеи, то есть идеализма.

Разумеется, теперь я бы не побрезговал и не посчитал бы унижением собственного достоинства разбогатеть

* Арабское благословение, приветствие.

нечестным путем. Будь у меня достаточно энергии, чтобы делать деньги, и если бы это было для меня до такой степени важно, что я был бы готов поступиться своей личной свободой, любой способ разбогатеть был бы в моих глазах пригоден. Если и сожалею я сейчас обо всей этой истории, то не сожалею ни о совете, который дал маме, ни о своем заключении, ни о потере работы, а только о том, что ограничился советом. Вместо того, чтобы продолжать писать отчеты, я должен был сам продать эту ткань на черном рынке. Сделав это, я был бы более достоин уважения даже в глазах начальника отдела, поторопившегося уволить меня.

Так вот, прием, оказанный мне, совершенно не был похож на то, чего я ожидал. Когда я вошел в отдел, я понял, что отношение ко мне изменилось самым коренным образом. Некоторые сделали вид, будто не замечают меня, некоторые ответили на мое приветствие коротким кивком головы и вновь погрузились в свои бумаги с удвоенным старанием. Откуда-то появился мальчик для посылок и объявил мне с натянутым лицом, что меня просят зайти в кабинет начальника. Когда вошел я в канцелярию, то был все еще ошеломлен и не мог правильно оценить обстановку. Лишь оказавшись в его кабинете, я понял то, что должен был понять с самого начала: то есть, что само общение со мной вызывает растерянность и досаду у порядочных людей. И особенно у государственных служащих. Государственные служащие, как известно всем, — это народ, и самое большое чудо — это то, что нет человека, который не может превратиться в государственного служащего — и вот вам доказательство — я сам.

Начальник пригласил меня к себе в кабинет, чтобы сообщить мне о моем увольнении. Он старался выполнить эту обязанность как можно любезнее, то есть деликатно, но настойчиво объяснив все причины, заставившие его действовать подобным образом, и при этом сохраняя выражение лица, призванное доказать, что это не должно ка-

саться наших личных отношений. Но, как можно было предположить заранее и как во всех прочих его начинаниях, он и тут потерпел полное поражение. Он был смущен гораздо больше меня. Указав мне на стул, стоящий против него, и пригласив сесть, он продолжал просматривать лежащие перед ним письма еще по крайней мере в течение целых трех минут. Дважды поднимал он телефонную трубку, чтобы бросить ее обратно на место, так и не позвонив никому, и только после серии таких маневров обратил на меня свой взгляд и начал бормотать что-то об уставе и об официальных указаниях и об аппарате, а до сути дела так и не добрался. Суть дела, то есть уведомление о моем увольнении, была заключена в письме, спрятанном в запечатанный конверт, который он передал мне в конце беседы; с содержанием письма, подкрепленным аргументами, я ознакомился, вернувшись в свою комнату.

В течение почти целой недели не мог я уснуть из-за лихорадки, вызванной обидой и гневом. Все те дни я был способен заниматься только одним делом — писать протестующие письма своим непосредственным начальникам и начальникам моих начальников, но и их не удавалось мне закончить. Мне казалось, что я обнаружил вопиющую несправедливость в правительственном порядке и что я сам пал жертвой этой несправедливости. Как! — негодовал я в письмах, которые так и не были посланы начальникам, и в статьях, которые не были посланы в газеты, — как поступают с человеком, отсидевшим три месяца в тюрьме за содеянное им преступление! После того, как человек был обвинен и отбыл срок наказания, как можно еще раз наказывать его за то же преступление, увольняя с работы и закрывая перед ним двери общественных учреждений? Если так поступать, то этому не будет конца. Отлучение может привести лишь к тому, что этот человек превратится в закоренелого, неисправимого преступника. Что же касается самого преступления — я не могу считать его преступлением, а если это преступление, то почему же не привлечен к суду тот самый высокопоставленный общест-

венный деятель, который был обвинен в злоупотреблениях и сокрытии денег в сумме десятков тысяч долларов! Общественный деятель, который сам участвует в принятии законов и следит за их выполнением в стране, и в дополнение к этому он еще верующий еврей с бородой и пейсами, который «дает пощечины на улице Яффо людям, курящим папиросы в субботу». Я, правда, не знаком с ним и никогда не читал в газетах о пощечинах, которыми он имеет обыкновение награждать публично курящих папиросы, но я уверен, что если бы он встретил меня на улице Яффо с папиросой в зубах в субботний день, он бы не поколебался отвесить мне две пощечины ради Всевышнего. Этот человек, несмотря на все серьезные обвинения против него, о которых писали в газетах, продолжает занимать свою высокую должность и плюет на прессу и на всех граждан, которых он сажает в тюрьмы и награждает пощечинами на улицах. Ясно, что мы опустились до положения, характерного для тоталитарных режимов и для подгнивших демократий, когда законодатели и исполнители законов стоят над самими законами, установленными в государстве. Такие и подобные им вещи писал я в течение недели, пока все это дело не опротивело мне и пока не появился мой брат Амос, вернувшийся из Америки доктором физико-математических наук.

7

Благодаря брату моему Амосу я избежал от лихорадочного бреда, в который едва не погрузился, от того мира обрывистых гневных видений, в котором пребывают обиженные судьбой полупомешанные или помешанные на треть или на четверть — те, что связывают борьбу одиночки с государством и его учреждениями с каким-то высшим идеалом справедливости и с качествами человека, которые только и можно встретить у ангелов божьих. (Я не могу объяснить тот факт, что меня, который всегда смотрел на вещи открытым и критическим взглядом, все члены моей семьи и все другие люди, с которыми я сталкивался, считали существом непрактичным.)

Прежде, чем расскажу я о нем, о моем брате Амосе, я должен еще раз упомянуть моего брата Элиезера, который сразу же после моего освобождения сделал все, что мог, чтобы поднять мой дух. Он ждал меня у ворот тюрьмы в своем джипе и послал мне свою соболезнующую, жалеющую улыбку, когда я появился на пороге, ошеломленный и бледный. Я был еще ошарашен шумом свободного мира — шумом «большого пространства», который звучал в моих ушах, как трубные звуки радостной и праздничной толпы (когда я вышел из тюрьмы в первый раз, улица была совершенно пустынна, и по ней бродили только британские полицейские, прочесывающие улицу в надежде обнаружить «вооруженных террористов»), — так вот я еще был ошарашен гулом свободного мира, когда Элиезер поспешил затолкнуть меня в джип и покинуть это место со скоростью, с которой позволяют себе вести машину только высшие офицеры вроде него или служащие военной полиции.

Только въехав в Тель-Авив, он замедлил скорость и потом остановил машину у входа в кафе на углу улиц Алленби и Бен-Иехуды. Пока не сели мы, чтобы выпить асперсо, я не замечал ни его присутствия, ни второго «фалафеля», украсившего его плечи: он получил звание полковника.

Я посмотрел на него, когда он заказывал кофе у официанта, на его широкое, немного сплюснутое лицо, на его покрытые перхотью сухие и вьющиеся волосы, на его страдальческую улыбку, на его глаза, которые испытующе глядели прямо перед собой, и вдруг он показался мне далеким, как никогда. Его смущение было вызвано не только странной ситуацией, в которой он оказался, встречая только что вышедшего из тюрьмы брата, но также и тем, что он чувствовал общую неловкость: в то время, как он все выше поднимается по лестнице успеха, я опускаюсь все ниже и ниже. Он всегда старался посвящать нас всех в свои успехи и не раз огорчался из-за того, что мама не разбирается в тонкостях военных званий и должностей. Для него

самым важным было, чтобы мама радовалась его величию и гордилась им. Он был более привязан к ней, чем Амос и я. Когда я посмотрел на него, у меня возникла мысль, что, по правде говоря, наиболее близки мы были во время самого тяжелого и унижительного периода в его жизни, после того, как он демобилизовался из Бригады. Когда он демобилизовался из нее после Второй мировой войны, он был безработным в течение нескольких недель, пока не подыскали ему место шофера грузовика, развозящего хлеб. Только со мной он делился охватившим его чувством отчаяния и подавленности, переживаниями гордого, почти болезненно гордого человека, вынужденного заниматься презренным трудом и выносить бесцеремонное отношение к себе грубияна-пекаря. Он делился со мной, возможно, потому, что чувствовал, что для меня занятие человека и его успех в обществе не так уж важны. А не так уж важны они были для меня (во всяком случае я не обращал такого внимания, как он, на мнение отца и матери), может быть, именно потому, что удача улыбалась мне больше, чем ему, именно потому, что отец и мать были уверены в моих талантах и в радости, которую я принесу им в будущем.

В юном возрасте начал я играть на скрипке, и одним из самых больших удовольствий моих родителей было упрямить меня снова и снова сыграть им вальсы Штрауса или «Идише маме» и другие еврейские народные мелодии. До нынешнего дня я испытываю дрожь, когда слышу первые звуки «Идише маме», так часто играл я им эту мелодию, а они были готовы слушать ее в любое время дня и даже ночью. Особенно радовалась мама, когда появлялась в дверях красная борода нашего соседа реба Зераха Хониклера, тоже приходившего послушать услаждавшую слух мелодию. Я стоял посреди комнаты и выделял чудеса своим смычком, а папа и мама сидели напротив меня и таяли от удовольствия, а Элиезер ходил взад и вперед по комнате — весь клубок нервов, сходя с ума от отчаяния. Несмотря на его длительные и упорные старания, ему не

удавалось извлечь даже самую простую мелодию из какого-либо инструмента. Он был совершенно лишен музыкальных способностей. Кто знает, какие странные и беспорядочные мысли копошились в его мозгу, когда он бегал так по комнате и выслушивал время от времени упреки отца: «Если ты не способен играть, то по крайней мере не мешай Яиру». Да, таков был отец. Как не знал он удержу в выражении любви, которую обычно изливал на меня и Амоса, так не умел он остановиться, когда изливал свой гнев или насмехался, в основном, над Элиезером. Элиезер не умел играть на скрипке, как я, и не был усерден в учебе, как Амос. Только через несколько лет, когда обнаружилась у него тяга к изобретательству и он начал заниматься своими знаменитыми изобретениями, отец изменил свое отношение к нему и даже стал предпочитать его мне. Я забросил скрипку, да и в учебе не проявлял излишнего пыла, мало того, вот и в мире практическом оказался полным неудачником. «У него две левые руки, — ворчал отец на меня, — он не способен даже вбить гвоздь в стену!» Это случилось на том этапе, когда он совсем отчаялся во мне, но мне уже было все равно, что он говорит и думает обо мне.

Когда Элиезер опустился до такой степени, что стал развозчиком хлеба на окраинах Иерусалима, судьба решила нанести ему последний и самый сокрушительный удар. Я полагаю, что не надо объяснять тут сущность и характер этого удара. Ница оставила его. Я чуть было не сказал: «Оставила его в стенаниях», но если бы сказал я так, то погрешил бы против истины. Она оставила его не в стенаниях, а в рыданиях. Как будто, чтобы доказать ему, моему брату Элиезеру, что действительность не менее банальна, чем самые банальные романы, Ница вышла замуж за молодого адвоката, закончившего свою учебу в то время, когда Элиезер служил в Бригаде. Да, такова была Ница. Порылась и нашла себе какое-то прилизанное и приглаженное существо, похожее на дождевого червя, че-

ловека, который получил окончательную отделку на бессмысленных вечеринках мелких английских чиновников и поэтому рассказывал много анекдотов по-английски и мазал голову бриллиантом.

Нет ничего удивительного в том, что Элиезер влюбился в нее. Она была самой знаменитой красоткой во всем нашем районе. Уже в четырнадцать лет встречалась она с самыми отчаянными из подростков нашей улицы под светом ламп кинотеатра «Люкс», на углу, а душа Элиезера всегда влекла его к самому возвышенному, совершенному и труднодоступному.

Она ответила на его ухаживания только после того, как он получил звание сержанта. Очевидно, ему также удалось нагнать на нее немного страха. Несмотря на его маленький рост и болезненную чувствительность, была в нем какая-то сила, которая позволяла ему навязывать свою волю и нагонять страх на всех, кто с ним соприкасался. Все время, пока она была его «девушкой», Ница, эта известная кокетка, ходила в туфлях на низком каблучке, чтобы ее высокий по сравнению с ним рост не бросался в глаза.

Я помню тот вечер, когда он рассказал мне о замужестве Ницы. Он только вернулся с работы и еще распространял вокруг запах бензина, смешанный с запахом машинного масла и пота. Лицо его было искажено, а глаза затуманены, как будто он только что вышел от зубного врача, удалившего ему зуб. «Я совершил ужасный поступок», — сказал он мне голосом, будто только что задавил кого-то насмерть. Я даже не решился спросить его, что он сделал. После этого он вскочил и закричал: «Нет! Нет! Нет!» Последнее «нет» прозвучало уже, как визг побитой собаки. «Нет, Яир, я не прощу себе до конца своих дней. До конца своей жизни не прощу себе». Потом слезы начали струиться по его щекам. Это были слезы стыда. Он плакал не из-за замужества Ницы, а из-за того, что он совершил постыдный поступок, ниже которого не бывает. Это

было настолько ужасно, по его представлению, что в тот вечер он так и не решился рассказать мне о том, что он сделал. Всю ночь он не спал. Курил папиросы и стонал. Лишь на завтра он открыл мне, что после того, как Ница объявила ему о своем замужестве, он схватил ее за руку и сказал: «Ница, не оставляй меня, ты необходима мне!». Она силой вырвалась из его рук, а он бежал за ней и умолял ее не оставлять его и говорил, что без нее нет в его жизни никакого смысла. Это и был «страшный позор», который он «не забудет никогда».

Чтобы в этой истории присутствовало все, что полагается по правилам самой пошлой банальности, сейчас же после этого у него появилось страстное желание писать стихи.

Не знаю, писал ли он любовные стихи. Если и писал, то не показывал их никому. Мне он показывал только стихи о войне. Они были страшно сентиментальны и вертелись вокруг темы о воинской дружбе. Дружба занимала значительное место в жизни Элиезера и после нашей войны, и после того, как он получил высокое звание. Я не встречал человека, который бы лелеял верную дружбу больше, чем Элиезер, и вместе с тем я не знаком с человеком, более чем он подверженным сварливой подозрительности по отношению к каждому. Всякий человек, по его мнению, готов к «предательству», особенно, если этот человек знал какую-нибудь из его самых заветных и тяжелых тайн. Я уверен, что у него на сердце было что-то против меня, потому что я видел, как он проливал слезы после истории с Ницей, а это было проявлением слабости, которое он никогда себе не простил.

Да. Этот суровый человек, который не жалел ни своей жизни, ни жизни своих подчиненных, для которого любая жестокость по отношению к самому себе или по отношению к тем, кто был отдан в его распоряжение, не была слишком тяжела, если только она приближала осуществление его цели, был сентиментален, как какая-нибудь

влюбленная глупая семнадцатилетняя девчонка. Он мог расчувствоваться даже от сионистской речи. Ведь вот он был убежден, например, что я действительно совершил преступление против государства и что заключение было наказанием, которое я заслужил. Он изо всех сил старался поднять мой сильно подавленный дух (ему было ясно, что дух мой подавлен из-за позора ареста) только из «верности». Вдруг я увидел, что он злится на меня и стыдится меня. Вся эта история с сокрытием ткани и моим арестом была для него личным ударом. Не колеблясь, скажу, без капли вражды и даже с пониманием, что его злость и обида были прямо связаны с его положением высшего командира, который должен быть вне всяких подозрений. Как военный командир он знал (и всегда неукоснительно ей следовал) первую аксиому, гласящую, что командир всегда должен быть примером для своих солдат. Вероятность того, что кто-нибудь может бросить ему в лицо обвинение, что его брат сидел в тюрьме из-за темных махинаций, нависла над ним, как дамоклов меч. И как раз в то время, когда он ожидал нового повышения. До сих пор он мечтает о должности Начальника Генерального штаба. К чему будет он стремиться, когда достигнет этого положения, я не знаю. Но в любом случае он не меньше, чем я, ненавидел евреев, занимающихся махинациями на черном рынке.

«Скажи мне, Элиезер, — сказал я ему вдруг после того, как принесли кофе и он предложил мне папиросу, — что бы ты сделал, если бы узнал, что в тюрьме я превратился в коммуниста, что я коммунист, передавший военные секреты чужой державе из-за верности идее? Ты бы, конечно, увидел во мне изменника и передал бы меня в руки сил безопасности!» Я сказал ему это в легкомысленном задоре, чтобы задеть его и причинить ему боль. (После того, как Амос вступил в коммунистическую партию, и после всех бурных споров с ним, Элиезер его предупредил, что если тот не одумается, то он собственными руками пере-

даст его силам безопасности, «и меня это не будет трогать! — кричал тогда Элиезер. — Если суд найдет тебя виновным в предательстве и приговорит тебя к смерти, я даже пальцем не пошевельну, чтобы спасти тебя». Но он ничего не сделал, да и не было у него необходимости что-либо делать. Очень скоро Амос вышел из партии по своей собственной воле.) Я хотел причинить Элиезеру боль, потому что он стыдился меня и потому что и ему, как и всем остальным людям, был важен только сам «поступок». Я чувствовал определенно, что, если бы он заподозрил меня в измене государству, то не замедлил бы передать меня в руки полиции, даже если бы был уверен, что мне вынесут смертный приговор.

Здесь возникает вопрос: а что сделал бы я, если бы узнал, что Элиезер выдал врагу военные секреты? По-моему, этот вопрос вообще не имеет смысла. Элиезер просто не способен на такое дело, так же как он не может отрастить у себя на спине пару крыльев и начать летать, как бабочка, вокруг лампы. Но если бы он сделал это, я бы, конечно, не передал его властям, ибо в этом случае у меня не было бы сомнения, что он просто сошел с ума. Я бы пожалел его, как жалел его, когда он был маленьким и боялся спать один в темной комнате или боялся выйти ночью, чтобы выбросить мусор в дальнем углу двора. Сегодня я не могу объяснить этот странный факт, почему в пору нашего детства обязанность выносить мусор была возложена на Элиезера, и он делал это именно темными ночами, когда страх перед затаившими недоброе углами нашего огромного двора наполнял все его существо.

Наше мусорное ведро тех дней совсем не походило на те сосуды, изящно покрытые эмалью, которые служат для этой цели сегодня, это было ржавое и дырявое ведро без ручки. Да, как обнаружилось, и в Элиезере тех дней не было даже и капли от подполковника, нагоняющего сегодня страх на целый полк. Он был тогда десятилетним мальчиком, тощим и согнутым, с испуганными глазами,

всегда готовым к взрыву плача или гнева, то есть относился к тем чувствительным, легко возбуждающимся натурам, которые в наше время пребывают под заботливым наблюдением стареющих психологов-женщин. Он открывал дверь и выглядывал наружу, в глубину угрожающей темноты, прислушивался к вою котов, носившихся, как привидения, между забором и бочкой с мусором, стоящей в углу, и не двигался с места. Потом смотрел на маму умоляющими глазами пока она, поняв его намек, не выходила на порог с керосиновой лампой в руке, чтобы осветить ему опасный путь. Да, способность пересилить страх и слабость была заметна в нем уже тогда. Я где-то читал, что настоящее геройство — это преодоление страха, а если страх вообще отсутствует, то это уже не геройство, а просто глупость. Если это так, то он уже тогда был героем, из тех, для кого нет на свете ничего более важного, чем выглядеть героем в глазах всего мира.

...Он улыбнулся. Улыбка всегда придавала ему страдальческое выражение. «Я бы передал тебя, — сказал он и посмотрел на меня испытующим взглядом, — но ты не способен на такую вещь».

«Почему нет? Способен и еще как!» — воскликнул я и в волнении вскочил с места. Я был поражен его категоричностью: мое сидение в тюрьме и все, что ему предшествовало, не поколебало его уверенности в моей преданности народу и государству. Действительно, не только я, но и все заключенные, с которыми я соприкасался, все до последнего карманника проявляли необыкновенный национальный пыл, подобный которому трудно найти в другом месте. Кроме секса, не было в разговорах более излюбленной темы, чем соотношение сил между Израилем и арабскими странами и будущие наши победы над «мусульманами».

Однажды заключенные сломали ребра одному нарушителю границы, который вознамерился осуждать государство и стал пророчить ему гибель. Наглость этого хев-

ронца до того накалила атмосферу, что, если вовремя бы не появились надзиратели, его избили бы до смерти. До сего дня я поражаюсь тому рафинированному национальному духу, который вскипает во мне по самым неожиданным поводам. Вот прочитал я в газете, что есть шанс найти богатое нефтяное поле в южном Негеве, и все мое нутро переполняется необыкновенным восторгом. Будь у меня хоть мало-мальская возможность приобрести акции или каким-либо чудесным путем получить дивиденды, можно было бы увидеть какой-то личный повод для подобной радости. Но ведь ничего этого не было. Я радовался просто возможности упрочить наше экономическое положение и обеспечить нам определенную независимость. Каковы бы ни были движущие мною мотивы, ответ Элиезера задел меня до глубины души.

«Знаешь что, — сказал я ему, усаживаясь на место и задев чашку с кофе, стоявшую передо мной (из-за чего половина кофе пролилась на стол), — оставим эти глупости с предательством из «идейных соображений» и так далее. Я даю тебе честное слово, что если бы легионеры, нет, не легионеры, а сирийцы, да, сирийцы, если бы они поймали меня и начали пытаться всеми известными способами, я бы не выдержал и рассказал им все, что они хотят знать. Я бы наверняка раскололся, если бы они стали выкалывать мне глаза. Специалисты по пыткам сразу обнаружили бы, в чем моя слабость, и начали бы выкалывать мне глаза. И в этот момент я сказал бы им так: «Уважаемые эфенди, знайте, что зрение мне важнее всех государственных тайн вместе взятых» — и немедленно открыл бы им все. Что бы ты сделал со мной после того, как сирийцы возвратили бы меня в Израиль? Скажи — что бы ты сделал? Впрочем, можешь не говорить, я сам скажу тебе, что бы ты сделал: ты немедленно передал бы меня нашей службе безопасности, даже если бы знал, что они будут тоже пытаться меня, а потом предадут меня суду и приговорят к смертной казни.

Официант, подошедший с тряпкой, чтобы вытереть ко-

фе, посмотрел на меня с удивлением и опаской. Элиезер вонзил в меня свой изучающий взгляд, он думал о себе. Это было совершенно ясно. Он думал о себе, когда ответил мне: «Есть пути устоять против пыток. В случае, если тебя схватят и начнут пытаться, не бойся кричать, кричи во всю силу. Это помогает».

«Это не ответ на мой вопрос. Это способ увильнуть от ответа», — сказал я ему. Он постарался перевести разговор на другую тему под тем предлогом, что я все еще «возбужден всей этой историей» — он имел в виду тюрьму, но я не отступал и настаивал на своем. «Это дело идеи, — сказал он, — если человек уверен в идее, ничто в мире не поможет сломить его. Он будет готов на любую жертву».

«А какие идеи на свете важнее отношений между людьми! — закричал я на него, — простых отношений человека с его братом, человека к человеку. Каждого человека в мире к любому другому человеку в этом же мире».

Мы жили в разных мирах и расстались друг с другом со злостью.

8

Не знаю, что было бы со мной, если бы не брат мой Амос, вернувшийся из Америки доктором физико-математических наук как раз тогда, когда я писал письма (которые так и не были отправлены) важным лицам в правительство и в редакции газет — о вопиющей несправедливости, совершаемой по отношению к служащим, отбывшим наказание в тюрьме, после чего их увольняли и подвергали остракизму.

В дополнение к преподавательской должности Университет предоставил Амосу на льготных условиях квартиру в самой лучшей части города, в районе Тальбие, недалеко от служебных квартир членов правительства. Все эти блага — должность штатного преподавателя с предоставлением «трехкомнатной квартиры-люкс с холлом и центральным отоплением» — свалились на голову Амоса как

бы между прочим. Насколько я помню, он никогда не стремился к внешним проявлениям уважения к себе. Если даже и было у него честолюбие, то оно не имело никакой связи со званиями и титулами, и уж конечно не сопровождалось погоней за материальными излишествами. Можно представить, что ночью, лежа на своей кровати, в нашем бедном Бухарском районе, в те минуты, когда его мозг отдыхал от математических задач, он предавался честолюбивым мечтам. В своих мечтах, так я предполагаю, он видел, как Эйнштейн или другой великий ученый в области физики и математики держит в руках его исследование, то есть исследование моего брата Амоса, с чрезвычайным удивлением просматривает его, качает головой и бормочет про себя: «Ясно, как божий день, что это самое большое открытие на протяжении последних поколений. Как это я не обнаружил сам в течение стольких лет! Ведь это так просто, ясно само собой! Да, да, самые большие открытия, они также и самые простые, только их не могут сделать, пока не появится гений и не укажет на них. Этот молодой человек — один из самых великих гениев человечества за все время его существования». Нет нужды добавлять, что это было для Амоса важнее всех званий и всех самых великолепных квартир на свете. Он всегда был так погружен в мир своих идей и исследований, что не только не обращал внимания на комнату, в которой жил, но и вообще не замечал ничего вокруг. Было у него, однако, ухо, более чуткое, чем у Элиезера. Он сравнительно легко научился играть на нескольких музыкальных инструментах, не выказав, однако, к музыке особого интереса. Что же касается его впечатлений от искусства, то здесь у него наблюдались странности. Он мог быть совершенно невозмутимым, как камень, но мог прийти в восторг от псевдоромантической картины, самой пошлой и мелодраматичной. Я помню те смешанные и бурные чувства, которые возбуждала во мне эта его черта, когда я брал его с собой на выставки художественного училища Бецалель.

В детстве я нес ответственность за него. Элиезер, который был старше меня на пять лет и старше его на восемь, был тогда уже юношей, служившим в «Хагане». Он весь был поглощен своими чувствами к гордой Нице и стратегическими планами, направленными на завоевание ее сердца. И, естественно, что на меня была возложена обязанность следить за Амосом. Сначала я был вынужден опекать его, потому что он ходил за мной, как тень. Потом я делал это по собственной воле, движимый «воспитательными идеями», которые стали овладевать мною. Я начал брать его с собой по субботам на выставки училища Бецалель. Но прежде, чем рассказать о его поведении в музее, я должен остановиться на том, что предшествовало этому — о его впечатлениях от футбольных матчей.

По субботам, когда происходили футбольные матчи на спортивной площадке «Маккаби», отец прерывал свой нескончаемый сон и брал нас всех на «стадион», который находился тогда на задворках школы полицейских — там, где теперь «ничейная земля», на севере Иерусалима, на границе с Иорданией, около известного перехода Мандельбаума. Я помню, что у этой спортивной площадки не было ни забора, ни мест для сидения, ни сетки у ворот. Толпы болельщиков устраивались, образуя квадрат и не отрывая глаз от игроков, которые демонстрировали свое искусство бескорыстно, не требуя никакой платы. В честь этого праздничного события мама выдавала нам троим субботние костюмы, то есть шерстяные штаны, доходящие до колен сверху, и спортивные носки, доходящие до колен снизу, полосатые пиджаки и синие шапки-каскаетки.

Почти в самом начале Элиезер заупрямился и стал также и в субботу ходить в костюме-хаки, подпоясанном поясом цофим*, в высоких ботинках и гамашах, как и подobaет настоящему мужчине. Спустя немного времени он во-

* Молодежная организация, наподобие пионерской.

обще стал увивать от семейного посещения матчей. И не потому, что ему надоела футбольная игра, а по соображениям тактики, связанным, само собой, с гордой Ницей. Ему казалось, что он падет в ее глазах, если будет появляться в обществе вместе с отцом, как маленький послушный ребенок. Поэтому в последнее время он старался приходиться один или со своим другом Хаимом. Когда они прибывали на спортивную площадку, то выбирали место позади ворот, откуда было плохо видно, что творится на поле, но зато можно было случайно встретить Ницу.

На площадке в то время произошла большая драка, из-за которой также и Амос отказался ходить на футбольные матчи. Он и раньше не очень-то увлекался ими. Он чувствовал себя как-то неловко среди всякого скопления людей, а особенно в толпе любителей футбольных матчей. Каждый уважающий себя мужчина из жителей северных окраин города — Бейт-Израэль, Бухарского района, Сангедрии — вооружался кульком семечек, жестяной банкой, чтобы усесться на нее, или складным стулом, если таковой был в его распоряжении, субботней каскеткой и доблестным боевым духом, необходимым, чтобы завоевать себе место на площадке. Все парикмахеры — персы и владельцы галантерейных лавок — бухарцы, и продавцы фалафеля — йеменцы, и строительные рабочие — курды собирались вместе и приходили сюда. Если и удавалось нам видеть что-то из того, что происходило на поле, то мы видели это сквозь просвет между ногами бушующей толпы.

Иногда приходили фанатично религиозные евреи с улицы Меа Шеарим в штреймлах и капотах, чтобы кричать «шабес, шабес», но старались делать это с безопасного расстояния.

В течение всей игры Амос стоял бледный, как мел, а его светлые волосы прилипали ко лбу из-за прошибавшего его холодного пота (светлые волосы Амос унаследовал от мамы, как и веснушки на носу. Маму я помню седой, но она

всегда гордилась тем, что в юности у нее были красивые светлые волосы. Она поседела очень рано.) Так вот, Амос стоял и дрожал от ужасного страха. Страх перед толпой, которая вот-вот задушит его, и страха заблудиться в человеческом лесу. Он боялся, что толпа разъединит нас, и он потеряется, поэтому он прижимался ко мне и не отпускал мою ладонь. Каждые две минуты он спрашивал: «Где папа? Где Лейзер?», хотя оба они стояли рядом.

Драки начинались обычно в лагере курдов из района жестянщиков. Важное событие без драки — это все равно, что пицца без соли и перца, и нет в этом событии никакого смысла. И как невозможны были свадьбы или бритмила* без дополнения в виде приятной и пикантной драки, так невозможно было представить субботу в районе жестянщиков без того, чтобы жены «буйных молодцев» в своих ярких платьях, с волосами, развевающимися во все стороны, и с пронзительным воем не бежали бы вызывать полицию. И уж никак нельзя упустить такое великолепное сочетание, как суббота, футбольный матч и праздничная огромная толпа. Само пребывание внутри огромной толпы вызывало в душе приятное воинственное чувство.

Когда вспыхивала драка, Амос начинал тянуть нас в направлении к дому, а отец, наоборот, старался приблизиться к центру побоища. Драки эти отличались тем, что не были опасны ни для участников, ни для зрителей. Но отец не избегал и серьезных столкновений. Как все невысокие мужчины, он старался показать свою силу на людях. К тому же был уверен, что подобные зрелища делают молодежь более отважной.

Большая драка вспыхнула сразу в двух местах. В одном углу подрались два мальчика, продававших эскиммо, и к ним присоединились их старшие и младшие братья, в другом

* Обряд обрезания.

углу драка возникла из-за стоячего места, а так как в ней были замешаны жестянщики — курд и каменотес — ашке-нази, то она превратилась в сражение между общинами.

Мы находились вблизи от этой второй драки. Я не помню, как случилось, что отец оказался вдруг борющимся с великаном-курдом, который как следует отколотил его.

К несчастью, Элиезера не оказалось поблизости: он был занят где-то там, за воротами. Однако, если учесть габариты соперника, то даже если бы Элиезер был тут и приложил максимум усилий, то и это вряд ли спасло бы честь отца. И все же мы трое, а в особенности Амос, огорчились из-за того, что именно в момент, когда в нем больше всего нуждаются, Элиезер исчез. Амос плакал и звал громким голосом: «Лейзер, Лейзер», а я почему-то старался заставить его замолчать и говорил, что кричать — некрасиво. Одновременно я обдумывал план, как бы напасть на курда сзади. В этот момент драка внезапно прекратилась, и весь народ приветствовал громкими криками игроков обеих футбольных команд, вышедших легким бегом на площадку. «Я еще покажу ему!» — снова повторил про себя отец и провел рукой по разорванной рубашке и по глубоким царапинам на шее, а лицо его исказилось и пожелтело. Но тут, к моей большой радости и к еще большей радости отца, мы увидели струйку крови, сочившуюся из носа врага. Амос же не видел ничего. Из его глаз текли слезы, и плач его превратился в истерику. «Домой, домой!» — выл он сдавленным голосом, и мы были вынуждены покинуть это место, так и не увидев матча.

С тех пор Амос больше не ходил на футбольные матчи. Через два-три года я стал брать его с собой на выставки в художественное училище Бецалель.

Был я тогда четырнадцатилетним подростком, и это был мой первый год в гимназии. Там я впервые встретился с детьми из хороших семей, живших в районе Рехавия, у которых дома на стенах висели большие картины, а на книжных полках красовались альбомы репродукций. Мир

картин, открывшийся мне, подействовал на меня с необыкновенной силой — как будто обрушилась на меня сокрушительная волна счастья. Я хотел утонуть в ней. У меня не было никакой подготовки в области живописи, и я не мог найти подходящие слова, чтобы выразить нахлынувшие чувства, когда я оказывался среди картин. «Как опьяненный вином», — стих этот возникал в моих мыслях, выражая происходящее в душе. Я никогда не пил вина, но в окружении картин мне казалось, что я во всей его глубине понимаю смысл этих строк. Сначала я любил все, что встречал, без разбора. Любил Рембрандта, и любил Ван-Гога, и любил Модильяни, и любил Рубенса, и любил Рафаэля. Постепенно я понял, что чем больше ощутимы краски, и чем сильнее выделяются мазки, тем больше говорит картина моему сердцу. Так стал я обращать внимание на картины Ван-Гога, и во мне родилась мечта — приобрести альбом его репродукций, а также полотна и краски, чтобы сделать копии с его картин.

Следует заметить, что я скрывал свой восторг даже от друзей, в домах которых мне открылся этот чудесный мир. Я старался избегать бесед о картинах. Мое чувство было интимным, это было святое святых, хранимое глубоко в душе, и было невозможно обнажать его на людях. Они говорили о картинах, как бы между прочим, словно в легкой беседе, а я воспринимал это, как будто они без всякого стыда говорят о своей тайной любви или о девушке, которую они вызывают в мыслях, когда занимаются онанизмом. По той же причине я ненавидел уроки литературы. Когда разбирали сионистские идеи стихотворения, которое ничего не говорило моему сердцу, это нагоняло на меня лишь тоску. Но если в классе обсуждалось стихотворение, волновавшее мое сердце, то было для меня это обсуждение чем-то сродни массовому блюду.

Приобретение альбома репродукций заняло два месяца. Два месяца воровства и обмана и других детских преступлений. Книга стоила семьдесят пять грошей — огром-

ная сумма денег. Я не решился попросить у отца даже половины ее. Я чувствовал, что отец, душа которого воспаряет от звуков «Майн штетеле Бельц» или «Идише маме»* и который, чтобы послушать их, готов потратить половину месячного жалования на покупку скрипки и частного учителя для сына, никогда не поймет, для чего нужна ему эта книга со странными картинками. Во всем, что по его понятиям не было важным, был он, как мне помнится, необыкновенно скуп. И не было в этом мире почти ничего, что бы он не считал излишним.

В течение двух месяцев я урывал от сдачи, которую приносил, когда меня посылали за покупками, и воровал из коробки «Керен каемет»** после окончания «Дня ленточки»*** (в этих краях я обнаружил талант изобретателя, не уступавший таланту моего брата Элиезера. Я научился вытаскивать копейки из отверстия коробки с помощью ножа).

Дважды я относил учебники продавцу подержанных книг на улице Яффо, а дома сказал, что они потерялись. Во второй раз отец заподозрил меня в обмане и без всяких церемоний влепил мне одну за другой три пощечины, пока я не признался ему, что продал книги, чтобы пойти в кино. Посещение кинотеатра было в его глазах вещью более понятной, чем покупка всяких глупостей, и поэтому я был прощен.

Я поспешил признаться не потому, что боялся его, а чтобы не плакала мама. Всякий раз, как его охватывал приступ гнева и он начинал бить нас, мама уходила на кухню и разражалась там плачем.

В то время я был готов, более того, горел желанием делиться своими впечатлениями только с одним человеком в мире. Этим человеком был не кто иной, как мой две-

* «Мой городок Бельцы», «Еврейская мама» (идиш).

** Еврейский Национальный фонд.

*** День, когда иерусалимские дети собирали пожертвования в пользу Национального фонда. Каждому жертвователю выдавалась ленточка, которую он прикалывал к одежде, — знак того, что он уже внес деньги.

надцатилетний брат Амос, которого я любил больше всех на свете. Он уже тогда не находил интереса в дружбе со своими сверстниками, и все наши секреты и заветные думы открывали друг другу.

Это из-за него у меня испортились отношения с отцом до такой степени, что я поднял на отца руку, и не просто руку, а руку с молотком. Все началось с одежды. Всю свою юность, в сущности, всю жизнь до освобождения из тюрьмы, я не обращал на одежду внимания. Просто не придавал этому значения, а если и ощущал необходимость одеться более красиво, то мне было жаль тратить на это труд, время и мыслительную энергию. Почти до окончания гимназии я обходился поношенной одеждой Элиезера, а когда вырастал из нее, то она продолжала служить Амосу. К этому времени она чем-то напоминала кроссворд, ибо состояла из сплошных заплат.

Когда глаза мои открылись на мир Ван-Гога, они открылись и на одежду Амоса. Однажды, возвращаясь из гимназии, я увидел идущего мне навстречу улыбающегося Амоса — его вид заставил мое сердце сжаться. Навстречу мне шел подросток с окраины. Подросток с окраины, тощий, с длинными конечностями (он был самым высоким из нас; уже в четырнадцать лет он перерос Элиезера и отца), шел в заплатанных штанах и в ботинках, которые велики ему и задирают свои рваные носы вверх. Особую жалость возбудили во мне ботинки. Ботинки, слишком большие для него и задирающие вверх свои рваные носки. Если бы я не стеснялся, я бы бросился ему навстречу и поцеловал его веснушчатый вздернутый нос.

В тот же вечер я сказал Элиезеру, чтобы он попросил отца купить Амосу пару новых ботинок. Элиезер кивнул головой, но мои слова как вошли к нему в одно ухо, так и вышли из другого. Все его мысли, свободные от дел «Хаганы», были направлены на покорение гордой Ницы, и мы почти не видели его дома.

После истории с продажей книг я боялся поднять во-

прос о ботинках Амоса и старался не открывать своих мыслей даже маме. Она все равно была совершенно бесстрашна, и не было смысла добавлять ей грусти и слез. Поэтому я сказал Амосу, чтобы он сам потребовал от отца ботинки. Так он и сделал. И не потому, что ощущал в них необходимость, а потому, что я велел ему так поступить. Его угораздило поднять этот вопрос в один из самых тяжелых для отца дней, когда у него усилилось опасение, что из-за сокращения производства он будет уволен. Сначала отец вообще не понял, чего Амос от него хочет, а когда до него дошло, лицо его стало бордовым, как помидор. «Ботинки! — вскричал он, как будто слова Амоса заключали в себе нечто самое ужасное на свете, — затрещину ты у меня получишь, а не ботинки!» Я делал Амосу знаки, чтобы он от отца отстал, но бедняга не понял моих намеков, а, наоборот, решил, что я поощряю его. «Да, ботинки, ботинки, ботинки», — повторял он настойчиво, потому что не знал, что еще сказать. Отец сорвался с места, перевернул ящик с инструментами, в котором искал что-то в этот момент, и бросился к Амосу, чтобы показать ему на деле, что это значит: «Затрещина, а не ботинки!» Амос даже не попытался убежать. Он стоял по своему обыкновению на месте, готовый мужественно, хотя и дрожа от страха, принять на себя всякое несчастье. Бог свидетель, что, если бы отец набросился на меня подобным образом, я бы либо убежал, либо постарался защититься, но никогда бы не возникла у меня мысль поднять на него руку. Но тут случилось что-то неожиданное и для них, и для меня. С быстротой молнии я поднял молоток, выпавший из ящика с инструментами, и крикнул отцу: «Я убью тебя!» Я хотел крикнуть: «Если ты не оставишь Амоса, я убью тебя!», но из моих уст вырвались только эти последние слова, и прокричал я их голосом, который мне самому был незнаком. Отец повернулся ко мне лицом и, когда увидел меня с молотком в руке, застыл на месте. И мне, и ему было ясно, что если он делает еще один шаг, я со всей силой опущу молоток на его

голову. «Мамзер, сукин сын!» — закричал на меня отец, и его лицо, которое за миг до того было красным, как помидор, стало зеленым, как лимон. «Положи молоток, а то я убью тебя и твою мать-проститутку!» Так кричал он, но был уже бессилен и побежден.

Примерно раз в месяц он приставал к маме, обвиняя ее в том, что всю неделю она развратничает с нашим соседом-праведником ребе Хониклекером, в то время, как он губит себя на своем предприятии ради нее и ее «мамзеров».

До нынешнего дня я не знаю, действительно ли эти нелепые подозрения овладевали им, или он высказывал их только для того, чтобы портить маме жизнь.

С тех пор, как я поднял на него молоток, мои отношения с отцом приобрели очень странный характер. Мы не разговаривали и почти не смотрели друг на друга, но я чувствовал, что теперь я ему гораздо ближе, чем раньше, что цена мне повысилась в его глазах и что в глубине души он даже благодарен мне за то, что я сделал.

В это время начал я брать Амоса с собой по субботам на выставки в училище Бецалель. Мне казалось, что я должен передать ему тайну, которой владел, и я заранее чувствовал подъем, представляя, какую ему это доставит радость. Когда мы ночью лежали в своих постелях или рассматривали альбом репродукций Ван-Гога, он слушал меня с широко раскрытыми глазами и согласно качал головой. Я не подозревал, что он потрясен вовсе не искусством, как я, а тайной любовью и братством, возникшими между нами. Понял я это только, когда мы стали ходить на выставки. Это открытие так огорчило меня, что я едва сдерживал слезы. Я чувствовал страшное одиночество от того, что любимый мною человек оказался для меня чужим. Уже тогда я понял, что он живет в своем мире, который мало привлекает меня.

Сначала он стоял около меня перед каждой картиной и вел себя точно, как я, со священным трепетом на лице во время всего нашего там пребывания. Потом стал перебегать

от картины к картине с заметным нетерпением, но пока еще не осмеливаясь издать ни звука. В конце концов начал высказывать свои замечания о том, что видел на стенах. Я прощал его, полагая, что ему просто не удастся выразить то, что он хочет выразить. Мало-помалу мне стало ясно, что его интересует не сама картина, а ее содержание, и не столько ее содержание, сколько одна подробность — ему во чтобы то ни стало хотелось увидеть на картине экипаж и пару лошадей. «Ты знаешь, какую картину я люблю больше всего? — сказал он, странно посмотрев на меня. — Я люблю картину с черной коляской, в которую запряжены две лошади. Извозчик-араб в красной феске. Ты помнишь, точно в такой коляске отвезли меня в Институт Пастера, когда собака завхоза укусила меня в школе? Тогда впервые прокатился я в экипаже». — «Но ведь нет ни одной картины с лошадью на всей выставке», — сказал я ему и почувствовал, что задыхаюсь. Что толку было от всех наших ночных бесед в постели?

— Правда? — спросил Амос.

— Что правда? — спросил я его, едва сдерживая злость.

— Правда, что нет такой картины, — он что-то почувствовал, но не понял, что рассердило меня, и потому пытался объяснить свои слова как можно лучше. — Я понимаю тебя, когда ты говоришь, что картина должна быть нарисована хорошо и что это самое главное. Но я хочу видеть хорошо нарисованных лошадей, а не деревья и дома. Мне неинтересно видеть нарисованные дома, даже если они нарисованы хорошо.

Я почувствовал, что все потеряно, но все-таки я не отчаялся и продолжал бороться. Я обегал все книжные магазины города, пока в букинистическом магазине на улице Хавацелет не нашел немецкую книгу, как раз то, что искал — книгу репродукций картин с конями. Я подумал, насколько она соответствует немецкому духу, методически классифицирующему любой предмет, которым он намерен заняться. И когда он «научно» занимается искусством, он, естественно, классифицирует его по темам.

Я постеснялся сказать Амосу, что купил эту книгу специально для него. Я вытащил ее из портфеля как бы случайно и сказал как бы между прочим: «Посмотри, Амос, какую книгу я нашел».

— Да, лошади! — сказал он и перелистал книгу в течение нескольких секунд, а потом сразу же вернулся к своему занятию. В этот момент он чертил геометрические фигуры. Я оставил книгу на столе в надежде, что он вернется к ней, когда освободится от своей геометрии.

— Ты забыл тут свою книгу, — сказал он мне.

— Это для тебя, — сказал я и вышел на улицу. Через два дня книга была разрисована чертежами каких-то четырехугольников, окружностей и треугольников.

Только когда он начал учиться в университете, у него как-то само собой появилось желание покупать время от времени картины и вешать их на стену в своей комнате в немецкой колонии. Это были репродукции размером в почтовую открытку, которые должны были вызвать отвращение у любого человека, обладающего мало-мальским вкусом. С пышной театральной сентиментальностью на этих открытках были представлены сцены совершенного семейного счастья. Везде присутствовала «святая троица» — отец, мать и сыновья, меж которыми царил полная гармония, о чем можно было судить по любящим взглядам, которые они посылали друг другу. Его друзья по учебе высказывали ему свое мнение об этих произведениях не раз и не два тоном, который не оставлял сомнения, но их слова не производили никакого впечатления. Он был редкостным упрямым и, кроме того, совершенно лишен манер. У него не было ни малейшего желания сделать приятное людям, с которыми он общался. Поэтому в глазах людей, не знакомых с ним, он казался человеком нестерпимым, высокомерным и грубым, но друзья любили и даже уважали его. И именно за эти его черты — прямоту мысли, и речи, и поведения.

Во всех своих занятиях он интересовался только суще-

ностью вещей, а не их внешним проявлением. Он не умел и не хотел скрывать свои мысли и мнение. И поэтому друзья были уверены в его любви, его оценках, в его верности и платили ему тем же, если не сторицей. Однако и им тяжело было привыкнуть к его поведению и манерам, которые остались такими же, как и в детстве, то есть поведением мальчишки с окраины, которого нельзя впустить в порядочный ресторан, потому что он не умеет пользоваться вилок и ножом.

Мой брат Элиезер тоже столкнулся с этой проблемой — как правильно пользоваться ножом и вилок. Произошло это после того, как он высоко поднялся по лестнице воинских званий, и от него потребовалось не только знать, как дислоцировать полк в бою и как привести его к цели, но и в каком виде явиться на праздничный ужин в гостиницу Ха-Шарон, даваемый в честь двух знаменитых английских генералов, прибывших с визитом вежливости в лагерь израильской армии. В период перехода Цахала* к правилам, принятым в самых старых и упорядоченных армиях мира, Элиезер без долгих колебаний понял, что он должен усовершенствовать свои манеры. Тот самый праздничный ужин в гостинице «Ха-Шарон» был для него пробным камнем, и ему удалось выдержать экзамен без серьезных промахов, хотя и не увенчанным ореолом славы. Он рассказывал мне, как очутился между двумя великолепными женщинами, разодетыми в вечерние платья, напротив двух генералов, и на столе перед ним лежал не один нож и не одна вилок, а два ножа и две вилки. Этот вид ложек и ложечек, ножей и вилок, больших и маленьких, посеял растерянность в его сердце. Он клялся честным словом, что во всех боях и рейдах в тыл врага, где ему только довелось участвовать, он никогда не чувствовал себя таким растерянным и бессильным, как при виде этих семейств ножей и вилок. А если этого недостаточно,

* Израильская армия.

то рядом оказались эти две дамы, сидящие слева и справа от него, эти две важные англичанки, а его английский не продвинулся дальше первой строки первого рассказа в первой книге для начинающих: *Once there was a wizard. He lived in Africa. He went to China to get a lamp.* Но Элиезер не тот человек, который покинет поле битвы без упорного боя, и поэтому он тут же на месте составил план войны. На передовой линии утонченной беседы он решил покачивать головой и издавать какое-то английское бормотание, которое можно расшифровать, и как «да» и как «нет», согласно логике собеседницы, а на фронте еды решил в точности подражать действиям генерала, сидящего напротив него. И тут пришлось ему преодолеть непредвиденное осложнение. Правая рука генерала находилась против его левой руки, и поэтому Элиезеру приходилось делать мгновенный перевод справа налево и слева направо и при этом не перепутать большую и маленькую вилки.

Амос ни за что не был бы способен выделять подобные фокусы и, более того, его ничуть не трогало мнение жены английского посла о его поведении за столом. Я даже не хочу представлять себе, какое впечатление произвели вид и манеры Амоса на американских профессоров и ученых, среди которых он жил в течение трех лет. Он ведь был способен вытащить пальцами мясную котлету из соуса, облизать их, а потом вытереть их о волосы. Тот факт, что ему дали звание доктора, сопроводив его теплым рекомендательным письмом, доказывает, что для его американских руководителей сущность вещей была важнее их внешней оболочки.

Нам остается только удивляться, как это не был он задавлен на улицах Нью-Йорка трижды в день и как это не потерялся он по дороге из своей комнаты в лабораторию. Еще бывают чудеса на свете. Он вернулся в страну целым и невредимым, в темно-синем американском костюме, с волосами, остриженными почти наголо, и в очках на своем вздернутом, веснушчатом носу. У него был даже

галстук на шее, и сначала, особенно на определенном расстоянии, казалось, что в нем произошли значительные изменения, но сразу же после первой улыбки и рукопожатия стало ясно, что это все тот же Амос, только в другой одежде. В Америке не было у него другой возможности, как купить американский костюм и подстричься у американского парикмахера. И если галстук все-таки пребывал на положенном ему месте, а костюм его был более или менее чист, без пятен, и отглажен, то это только благодаря Шинхав. В Америке он снова встретил Шинхав и женился на ней.

9

Я уже сказал, что в Америке, в коридорах Колумбийского университета, Амос снова встретил Шинхав. Они были знакомы с тех времен, когда оба были членами коммунистической партии здесь, в стране.

Вижу я, что мне придется объяснить тут смысл принадлежности Амоса к этой партии, хотя подобные объяснения, и в особенности в рассказе о том, что случилось, противны мне. Постараюсь сделать это как можно короче.

Как вы уже знаете, несмотря на все его прекрасные качества, способные отшатнуть от него нормальных и порядочных людей, Амос не дурак, и не злодей, и не психопат. Будучи ученым по самой своей природе, он никогда не был захвачен глупой верой всех тех полуинтеллигентов, которые не знают, что означает термин «наука», в научность марксистских выводов. Он питал отвращение ко всякому тоталитарному режиму, будучи чрезвычайным индивидуалистом. Но как человек душевный и стремящийся к добру, он желал мира и братства между народами и уважения к человеку, ко всякому человеку в мире.

В наши дни эти слова звучат, как пустая, затертая фраза, способная вызвать циничную улыбку, но для него это

не были просто слова, это были идеи, к осуществлению которых он действительно стремился. Он почему-то верил, что из всех существующих режимов коммунистический режим может приблизить нас больше всего к осуществлению этих общественных устремлений. И поэтому он не ограничился только теорией, а совершил и действие, вступив в коммунистическую партию. А поскольку он вступил в нее, мне придется объяснить в нескольких словах его отношение к сионизму и государству.

Согласно логике своих мыслей и чувств, он не был ни националистом, ни религиозным — по крайней мере религиозным в общепринятом понимании этого слова (он верил в Бога, который создал Вселенную и ее законы). Все люди по своим главным свойствам были равны в его глазах, и потому национальная принадлежность и все созданные нацией учреждения и моральные ценности имеют лишь вторичное значение. Более того, он был убежден, что патриотизм приносит больше вреда, чем пользы. Короче, у Амоса отсутствовали национальные чувства.

Когда он вступил в коммунистическую партию, то сказал мне, что он чувствует большую близость к французскому или даже к японскому ученому, чем к нашему соседу ребу Хониклекеру или к лавочнику-бухарцу. И уж нечего говорить о том, что скорее находит с этими учеными общий язык. Что касается проблем государства и еврейского народа, то, если бы он родился в Америке — так сказал он мне совершенно определенно — то не поколебался бы ассимилироваться в американском народе и как сын этого народа боролся бы с национализмом ради «общечеловеческого братства». И именно история еврейского народа в изгнании доказывает, насколько велико то страшное зло, которое человечество пожинает из-за своих религиозных и национальных идей. Что касается нас здесь, в стране, и наших соседей-арабов, то мы не лучше их, так же как и они не лучше нас, и единственный путь установления отношений — это взаимная ликвидация всех национальных идей и учреждений.

Мне кажется, нет надобности распространяться о том, что Амос не смог долго выдержать свое членство в этой партии. Не из-за того, что изменилось что-то в его идеях и подходе — они остались теми же, а из-за потрясения от встречи с партийной действительностью, а она всем известна. До сегодняшнего дня он еще не опомнился от шока, в который повергла его встреча с партийными командами и идейным принуждением. На его отношение к партии никак не влияли отношения между Израилем и Советским Союзом.

Когда он порвал с партией, его прежние друзья увидели в нем предателя. Очевидно, так же в то время о нем думала и Шинхав. Она рассталась с партией через полтора года после него. Я не знаю, были ли между ними какие-то отношения перед тем, как они случайно встретились в Колумбийском университете, где она пыталась изучать психологию.

Она происходила из одной из самых старых, уважаемых и богатых семей в стране, и, находясь в партии, была предана ей сердцем и душой. Впрочем, эта преданность не мешала ей продолжать нормальную жизнь девушки из состоятельной семьи. Она всегда любила со вкусом одеться и, следуя последним веяниям моды, не видела никакой причины менять свои обычаи. Поскольку у нее было достаточно денег и времени, чтобы их тратить, она никогда не имела желаний изнурять себя работой, кроме той, что требовала партия. Каждый мог встретить элегантно одетую коммунистку Шинхав, которая сидела в одиннадцать утра в фешенебельном кафе в центре города, попивая освежающий напиток и внимательно рассматривая журналы мод, следуя лучшим традициям буржуазных дам. Кто не знает Шинхав, может поспешить с выводом и увидеть в ней одну из «салонных коммунисток» со всеми присущими им чертами. Это наблюдение мог бы подтвердить тот факт, что она появлялась в кафе в сопровождении Мули — своей карманной собачки из породы тибетских терье-

ров. Ясно, что это лишь ошибочное впечатление. И не только потому, что салонная коммунистка никогда не вышла бы замуж за человека вроде моего брата Амоса. Шинхав стала членом партии по тем же соображениям, что заставили вступить в нее Амоса. Может быть, были тут еще порывы, присущие лучшим из коммунистов, вышедших из хороших семей: чувство вины за свою благоустроенную жизнь, скрытый страх перед тысячами бедняков и еще сознательное или бессознательное желание вовремя присоединиться к враждебной силе, которая может вырваться и отомстить за себя. Возможно, эти же побуждения руководили ею, а может быть, и нет. Я не знаю точно — не говорил с ней об этом. Что касается ее нарядов и появления в кафе по утрам, то я не вижу в том ничего плохого. Получать удовольствие от жизни — одно из самых возвышенных стремлений в истории человечества. Тем более, если удовольствие столь невинное и никому не приносящее вреда.

Продолжая вести себя так и после вступления в партию, она делала это без капли притворства, с одной стороны, и без кокетливого упрямства с другой. В том, как она вела себя, была какая-то чистота и наивность, с неизменной верой в тех, кто ее окружает.

Была у нее пара больших, карих и прозрачных глаз, губы ее всегда были готовы улыбнуться, а ноги — закружиться в танце. Никогда в ней не чувствовалось наигранности, или высокомерия, или намеренной манерности, характерных для красивых женщин. Вот такой была Шинхав и перед тем, как вступила в партию, и после того, как вышла из нее, и перед своей поездкой в Америку, и после возвращения из нее уже в качестве законной жены моего брата Амоса. Законной, и еще как. Эта пара бывших коммунистов вынуждена была пройти церемонию бракосочетания дважды. В Америке состоялась гражданская церемония, которая не была признана израильскими раввинами. И в Израиле была устроена церемония согласно закону Моисея и Израиля.

Амос заставил меня поселиться в его доме.

После освобождения из тюрьмы и ссоры с Элиезером, и после того, как я впал в депрессию из-за этих неотправленных писем, я закрылся в своей отвратительной комнате, не желая никого видеть. Жизнь среди людей стала пугать меня, а хозяева моего дома «еки»*, были как раз из тех, кого можно было назвать такого рода «людьми».

Этого стареющего чиновника «еки» я возненавидел с первой минуты, как снял комнату в его доме. Я не поменял ее из-за лени и потому, что за те три месяца, которые провел в тюрьме, на квартиры вздорожали цены.

Жизнь этого служащего была расписана с точностью, превышающей точность расписания железных дорог. И если что-нибудь выбивало его из установленного распорядка, он мог заболеть от невыносимого отчаяния. Я говорю «заболеть», а не «сойти с ума», потому что он и так не был в своем уме.

Однажды он замахнулся на меня палкой лишь потому, что ему, видите ли, почудилось, что я показал ему язык. Он ни на минуту не давал мне покоя: или ему казалось, что я забыл закрыть дверь уборной, или погасить свет в темном коридоре, или опустить жалюзи, или закрыть кран. У него был какой-то особенный, выходящий из ряда вон талант заниматься приведением дома в порядок все свободное от конторы время. Хотя еще до своего ареста я сказал ему, что уезжаю в отпуск, он стал после моего освобождения страшно подозрителен и подстраивал разные козни, чтобы каким-нибудь образом вытянуть из меня правду. Он то и дело заводил теплые дружеские беседы о том, о сем. Очень скоро они стали для меня тяжелым бременем, и в часы, когда он бывал дома, я просто запирал дверь на ключ.

— Ты сгниешь тут, — сказал мне Амос.

— Я хочу сгнить, — ответил я ему. — Не желаю видеть людей.

* Прозвище евреев, приехавших в Израиль из Германии.

— Ты можешь закрываться в своей комнате и у нас — и днем, и ночью.

— Правда, Амос, оставь меня. Здесь мне хорошо и, кроме того, я занят.

Но Амос не оставил меня, а явился назавтра с грузовиком и перевез мои вещи в свой дом. Если бы у меня были деньги, я бы продолжал сопротивляться этому насилию. Я не тот человек, который позволяет людям перебрасывать себя с места на место по своему желанию, но, заплатив за квартиру и отдав лавочнику за месяц долг, я остался без гроша в кармане.

Вполне вероятно, что я мог бы найти работу в какой-нибудь частной фирме, но одна мысль о том, что мне придется бегать из конторы в контору, от чиновника к чиновнику, завязывать связи, просить рекомендации и писать «краткую автобиографию», нагоняла на меня ужас.

Что я, например, мог написать в этой автобиографии? Что я сидел три месяца в тюрьме в наказание за то, что торговал мануфактурой на черном рынке? Или что в качестве наказания за наказание был уволен с работы и все двери государственных учреждений закрылись передо мной? А может быть, я должен подробно описать причины, по которым я заставил маму сделать то, что она сделала? Следует ли мне объяснить в моей «краткой автобиографии», что я сделал то, что сделал, в знак протеста, из-за идеи, из-за идеализма, совершенно бескорыстно? Многие из моих бывших друзей уже успели высоко взобраться по лестнице государственной службы, и как будто бы для меня нет ничего легче, чем зайти, например, к Мойше и попросить, чтобы он взял меня к себе — он начальник отдела в Министерстве торговли и промышленности — и он выполнит мою просьбу, не моргнув глазом. Он поможет мне даже написать «краткую автобиографию» и возьмет на себя труд зайти в отдел кадров и благодаря своим связям «организует» там пропажу компрометирующих документов, превратив меня в пригодного, с точки

зрения закона, служащего. Да все, что он сделает, будет в рамках закона. Он сделает все это из чувства дружбы, но я не хочу этого. Мне тяжело даже встречать его на улице. Его и других друзей тех лет. Когда я вижу, как кто-нибудь из них идет мне навстречу, я спешу перейти на другую сторону, чтобы только не начались вопросы, требующие длинных объяснений. Я и раньше чувствовал, что отличаюсь от них, но теперь отличие это еще больше углубилось. Когда-то я думал, что я выше их благодаря этому отличию. Я выше их, потому что меня волнуют произведения искусства, а они остаются к ним равнодушны. Я думал, что я по той же причине выше Амоса, который остается холоден там, где я загораюсь. Но все это было когда-то. И чем больше я думал об этом, тем больше понимал, что существующая между нами разница — это не шкала достоинств. Просто одно из моих качеств достигло крайней точки в своем развитии, и оно совсем не является чем-то возвышенным, а скорее просто болезнь. Я тянусь к картине, как бабочка к свету под воздействием силы, которой она не управляет. Если у этой бабочки инстинкт самосохранения не одержит верх, то она в конце концов сгорит в пламени.

В этом же свете увидел я и тягу Амоса к математическим исследованиям. Всякий раз, когда в разгар какого-то занятия взгляд Амоса вдруг делался стеклянным и он начинал плыть по течению своих мыслей, я понимал, что у него просто нет сил остановить этот поток. Так же как нет сил у тела пересилить охватившую его болезнь. Таков был ход моих мыслей после того, как я перестал ходить на выставки и покупать альбомы репродукций, и после того, как я сам перестал исписывать листы каракулями, — я называю свои неудачные попытки, которым посвятил так много времени, не иначе как каракулями «талантливому ученика», который никогда не сможет подняться выше уровня «талантливому ученика».

Перед тем, как состоялся «мануфактурный суд», я порвал

все свои рисунки, а обрывки сжег во дворе — к ужасу моего хозяина «еки», который, размахивая своей палкой, готов был избить меня, утверждая, что я намереваюсь сжечь дом.

Короче говоря, так случилось, что я оказался вдруг в «квартире-люкс» с холлом и центральным отоплением в районе Тальбио, расположенной рядом со служебными квартирами министров. Амос и Шинхав, особенно Шинхав, относились ко мне, то ли как к человеку больному, то ли потерявшему душевное равновесие. Они даже не осмеливались заходить ко мне в комнату, и только перед едой Шинхав несколько раз торопливо и боязливо стучала в мою дверь и звала меня: «Яир, ужин готов». Мне стыдно рассказывать об этом, но в первое утро Шинхав принесла мне завтрак в постель, и я так рассердился, что приказал ей немедленно выйти из комнаты вместе с подносом. Потом, в течение целого дня я крутился взад-вперед по комнате, проклинал себя, злился на свой подлый и нестойкий характер и стеснялся выйти и пообедать вместе с ними.

Даже Мули — эта собака из породы тибетских терьеров — чувствовала что-то неладное, обнюхивала щель под моей закрытой дверью, царапалась в нее и рычала так, будто собиралась ворваться внутрь и вонзить в меня свои зубы. Эта трусиха вела себя так лишь на безопасном расстоянии или за закрытой дверью. Она была у Шинхав третьей по счету «Мули». Шинхав почему-то любила кудрявых коричневых собак-самок из породы тибетских терьеров и называла их всех «Мули».

Только через два-три дня наши отношения стали более уравновешенными, потому что я начал успокаиваться. В то утро я проснулся, и меня встретил яркий солнечный день, и, как глупые романтические девицы, вскочив с кровати, устремился к окну. Стена Старого города с возвышавшимися над ней куполами и башнями, гора Сион, церковь Дормицион с ее голубым куполом и башенками, Шотландская церковь, ветряная мельница Монтефиоре, фиолетовый хребет Моавитских гор — все это выглядело, как мир

скуки — древний и невозмутимый, который продолжает свое бесконечное, глубокое, всеобъемлющее существование, несмотря на все жестокие и мелкие войны гномиков-людей. Подобно червям, люди извиваются, бьются, убивают и погибают, а огромный окружающий их мир продолжает существовать, широкий, высокий, всеобъемлющий и равнодушный. В этом равнодушном и вечно праздничном мире жили и страдали, и любили, и воевали ханане и евусеи, и один слугитель всемогущего Бога, и один рыжий Давид с чудноглазой красавицей, и греки, и Маккавеи, и римляне, и всякие разбойники, и арабы, и турки, и англичане, и опять евреи, а среди них три брата, выросшие в бедности, и нужде, и в грязи северных окраин города, которые быстро исчезнут и пройдут, как исчезает все вокруг. Какое значение имеет все это по сравнению с одним проникновением внутрь мира этих великих видений? Вдруг я почувствовал жалость к Амосу, который не видит всего того, что преподносит ему его распахнутое окно, который бродит по миру с опущенными ставнями. Да, он идет и не видит мира. Он перестал даже вешать картины с изображением семейного счастья, и Шинхав обставляет и украшает дом, как ей хочется.

Я жалел Амоса, не прощая ему того, что он ходит по миру, закрывшись от него ставнями. Если бы он был глух лишь к тому, что происходит во мне, я, может быть, и понял бы его. Но он не удосужился почувствовать даже то, что происходило в его жене. На все вечера, и спектакли, и фильмы ходил он, словно по приговору суда, как истязаемый святой, приносящий себя в жертву на алтарь Шинхав. И как только появился я, он нашел для себя отличный способ отделаться от этого семейного долга, обременяющего его.

«Послушай, Яир, я ужасно занят. Может быть, сходишь с Шинхав в кино? Она не дает мне покоя». Или: «Ты ведь любил когда-то танцевать, есть у тебя чувство ритма, почему бы тебе не взять сегодня Шинхав в кафе потанцевать?» Таковы были его обращения ко мне.

Я, разумеется, отказывался наотрез. Я соглашался ходить только с ними обоими и вообще старался быть как можно меньше с ней наедине. Когда он стал давить на меня, я предупредил, что, если он не отстанет, я соберу свои монетки и уйду из его дома. Неподвижность исчезла из его взгляда, и он странно посмотрел на меня, словно подумал, какое перед ним неблагодарное низкое существо, которое отказывается пойти на малейшее одолжение даже своему брату. Вот, пойдя сделай что-то с человеком, подобным Амосу.

В конце третьей недели моей жизни в их доме я сдался.

По правде говоря, мне было ясно, что я сдамся сразу же, как я поселился здесь, а, может быть, и раньше. Будь у меня хоть капля самоуважения, я бы убежал от них назавтра, но я остался.

В тот день, зайдя в их спальню, я застыл, как громом пораженный. «Как опьяненный вином», — древние эти слова снова прозвучали в моем мозгу и обрели свой смысл. Там, над их кроватью, висела картина сумасшедшего художника, изобразившего поле, опьяненное от солнца и крови, в окрестностях Арля. Такого охватившего сердце восторга я не чувствовал уже десять лет, с тех пор как в юности очарованный стоял я в картинном зале. Краски оглушили меня каким-то своим первозданным звучанием.

Вдруг я почувствовал легкое дуновение, принесшее запах женских волос, и легкое прикосновение. Шинхав стояла рядом со мной и смотрела на меня. Я повернул лицо к окну и почувствовал в своем теле дрожь.

— Почему ты перестал рисовать? — спросила она.

— Я никогда и не начинал, — ответил я хриплым, не своим голосом.

— Почему ты не ходишь больше на выставки? — голос ее был совершенно спокойным и даже веселым.

— Потому что это болезнь, — сказал я ей, — человек тянется к картине, как бабочка к огню, как змея к звуку флейты, как корыстолюбец к золоту, как наркоман к опиуму.

— Ты врешь, — сказала она и озорно подмигнула, и это ее подмигивание вызвало во мне желание дать ей пощечину. — Ты перестал потому, что обладаешь болезненным высокомерием, большим, чем у брата твоего Элиезера, и не меньшим, чем у брата твоего Амоса.

Упоминание Амоса подействовало на меня, будто струя холодной воды, которая окатила мое горевшее лицо.

— Ты ненормальная, Шинхав. Амос самый скромный и непритязательный человек из всех, кого я когда-либо знал.

— Высокомерен, и еще как! — ее ясное спокойствие не нарушилось. — Он настолько высокомерен, что его совершенно не трогает, что думают о нем те мелкие создания, которые его окружают. Он позволяет себе, — да, несомненно! — он позволяет себе есть пальцами и облизывать их на всех праздничных вечерах, потому что он стоит выше условности всех вечеров и над чувствами всех присутствующих. Но ты должен был бы заметить, с каким трепетом смотрит он на Спенсера или Моргана, стоя рядом с ними, только потому, что он уверен в их величии! Я своими глазами видела, как он просто проглотил язык в их присутствии. Ты не менее высокомерен, чем он. Ты перестал рисовать, потому что почувствовал, что никогда не достигнешь уровня Ван-Гога или Руо, ты перестал смотреть на картины, потому что болело у тебя сердце из-за того, что ты покинул строй и сдался.

Я сел на кровать и взглянул в окно на гору Сион и на церковь Дормицион с голубыми башнями. Я чувствовал себя нестерпимо глупым и тупым.

— В одном ты права, — сказал я ей. — Я никогда не буду Утрило. Ну и что? Что ты хочешь, чтобы я сделал?

— Я хочу, чтобы ты взял меня сегодня вечером в кино. Идет чудесная комедия с Аленом Гинесом.

Комедия действительно была занимательной, и так это началось.

У Мули, маленькой собачки из породы тибетских терьеров, коричневой и кудрявой, начался период течки, кото-

рая бывала у нее два раза в год. Два ее глаза были похожи на бусинки из янтаря и горели ночью, как маленькие фонари. Кто не знал ее, мог подумать, что это славная героиня — так храбро вела она себя, находясь на почтительном расстоянии или за закрытой дверью. Всякий раз, как раздавался звонок в дверь, она вскакивала со своего места — а место ее обычно было на руках у Шинхав, или на руках у Амоса, или на руках у меня, или на руках любого человека, позволившего ей свернуться шерстяным клубком у него на коленях, — как я уже сказал, она срывалась со своего места, как ее древний предок — степной волк, воинственным прыжком достигала двери, издавала предупреждающее рычание и после этого раздражалась злым устрашающим лаем. Удивительно, откуда бралась в этом маленьком кудрявом и нежном существе такая сила — и не было более занятного зрелища, чем вид Мули, лающей на такого великана, как наш почтальон. Почтальон, который двумя пальцами мог раздавить это маленькое нахальное существо, пугался ее всякий раз заново, когда приближался к почтовому ящику. Правда, как у всякой породистой карманной собачки, чувства ее были не слишком развиты, и она могла не узнать даже звука шагов своих хозяев и залаять на Шинхав, взбирающуюся по лестнице, и не переставать лаять, пока та не откроет дверь. И, напротив, органы чувств никогда не подводили ее там, где требовалось классовое чутье. Достаточно было появиться человеку, занятому физическим трудом, чтобы она возненавидела его лютой ненавистью. Она не мирилась ни с почтальоном, ни с уборщицей, мывшей лестницу, ни с одним из представителей трудовых профессий, которые могли услышать ее лай. Короче говоря, каждый человек, выполнявший заповедь «в поте лица твоего будешь есть хлеб твой», вызывал ее гнев. Запах трудового пота был явно невыносим для нее.

Весь этот яростный гнев был, конечно, не чем иным, как притворством в большой игре, именуемой жизнью. Она сама

не относилась серьезно к своему лаю, и, если, не дай Бог, подвергшийся ее нападению делал какой-нибудь знак, что собирается ей ответить войной, она сейчас же поджимала свой лохматый хвост и спасалась бегством, даже не оборачиваясь. Она убегала не только от людей, относившихся к делу слишком серьезно, но даже от более мелких животных, судьба которых не была столь милостива, как ее судьба, и для которых война поэтому была не игрой, а суровой необходимостью. Были это, в основном, уличные кошки, но это же относилось и к различным насекомым.

Когда она обнаруживала на полу какое-нибудь насекомое, она, следуя опыту предков, принимала положение боевой готовности. Несколько секунд она стояла, застыв на месте: ее голова была наклонена в сторону, передняя нога отодвинута назад и висела в воздухе, сама же она была напряжена и натянута, как тетива лука. Если такую позу примет большая собака, скажем, овчарка или бульдог, она может нагнать страх на кого угодно, а вот Мули, готовая к бою, напоминала прелестного младенца, который совершенно серьезно решил стать пиратом. Затем раздавалось предупреждающее рычание, которое предшествовало броску. В самом броске Мули уже проявляла осторожную расчетливость, и, если, упаси Боже, насекомое не замечало ее угрожающих маневров и продолжало свой извилистый путь ей навстречу, Мули тотчас отступала назад в сердитом удивлении.

Мы прощали ей эту трусость только потому, что она проявлялась лишь в стенах дома, и поэтому не позорила нас на людях. Но мы не забудем ей ужасный позор, который она навлекла на нас в присутствии публики и к великой радости всех детей Тольбие, сопровождавшейся их восторженными криками.

Мы вышли в субботу утром пройтись по направлению к району Тальпиот, — Амос, Шинхав и я, не говоря уже о Мули, которая, пока мы готовились к прогулке (эта подготов-

ка заняла более часа, потому что Шинхав сделала какой-то просчет в туалете и не смогла выйти в платье, в котором собиралась выйти, а Амос в последний момент решил побриться), — так вот, как я уже сказал, не говоря о Мули, которая во время всех этих приготовлений была взволнована, как Колумб перед тем, как отплывал в неизвестный мир. Мули, как обычно, бежала перед нами, и вдруг раздался ее лай, и вместе с ним, как футбольный мяч, пронесся клубок коричневого меха. Выяснилось, что она увидела кота, который растянулся на заборе и грелся на утреннем солнышке. Коричневый клубок, громко мяукающий, достиг забора и забрался на него, и тут-то случился великий позор. Когда мы приблизились, то увидели, что это только недавно родившийся котенок, малюсенькое создание, ростом не больше, скажем, сжатого кулачка Шинхав. Этот младенец, который оказался лицом к лицу со страшным и огромным врагом, — Мули выглядела рядом с ним, как старый матерый лев, — этот младенец, у которого не было пути к отступлению, выгнулся и зашипел, шерсть его встала дыбом, и Мули без всякого стыда стала пятиться назад. Глупый младенец, не видя пути для отступления, решил шмыгнуть в пролом, который находился ближе к Мули, чем к нему, и когда он бросился к этому пролому, Мули, поджав хвост, с жалобным воем побежала к нам, она стала прыгать на Шинхав и не успокоилась, пока та не подняла ее, не прижала к своему сердцу, не погладила ее и не прошептала успокаивающих слов: «Не бойся, Мули, милая моя маленькая трусиха, посмотри, как ты позоришь нас. Все ребята смеются надо тобой. Это некрасиво. Ну что же будет с тобой в конце концов? Ведь это не может так продолжаться, ты ведь уже взрослая девочка».

И действительно, она была уже взрослой. В этом не было никакого сомнения. Назавтра первые ухажеры стали вертеться вокруг нашего дома. А через два дня все псы района обосновались в саду, между столбами у входа в дом.

Среди них был черный дог, добрый и такой огромный, что Мули могла совершать прогулки по его хвосту, вытянувшемуся под его брюхом, но его размеры явно находились в обратном отношении к его умственным данным. По сравнению с ним маленькая Мули казалась мудрым философом. Если и было между ними какое-то сходство, то это была трусость, только он, в отличие от нее, не нуждался в боевых маневрах и воинственном рычании, чтобы испугать почтальона и полomoйку. Достаточно было увидеть этого черного зверя, чтобы, подобно малому ребенку, почувствовать испуг.

Но не о нем хотел я рассказать и не о других многочисленных — не менее десятка — псах, которые появились вокруг нас, как по мановению волшебной палочки и привели к обострению отношений между нами и нашими соседями. Соседи на самом деле страдали от них. Псы будили нас своим лаем рано утром и не переставали издавать шум до поздней ночи. Самые вежливые из соседей намекали нам, что «есть пути преодолеть...». «Вот, когда у Чернушки доктора Розенталя была течка, он отдал ее на две недели в пансион доктора Шварца... Вы знаете, это самый хороший в стране пансион для собак. Он, правда, берет три с половиной лиры в день, но дело того стоит. Они чувствуют себя там, как дома. И еда там прекрасная. При необходимости они получают любую диету».

Через три дня уже рассказали нам о Ласси господина Шлица, «у которой была страшная течка. И что сделал господин Шлиц? Господин Шлиц привел ее к доктору Шварцу. И доктор Шварц сделал ей операцию. Это не повредило ей, только у нее не будет детей. Но ведь и вы же хотите, чтобы у нее не было детей, правда?»

Через неделю из бесед с соседями исчезли герр Шлиц и герр доктор Шварц, и вместо них появились более серьезные предостережения. Один дал понять, что, если не прекратятся собачьи драки с лаем по ночам, он «заявит по телефону в полицию», а другой пошел настолько далеко,

что намекнул нам о собачьей отраве. «Да, да. Так я сказал, и так я сделаю!»

Но не о псах нашего района собирался я рассказать. Все они были из хороших домов и хорошо воспитаны. Они не дожидались, пока в них попадет камень, а старались удалиться вовремя.

Выходя с Мули на прогулку, мы вооружались камнями, которые держали в руке, свободной от поводка. Примерно каждые три-четыре минуты мы оборачивались назад и бросали камень в пространство, чтобы отогнать преследовавших нас псов. Мы били их поводком. Самым воспитанным из них был черный огромный дог, который не ждал, пока в него бросят камень, а оттанцовывал назад с почтительным страхом, как только мы оборачивались. Но среди остальных были и такие, которые, забыв о всякой вежливости, не отставали от нас, пока не получали удар поводком.

Я хотел рассказать о Цезаре. Цезарь был простым уличным псом, из дворняжек. Он бегал без ошейника и без ярлычка. Это было маленькое животное светло-коричневого цвета, с тонкими ногами и шеей, и были у него глаза серны, а весь он был похож на знаменитого Бемби.

Один вид его возбуждал в сердце тоску и жалость и заставлял задавать этот вечный вопрос, который всегда возникает при виде подобных созданий: откуда он взялся и кто защитит его в этом огромном и жестоком мире? Но скоро стало ясно и нам, и особенно собачьей публике. настойчиво окружавшей нас, что этот малыш умеет бороться за свои права, если не более того. За один день он успевал схватиться с самыми большими героями из вражьего стана, и не нашлось ни одного, который бы в конце дня не оказал ему подобающей чести. Против псов из хороших домов, больших и маленьких, для которых боевые упражнения были развлечением, выступил безымянный, беспородный пес, который, если бы не относился к своей борьбе со всей серьезностью, ничего бы не смог достигнуть.

Назавтра после своего появления он уже приобрел себе, как любил выражаться отец, место «на востоке», то есть уважаемое место, ближе всех к двери нашей квартиры, лишив величия и оттеснив большого черного дога на второе место, в самом низу лестничного пролета. И после этого не было никакой возможности прогнать его оттуда — ни у собачьего общества, ни у общества соседей, ни у нас. Прележав на своем месте полдня, он набрался смелости и стал царапаться в дверь — царапается и умоляюще скулит. Герой войны оказался преданным любовником. Он упрашивал, унижался, притворялся существом, над которым каждый может издеваться, и принимал страдания со всепрощением. Да, он, в основном, прощал. И тут надо сказать несколько слов об отношении Мули к ее ухажерам вообще и к нему в частности.

По отношению к некоторым она обнаруживала явную вражду. Она не подпускала их к себе и оскаливала на них свои зубы с остервенением хищного зверя (с таким остервенением она вела себя лишь тогда, когда хотела отогнать ненавистных ухажеров или когда раздирала и обгладывала куриную голову, что было для нее самым большим лакомством). Это были большие псы, размеры которых исключали всякую связь с ней. По отношению к другим она не была ни переборчивой, ни чувствительной. Она позволяла им удовлетворять ее, а когда они ей надоедали, убегала домой.

Цезарь оставался около двери. Впервые в жизни он удостоился получить имя. Шинхав посмотрела на него и сказала: «Цезарь, ты в порядке». Почему именно Цезарь — я не знаю. Так решила Шинхав.

Цезарь был в порядке — он боролся и любил. И именно поэтому мы не могли его больше выносить. В пять часов утра он разбудил меня своим воем и царапанием, и, встряхнувшись, уже не давал нам покоя. Когда я вывел Мули, он преследовал нас и не отставал. Я стегнул его поводком и бросил в него камнем. Думал, что с этого момен-

та он превратится в моего врага и будет скалить на меня зубы, но нет. Поскольку я в его мыслях был связан с Мули, он излучал свою любовь и на меня.

Когда пришло время обеда, наше терпение лопнуло. Только мы, Шинхав и я, сели за стол (в дни, когда Амос вел лабораторные работы или занятия, он обедал в университетской столовой), послышалось знакомое повизгивание и царапание в дверь. С этой стороны двери Мули стала обнюхивать под дверью щель и отвечать на его визг.

— Так это не может продолжаться, — сказала Шинхав и положила вилку. — Надо как-то избавиться от него.

— Да, надо избавиться от него, — ответил я и решительно поднялся.

Я не знал, что я собираюсь сделать с ним. Оставил обед и вышел наружу. Схватил его за шкуру и бегом спустился с ним по лестнице. Он свернулся шариком и позволил себя нести без всякого протеста. На улице я убедился, что все это излишне. Он и так, по своему желанию, бежал за мной, или точнее, впереди меня. Мы вместе быстро спустились по направлению к немецкой колонии. Когда подошли к сосновой роще, вылезавшей прямо из скалы, я остановился. Во всю длину рощи стояла каменная ограда. Окружавшая группу арабских построек, которые, очевидно, некогда были каким-то воспитательным заведением, вроде миссионерского учреждения, а сейчас — я не знаю, что делают в них. Ограда была непроницаема, а железные ворота закрыты на замок. Я схватил Цезаря двумя руками, взобрался на выступ скалы и бросил его за ограду. Я думал, что пока он найдет дорогу обратно, пройдет несколько дней, за это время у Мули прекратится течка.

Обед тем временем остыл. И Шинхав снова разогрела его, но я был слишком взволнован. А что, если при падении сломалась его тонкая ножка? Я был уверен в том, что у него сломалась нога, и он лежит на боку, его тонкая шея вытянута, а его глаза серны круглы и выпучены от немой боли. Я поторопился убрать посуду со стола и пошел на кухню, чтобы вымыть ее. Но не успел я вытереть ножи, вилки и

ложки, как за дверью вновь послышался визг. Я открыл ее со страхом в сердце и увидел Цезаря, целого и невредимого, стоящего за дверью и виляющего хвостом. Он не затаил в своем сердце никакой обиды на меня. Сильно обрадовавшись, я совершил самый непедагогичный поступок, который можно было совершить в подобной ситуации. Быстро вытащил кусок колбасы из холодильника и незаметно поднес его ему так, чтобы Шинхав не успела заметить происходящего.

Когда в полночь мы, Шинхав и я, возвращались из кино, на лестничной площадке нас встретил господин Розенталь, брат того самого доктора Розенталя, который поместил Чернушку, свою собаку, в пансион доктора Шварца, и сказал нам: «Больше терпеть невозможно. Завтра утром я звоню в полицию».

— В этом не будет необходимости, — сказал я ему, — я сейчас же покончу с Цезарем.

— Что ты собираешься сделать? — спросила Шинхав. При свете лестничной лампы глаза ее были зелеными.

— Я еще не знаю, — сказал я ей.

— Хорошо, — сказала она, а глаза ее были зелеными. — Только вернись поскорее.

Была лунная ночь, небо было прозрачным, и не чувствовалось даже самого легкого дуновения воздуха, полного шорохов и запаха тяжелой жары. Улица бежала перед нами, как серебряная лента, не было ни души, и Цезарь в своем беге не пропустил ни одних ворот. Он заходил во все ворота и выходил, чтобы посмотреть на меня, определить, куда мы направляемся, и бежать передо мной в темноту.

На углу Греческой колонии я остановился, чтобы перевести дух. Цезарь тоже остановился. Я погладил его по голове и почесал за ушами, он лизнул мою ладонь.

«Ну, давай, поучись чему-нибудь, невоспитанный уличный мальчишка», — сказал я ему в стиле Шинхав и начал дрессировать его, давая задания. Через полчаса по моему приказанию «лечь» он уже вытягивался на земле.

Мы продолжали путь по направлению к роще Сен-Симона, и каждые сто или двести метров я останавливался и давал приказание. Когда мы подошли к роще, у меня не было сомнения, что он уже кое-что усвоил. «У тебя ведь в жизни не будет возможности выучить еще что-нибудь», — сказал я ему. Мы подошли к месту, где я был арестован в первый раз. Я нагнулся над входом, где когда-то висела табличка с надписью: «Георг Атанасис Спирдакус», — к своему великому удивлению я нашел ее на том же месте. Надпись осталась. Я посмотрел в сторону окна, где стоял тогда английский офицер с квадратными усами. В нем царил темень, как и во всех других окнах. Все осталось, как было, кроме жильцов. В этом районе поселили евреев, эвакуированных из Старого города.

В роще было полно молодых пар. Я обогнул ее и продолжал путь по гребню горы, пока мы не приблизились к дому, который так и не был достроен. Как видно, какой-то эфенди начал возводить его незадолго до основания государства и был вынужден убраться раньше, чем начали заливать крышу. Так этот дом и стоял с развернутой головой под светом луны.

Во время войны, до завоевания района Катамонов, постройка эта служила арабам командным пунктом; до сих пор она окружена колючей проволокой. Вход на второй этаж был завален обвалившимися камнями. Я приподнял Цезаря и перебросил его через забор из колючей проволоки в окно второго этажа. Домой я возвратился по короткой дороге через холм Шахин.

Шинхав стояла в домашнем халате около столба и ждала меня. «Что случилось с тобой? — спросила она меня. Она беспокоилась на самом деле. — Когда я слышала визг Цезаря, я была уверена, что у меня галлюцинация». Цезарь прибыл домой за четверть часа до меня.

Тут же на месте участь его была решена — утром мы отдали его сторожу собачьего загона на горе Сион. Мули хотела увязаться за нами, но Шинхав приказала ей ос-

таться и первый раз в жизни хлестнула ее поводком. И я, и Шинхав были злы на нее. По сравнению с тонконогим и тонкошеим Цезарем даже она казалась неуклюжей и грубой. Эгоистичное, грубое существо, тупое, избалованное и нестерпимо глупое. «Все из-за тебя, эгоистичная похотливая сучка, — ругала ее Шинхав. — Мне следовало тебя отдать в собачий загон и взять Цезаря вместо тебя. Цезарь он... он». Она, очевидно, хотела сказать: «Настоящий мужчина», но, закрыв за собой дверь, так ничего и не добавила.

Он радостно бежал перед нами и каждый раз поворачивал к нам голову, как бы соскучившись. Возле старой ветряной мельницы он вступил в свой последний и самый смелый бой с огромным сторожевым псом, который растянулся на краю пограничного района и с равнодушным спокойствием наблюдал за происходящим со своего поста. Хотя мы проникли на его участок без разрешения, Цезарь не простил ему его сердитого ворчания и бросился ему навстречу с угрожающим лаем, но на этот раз перед ним был не карманный песик для развлечений. Он вскочил на ноги, и прежде, чем мы успели понять, что происходит, эти двое уже сцепились, превратившись в пыльный клубок, в жестокое бою, который не прекратился, пока не появился хозяин сторожевого пса и не схватил его за ошейник.

— Я должен оставить ваш дом, — сказал я ей, хотя знал, что буду продолжать жить у них, если она скажет хоть одно слово. — Завтра, — добавил я. Но она ничего не ответила и продолжала смотреть прямо перед собой покрасневшими глазами.



Леонид ИЦЕЛЕВ

ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ С РЫХЛЫМ СЮЖЕТОМ

Василию Аксенову

Первые признаки графомании начали у меня проявляться еще до того, как я научился писать. В детстве я обожал блокноты и записные книжки. Я их теребил, листал, гладил, чиркал. Я был прирожденный писатель. По мировосприятию, по складу характера. Но писатель непишущий. О том, что я писатель, знал только я один. Отсюда возникали мои конфликты с окружающим миром. Автором Книги я стал только, когда мне перевалило за сорок. Четыре года ушло у меня на описание чужой жизни. Пока я писал Книгу, меня бросила жена, в России началась горбачевская революция, а в искусстве возникло новое направление — постмодернизм.

Через три месяца после того, как я отправил рукопись издателю, Книга появилась на прилавках эмигрантских книжных магазинов. Еще через три месяца половина ти-

ража* была распродана. Книгой зачитывались тонкие читатели и бесхитростные читательницы. Эмигрантская критика сравнивала меня с Набоковым, Солженицыным и Зощенко одновременно. Русский писатель, живущий в Нью-Йорке, назвал Книгу «достижением постмодернизма», «грандиозным формальным экспериментом». Другой живущий на Западе русский писатель, который старше меня на тринадцать лет, но которого я считаю классиком, упомянул Книгу в своей лекции об эмигрантском романе, прочитанной группе советских писателей в одной из европейских столиц.

Я стал фактом русской литературы.

Теперь очередь была за мировым признанием.

Захватив с собой несколько экземпляров Книги, я отправился во Франкфурт-на-Майне на тридцать девятую всемирную книжную ярмарку.

Ярмарка — всегда праздник. На празднике радостно быть даже наблюдателем. Тем более участником. Тем более процесса купли-продажи продукта интеллектуального труда. Среди сотен тысяч подобных продуктов мой товар занимал адекватное место на полке объединенного стенда эмигрантских издательств. Я стоял возле стенда и давал автографы читателям и интервью корреспондентам русских служб западных радиостанций. В это же время возле других стендов давали автографы читателям и интервью журналистам Чингиз Айтматов, Ширли Маклейн, Генри Киссинджер, Умберто Эко и сотни других моих коллег.

Около десятка издателей из Швеции, Норвегии, Франции, Швейцарии и Мексики проявили интерес к моей книге и обещали в течение ближайших недель дать ответ.

Прошли месяцы, прошло полгода, но никаких ответов не было вообще. Я был неправ, решил я, печататься надо прежде всего в той стране, где живешь.

* То есть несколько сот экземпляров.

Переведенную главу из своего романа я разослал в двадцать немецких издательств. Буквально через три дня стали приходить ответы. Краткие, развернутые, вежливые, резкие. Но все с отказом.

И тут в мою жизнь вошла Валентина Ивановна.

В начале лета восемьдесят восьмого года я сидел в полупустом кафе «Экстраблатт» на Леопольдштрассе и читал последний роман Сергея Юрьенена.

— Вы читаете по-русски? — услышал я возле себя женский голос.

Мне улыбалась сидевшая за два столика от меня женщина лет сорока в летнем белом платье и белой широкополой шляпе.

— «Сын империи», — прочла она заголовок книги, подсаживаясь к моему столику. — Опять про лагеря? Устала я от диссидентской литературы. Я здесь уже четыре года. Сперва набрасывалась на все это, а сейчас предпочитаю читать классику, особенно, когда на душе тяжело. Как сейчас... Я развожусь с мужем. Он немец. И хотя он прекрасно говорит по-русски, он не мог понять, как мне тяжело в чужой стране, среди чужих людей, этих фашистов, которые моего отца убили на фронте. И все-таки мне его жаль, потому что никто его не будет любить так, как я. Другая бы на моем месте заставила его платить тысячи четыре на жизнь да еще оплачивать квартиру, а я его пожалела: две с половиной за все — мне хватит. Квартиру себе я еще не нашла. Продолжаем жить с ним под одной крышей. Это невыносимо! Стараюсь пробыть где-нибудь днем, чтобы дома только ночевать. Где вы живете? В Богенхаузене? Это как раз по пути. Я бы часик посидела у вас и последней электричкой вернулась домой.

Весь вечер Валентина Ивановна говорила про своего Ганса. В первом часу ночи она спохватилась, что пропустила последнюю электричку в Фельдкирхен. Попросила у меня разрешения переночевать на диване в гостиной.

Я предложил ей свою спальню, поскольку сам иногда предпочитаю спать на диване.

«Нет, нет, что вы! Как это я сгоню вас с собственной кровати! Мы можем оба спать в спальне. Я вам мешать не буду. Я сплю, как сурок».

Мы долго лежали молча, в разных концах двуспальной кровати.

— Леонид Израилеевич, — обидчиво произнесла Валентина Ивановна, когда я уже начал засыпать, — вы бы хоть поцеловали меня.

Я придвинулся ближе.

Так начались наши отношения.

Валентина Ивановна стала мне каждый день звонить, приглашала в кино, в театр, просилась в гости.

Потом вдруг исчезла. Появилась только месяца через два. Сказала, что гостила у подруг — сперва в Штутгарте, потом в Дюссельдорфе. С Леной и Галей была знакома еще по Москве. Они тоже работали в «Интуристе», тоже вышли замуж за немцев, тоже развелись. Теперь мучаются здесь. С советским паспортом на работу не устроиться. Живут на пособие. Едва хватает на хлеб и воду.

— Почему же они не возвращаются?

— А ты почему в Германии живешь? — вскипела Валентина Ивановна. — Что вам в Союзе всем не хватает? Преследуют вас, бедных? В Звездном городке, где я выросла, у меня было много друзей-евреев. Их родители были математики и физики. Вообще все математики и физики в Звездном городке были евреи. Они жили лучше моего отца-генерала. У каждого было по трехкомнатной квартире. И только здесь, на Западе, я узнала, что их, оказывается, преследуют... И вообще я не понимаю, зачем ты мне звонишь постоянно? Почему ты мне проходу не даешь? Зачем я тебе нужна, русская женщина? Ты же каждый год едешь в Израиль. Что тебе там твоих хаек что ли мало?

На этом мы расстались.

В начале осени по телефону раздался плачущий голос Валентины Ивановны.

— Ленечка, приезжай ко мне. Мне очень плохо. Я хочу, чтобы со мной кто-то был рядом. Ты мой единственный друг.

— Что случилось?

— У меня кровотечение из матки.

Я приехал. Она выглядела похудевшей, но бледность на загоревшем лице не ощущалась.

Кровотечение началось сегодня утром. Но сейчас она уже чувствует себя лучше. Завтра обязательно пойдет к врачу.

Она угостила меня чаем с советскими пряниками и конфетами. Пряники были безвкусные. Шоколадные конфеты отдавали мылом.

Все лето она провела в Союзе. Была в Москве, Ленинграде и Ялте. В Ялте познакомилась с двумя предприимчивыми людьми. Они собираются открыть кооперативное издательство и публиковать произведения писателей-эмигрантов. Более всего их заинтересовала книга Леонида Ицелева. Им кажется, что она принесет наибольший коммерческий успех.

— Когда я им сказала, что я лично знакома с Ицелевым, — продолжала Валентина Ивановна, — они мне сперва не поверили, а потом стали настаивать, чтобы я связалась с тобой и выяснила твои условия. Кстати, один из этих людей сейчас находится в Вене.

— Как турист?

— Нет, кажется, по приглашению приехал к друзьям. Ведь сейчас это просто.

— И с ним можно встретиться?

— Конечно. В воскресенье он будет тебя ждать в восемь часов вечера в холле гостиницы «Аустротель». Это возле Западного вокзала.

Перед отъездом в Вену я позвонил Валентине Иванов-

не, чтобы справиться о ее самочувствии. Ее голос звучал вполне бодро:

— Врач осмотрел меня и сказал: «Дорогая моя, такой женщине, как вы, пользоваться тампонами просто преступление».

Отличить советского человека в холле международной гостиницы не представляет большого труда. Меня ждал блондин лет тридцати трех с коротко подстриженными усиками. У него было довольно приятное открытое лицо. Настораживала только спортивная, фигура и военная выправка.

— Вы от Валентины Ивановны? — спросил я. Звучало почти как пароль.

Он улыбнулся и протянул руку.

— Осадчий, Александр Петрович.

— Поговорим здесь в холле или пойдём в кафе?

— Если не возражаете, я бы хотел пригласить вас в ресторан, — сказал мой новый знакомый.

— Сегодня католический праздник — день всех святых. Рестораны закрыты.

— Для ресторана, в который я хочу вас пригласить, религиозных праздников не существует.

— Это далеко?

— Не близко, но я на машине.

Осадчий подвел меня к черного цвета «Volvo Diesel».

— Вы в состоянии нанять «вольво»?

— Зачем нанимать? Это моя служебная машина.

— Так вы, значит, дипломат? А Валентина Ивановна сказала мне, что вы здесь в гостях.

— Вы ее не так поняли. Я здесь не в гостях, но я и не дипломат. Я банковский служащий.

Он протянул мне свою визитную карточку:

Dipl. — Kaufmann A.OSSADTSCHY

В левом углу значилось: DONAU BANK GmbH.

Все понятно. Сотрудник советского Дунайского банка —

один из тысячи совслужащих в Вене.

В какой же ресторан он меня повезет? Неужели в столовую посольства? Надеюсь, что она расположена не в подвале. Я представил себе, как Осадчий снимает свой плащ, остается в форме капитана КГБ; верзила-сержант привязывает меня к креслу, начинается допрос с пристрастием.

Нет, мы ехали не в посольство. Ловко и уверенно Осадчий вел машину в сторону Дуная. Сейчас меня затащат на советское грузовое судно, бросят в трюм, привезут в Одессу, потом этапом в Ленинград. Показательный процесс во Дворце культуры имени Кирова. За свой роман я получу лет пять лагерей «за распространение заведомо ложной информации, порочащей советский государственный и общественный строй».

Машина действительно остановилась у причала. На дунайских волнах плавно покачивался корабль с молоткосто-серпастой трубой. Вдоль борта золотыми буквами сияла надпись «СОВЕТСКИЙ КАЗАХСТАН».

Возле трапа стояли человек пять крепких мужчин в черных нейлоновых куртках с капюшонами. Они поздоровались с Осадчим и пропустили нас на борт.

Увидев праздну снующих пассажиров, я несколько успокоился. Сегодня похищать меня не будут.

Осадчий открыл своим ключом пустую каюту-люкс. Мы оставили там свои пальто и прошли в ресторан.

В большом зале было занято лишь несколько столиков. Видимо, заканчивалось время ужина.

Из усилителей ненавязчиво доносилась советская рок-музыка.

Осадчий подвел меня к крайнему столику возле стены. На столе стояла «столичная», «каберне», армянский коньяк, два прибора и два салата из тунца.

Появилась официантка — высокая худая брюнетка без нижнего переднего зуба.

— Товарищи, что будете пить?

От забытого слова екнуло сердце.

Мы пили водку.

За салатом последовали борщ и жаркое.

Когда мое волнение окончательно прошло, я заметил, что Осадчий чем-то смущен.

— Так что, Саша, вы читали мою книгу? — решил я его поддержать.

— Только отрывок в журнале «Зеркало». Очень понравилось.

— И вы думаете, что это можно опубликовать в Советском Союзе?

— А почему нет? У нас сейчас такое печатают! Вообще-то я в литературе не большой знаток. Инициатор всего дела — мой приятель-журналист. Давай, говорит, издадим что-нибудь такое эмигрантское, на чем можно хорошо заработать. Ну я и вспомнил про вашу книгу. Дело было в Ялте, в кафетерии гостиницы «Ореанда». С нами Валентина Ивановна была. Да я же, — говорит, — с автором лично знакома и довольно близко. Ну я и попросил ее организовать эту встречу.

«А может быть, так все и было?» — пытался я убедить себя.

— Через месяц я еду в отпуск в Союз, — продолжал Осадчий, — и покажу вашу книгу своему приятелю. Если она ему понравится, он, наверное, захочет обсудить с вами какие-то детали публикации. Я пытался сделать вызов ему сюда в Вену, но, к сожалению, не получилось. Может быть, вы могли бы с ним встретиться в одной из соцстран?

Все-таки пытается вербовать...

Но ведь это же и есть признание! Они оценили мою книгу, мой талант. Они же не будут вербовать какое-нибудь дерьмо. Они заинтересованы в том, чтобы одаренных людей делать своими агентами влияния.

Когда мы доедали жаркое по-домашнему, недалеко от нашего столика зазвонил настенный телефон.

— Александр Петрович, вас просит Петр Кузьмич, — сказала официантка.

Осадчий подошел к телефону и через секунду вернулся.

— Капитан приглашает нас в бар, — торжественно объявил он.

За угловым столиком в баре нас ждал крепкий русский человек предпенсионного возраста с добрым, простым лицом.

Напитки нам подносила красивая статная барменша с голубыми глазами. Она заглядывала нам в глаза и в наши бокалы каким-то особым советско-женским взглядом.

Пока капитан рассказывал историю советского дунайского пароходства, я наблюдал за барменшей, пытаюсь раскодировать этот забытый за десять лет изгнания взгляд.

— Вы, наверное, хотите танцевать, Леонид, — сказал капитан. И, видя мое смущение, добавил, обращаясь к барменше: «Света, наш гость приглашает тебя на танец. И хотя персоналу танцевать не полагается, с разрешения капитана возможны исключения».

Света улыбнулась той самой улыбкой советской Джонкнды и протянула мне руку.

Мы танцевали возле оркестра, точнее вокально-инструментального ансамбля.

— Прекрасно играют, — искренне похвалил я.

— Это наша судовая самодеятельность.

— Если это самодеятельность, то кто же тогда профессионал?

— Я, — ответила без улыбки Света.

«Сейчас назовет свой чин и будет вербовать».

— Я и остальные официанты — артисты фольклорного ансамбля. Мы устраиваем концерты несколько раз за рейс.

— Может быть, вы из Ленинграда? — приготовился я к уже обыгранному сюжету.

— Нет, из Москвы. Я окончила ГИТИС.

Гитарист вокально-инструментального ансамбля вполне прилично пел по-английски:

If I could make it, make it there,
I could've make it everywhere...

Я проводил свою даму до рабочего места, к стойке бара.
Сразу покинуть ее было неловко и для поддержания
разговора я спросил:

— А что это на стене висит пустая рамка, как будто там
была фотография?

Света испуганно взглянула на капитана.

— Объясни, Света, в чем дело, ведь у нас гласность, —
сказал со своего места Петр Кузьмич.

— Здесь раньше был портрет крестной матери судна, —
опустив глаза ответила Света.

— Построено судно десять лет назад, в период застоя,
— пояснил, подходя ко мне, капитан. — А крестной ма-
терью его была супруга товарища Кунаева, первого секре-
таря ЦК Казахстана. Но это все в прошлом, а сейчас идем-
те, я вам покажу капитанскую рубку.

Мы поднялись на капитанский мостик, расположенный
над танцевальным залом. Петр Кузьмич подробно объ-
яснял мне назначение навигационных приборов британс-
кой фирмы DECCA. Я же не мог оторвать глаз от прости-
равшейся перед нами панорамы вечерней Вены, над ко-
торой вознеслась белая корабельная труба с красной по-
лосой и золотым серпом и молотом.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН
ПОКИНУТАЯ РОССИЯ.
ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая
в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Изра-
иле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с кни-
жного рынка. Книга выходит в новой редакции, с пре-
дисловием Ефима Эткинда и послесловием автора.
Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в
прошлом известный советский журналист, рассказывает о
своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского
радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий
отделом информации «Литературной газеты» пишет о нра-
вах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому
читателю кухню советских газет и руководящего ими пар-
тийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и
«Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при
социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журна-
листов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михал-
кова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих
других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Коми-
тета партийного контроля, — через который в годы молодости лично
прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм,
рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК
Н.М.Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в
высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского
журналиста, который много лет служил, как он сам
пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь
мучительного раздвоения и внутренней борьбы, пре-
жде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки
направлять по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605

ПОЭТ И ВЛАСТЬ

Шарль Добжинский (род. 1929) — широко известный французский поэт, автор многих стихотворных книг («Любовь к отечеству», 1953, «Буря надежд», 1953, «При свете любви», 1955...) и поэтических переводов. Одна из важнейших его переводческих работ — книга «Зеркало народа», антология поэзии идиш, виртуозно переведенной Ш. Добжинским на французский язык.

В 1964 году Ш. Добжинский прочитал запись Фриды Вигдоровой — суда над Иосифом Бродским; эта запись была опубликована в «Фигаро-литерэр». Суд потряс поэта, ошеломил, поверг в абсолютное изумление и негодование. Тогда-то он и написал публикуемое нами «Открытое письмо», посвященное вечной теме «Поэт и власть», напечатанное в журнале «Аксьон поэтик» в 1964 году, №2. Это — один из самых волнующих современных откликов на «дело Бродского»; то, что автор «Открытого письма» был в ту пору вполне правоверным коммунистом, придает его небольшой публицистической поэме особый интерес.

Шарль ДОБЖИНСКИЙ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКОМУ СУДЬЕ

(Action poetique, octobre 1964)

В Ленинграде воцарился порядок, товарищ судья,
Вы уничтожили хищного зверя,
Вы изгнали из городских стен тунеядца, паразита,
Врага общества,
Поэта.

В ваших глазах, товарищ судья,
Что такое поэт? Это камень, висящий
Мертвым грузом на шее общества.
Я не знаю Иосифа Бродского, товарищ судья,
Украшая собою скамью подсудимых,
На что он похож?
Может быть, его волосы рыжи, подобно закату,
А в глазах голубизна Невы, не знающей слез?
Можно ли прочесть в его взгляде
Преступность поэзии?
Может быть, у него безумный хаос в мыслях
и темная тоска в сердце?

Как бывает у тех, кто коротает ночи
 в рудниках языка, —
 Рудокопы слов, чьи лица черны
 От сажи непознанных истин?
 Я не защищаю его стихов —
 Может быть, они рыжи, как грозовая туча,
 Которая не знает, что служит вместилищем молний
 (Разве туче доступна идея электрического разряда?)
 Может быть, они просто-напросто очень плохие,
 Не все ли равно —
 Неужели вы взаправду уверены в том, что плохие стихи
 Наносят ущерб Государству?
 Если вы думаете, что едва родившийся крик,
 Еще не пробившийся сквозь толщу сердца,
 Представляет опасность для идеологии,
 Это значит, что вы, товарищ, не верите в народ,
 Что вы боитесь молодости
 (Сколько плохих стихов написано во славу социализма,
 но вы ведь не реагировали на них!)
 Я не защищаю Иосифа Бродского,
 Может быть, он стихотворец, лишенный таланта,
 Но разве кодекс облакает вас правом
 Судить о таланте?
 Говорят, что он очень одаренный переводчик,
 Это большая ценность, товарищ судья, —
 Даровитый переводчик стихов,
 Сплетающий в другом языке
 Ариаднову нить недоступных напевов,
 Голосов, без него обреченных на гибель в ночи, —
 Известно вам это, товарищ судья, вам это известно?
 Я не защищаю того, кого вы сочли дармоедом,
 Но мне кажется чудовищным вот что:
 В этой вашей стране, где чтят человека,
 Где для него пролагают пути, ведущие к счастью,
 В этой стране, где поэзия громко обращается к людям,
 Поэта, пусть он сорванец и бродяга

(Таким был Есенин, поэт-хулиган), —
 Поэта сажают на скамью подсудимых!»

Возможно, что он — бедолага,
 Вид у него несчастный, его беды тревожат меня,
 В его искренность трудно не верить,
 Но вы, доискались ли вы до корней недовольства, —
 Почему молодой человек восстает против мира,
 Даже если мир справедлив?
 Но вы, товарищ судья,
 Вы, возмущенный ничтожностью его доходов,
 (Чем он живет, если он не работает?),
 Вы не понимаете — ах, вы неспособны понять —
 Что можно пожертвовать хлебом насущным
 Ради любви к поэзии.
 Вы не понимаете, судья-фарисей:
 Можно пренебречь производством материальных благ,
 Ради того, чтобы найти позабытую розу,
 В целине ощущений и слов
 Бесплезную розу, богатую только одним:
 ароматом, несущим погибель.

Странный в социалистическом мире судья,
 Который сталкивает хлеб и розы,
 Мечту и реальность,
 Поэзию и труд.
 Конечно, поэзия прокормить не может,
 Поэзия бесполезна для того, кто неспособен понять,
 Что она суть нашего бытия.
 Поэзия — это скандал,
 В особенности, когда она не желает
 Подчиняться общепринятым нормам,
 В особенности, когда она выражает мятеж,
 А вы считаете мир, в котором вы хозяин,
 Настолько совершенным,
 Что всякий мятеж в нем немислим?

Разве надо было, товарищ судья,
 Оскорблять его, обесчестить публично,
 Потому что газета назвала его тунеядцем?
 (да еще в зале суда читают стихи,
 от которых он отрекается...)
 Я не знаю его стихов,
 Которые вы называете порнографией,
 Но вы бы, ничуть не впадая в сомнение,
 Товарищ буржуазный судья,
 Вынесли приговор Шарлю Бодлеру,
 Осудили Верлена и Рембо,
 Обличили Лотреамона.
 Между вашими суждениями и стихами
 Простирается океан крови —
 Крови Есенина, смешанной с кровью Маяковского.
 Конечно, поэты не все умирают по одной
 и той же причине,
 Но все они умирают оттого, что слишком любили
 Жизнь и поэзию.
 Так вот, товарищ судья,
 я отвожу ваши обвинения,
 Иосиф Бродский не Маяковский,
 Но и вы не царь Соломон,
 Ваше правосудие носит шоры, а вы —
 Странный пережиток палеолита,
 Судья для музея восковых фигур.
 Социализму необходимо
 Столько же (нет, больше!) поэзии, сколько угля,
 Столько же любви и правосудия,
 Сколько стали и зерновых.
 Понимание — это свойство человека,
 Оправданье судьи,
 Но вы — вы не способны понять.

Я не защищаю обвиняемого
 По этому смехотворному процессу
 (Разве был предан публичному суду автор
 Недавней расистской книжонки?)
 Я защищаю поэзию,
 Которую вы оскорбили во имя закона,
 Считающего (вместе с вами), что поэт — тунеядец;
 И во имя поэзии,
 Во имя правосудия,
 Без чего социализм был бы мертвой буквой,
 Я отвожу вас, товарищ судья.

Перевод с французского Е.Э.

В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»

*ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ УТВЕРДИТЬ ЧЛЕНА РЕДКОЛЛЕГИИ
 ЕФИМА ЭТКИНДА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
 ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ».*



Лариса МИЛЛЕР

СЛОВА И МОЛЧАНИЕ

НА СМЕРТЬ ЯШИ К.

Встань, Яшка, встань. Не умирай, Как можно!
 Бесчеловечно это и безбожно,
 Безжалостно ребенком умирать.
 Открой глаза и погляди на мать.
 Ты погляди, что с матерью наделал.
 Она твое бесчувственное тело
 Все гладит и не сводит глаз с лица.
 И волосы седые у отца.
 Он поправляет на тебе рубашку
 И повторяет: «Яшка, сын мой, Яшка».
 И повторяет: «Яшка, мой сынок».
 Гора цветов. Венок. Еще венок.
 ...Пришел ко мне смешливым второклашкой.
 Нос вытирал дырявой промокашкой.
 И мы с тобой учили «I and You»,
 «I cry, I sing» — я плачу, я пою.
 Как жить теперь на свете? Жить попробуй,

Когда вот-вот опустят крышку гроба,
 В котором мальчик, давний ученик.
 Его лицо исчезнет через миг.
 И нет чудес. Но, Господи, покуда
 Еще не выросла сырая грудка
 Земли, не придавили снег и лед,
 Приди, вели: «Пусть встанет. Пусть идет».

1979 г.

Благие вести у меня.
 Есть у меня благие вести:
 Еще мы целы и на месте
 К концу сбесившегося дня;

На тверди, где судьба лиха
 И не щадит ни уз, ни крови.
 Еще искать способны слово,
 Всего лишь слово для стиха.

1980 г.

Такие творятся на свете дела,
 Что я бы сбежала в чем мать родила.
 Но как убегу, если кроме Содома
 Нигде не имею ни близких, ни дома.
 В Содоме живу и не прячу лица.
 А нынче приветила я беглеца.
 «Откуда ты родом, скажи, Бога ради»,
 Но сомкнуты губы и ужас во взгляде.

1981 г.

Слово — слеза, но без соли и влаги.
 Слово — огонь, не спаливший бумаги.
 Слово условно, как поза и жест:
 Любят и гибнут, не сдвинувшись с мест.
 Слово надежды и слово угрозы

Точно скупые античные позы...
 Дело зашло на порог болевой.
 Вот и свидетельство боли живой:
 Десять попарно рифмованных строчек
 С нужным количеством пауз и точек.

1985 г.

Высота берется слету.
 Не поможет ни на йоту,
 Если ночи напролет
 До измоту и до поту
 Репетировать полет.

Высота берется сходу.
 Подниматься к небосводу
 Шаг за шагом день и ночь —
 Все равно, что в ступе воду
 Добросовестно толочь.

Высота берется сразу.
 Не успев закончить фразу
 И земных не кончив дел,
 Ощутив полета фазу,
 Обнаружишь, что взлетел.

1986 г.

Роза, жасмин и шиповник, и роза...
 В этом избытке для жизни угроза.
 Роза, жасмин и шиповник — богатство,
 Роскошь и пир, и почти святотатство.
 Господи, Боже, не дай насыщенья.
 Слишком обильно твое угощенье.
 Слишком обильно и пышно, и сдобно.
 Яство такое едва ли съедобно.

Роза, жасмин и шиповник, и роза —
 Чуда земного смертельная доза.
 Для вдохновенья, и счастья, и боли
 Нам бы хватило и тысячной доли.

1986 г.

В тишине тону с головкой,
 Растворяюсь без остатка...
 Чем-то божию коровку
 Привлекла моя тетрадка:
 Тихо ползает по строчкам,
 По словам моим корявым,
 Как по сучьям и по кочкам,
 По соцветиям и травам.
 Будто это все едино,
 Будто все одно и то же.
 Длинной строчки середина,
 Слово, стебель, цветоложе.
 Будто те ж лучи живые
 И одни земные соки
 Кормят травы полевые
 И питают эти строки.

Июль, 1987 г.

Сколько напора и силы, и страсти
 В малой пичуге невидимой масти,
 Что распевает, над миром вися.
 Слушает песню вселенная вся.
 Слушает песню певца-одиночки,
 Ту, что поют, уменьшаясь до точки,
 Ту, что поют на дыханье одном,
 На языке для поющих родном,
 Ту, что живет в голубом небосводе
 И погибает в земном переводе.

Июль, 1987 г.

На влажном берегу, на пенистой волне,
 Среди дремучих трав, под градом звезд падучих,
 В бушующей листве, в ее шумящих тучах —
 В мирах для бытия приемлемых вполне
 Живу, незримый груз пытаюсь передать,
 Неведомо кому шепчу: «Возьмите даром
 Мой праздник и Содом, тоску и благодать,
 Мороку и мороз, граничащий с пожаром»,
 Неужто мой удел — качать колокола
 Во имя слов чудных и нечленораздельных
 Не лучше ли молчать, как глыба, как скала
 О радостях земных и муках беспредельных...
 Вот ветер пробежал по чутким деревьям
 И сладостно внимать их скрипу и качанью...
 О, Боже, научи единственным словам,
 А коль не знаешь как, то научи молчанью.

Июль, 1988 г.

ПУБЛИЦИСТИКА. —————
СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

В этом номере под рубрикой «Публицистика, социология, критика» мы публикуем статьи «Соблазн прогноза» Доры Штурман и «Возрождаться нелегко» Валерия Чалидзе. Применяя различные критерии и подход к анализу событий, происходящих в СССР, авторы в своих оценках приходят к противоположным выводам. Если Дора Штурман не видит у перестройки будущего, то Валерий Чалидзе, напротив, связывает с правлением Горбачева начало возрождения советского общества.



Дора ШТУРМАН

СОБЛАЗН ПРОГНОЗА

Советскому коммунистическому режиму не раз предсказывали близкий крах или, напротив, благотворные изменения. Но, вопреки логике наблюдателей и пользе народов, он не рушится и остается в главных своих чертах неизменным. Его лидеры никогда не выполняли своих обещаний осчастливить подвластные им народы, но всегда умели добиться стабильности строя, который обеспечивал власть их партии. Трудно что бы то ни было предугадать о завтрашнем дне режима с таким военно-репрессивным потенциалом, с такой свободой от моральных ограничений, со столь гипнотизирующим воздействием на окружающий мир, с такими территориальными и природно-сырьевыми ресурсами, как советская коммунистическая партократия. Но и отказаться от размышлений о ее настоящем и будущем невозможно. Этими размышлениями заняты не только те, кто духовно и кровно связан с подвластной советскому режиму страной, но и люди, казалось бы, с нею не связанные.

Слишком велик ее вес в мире, чтобы о ней не думать.

Какие же предположения возникают, когда вглядываешься в ее настоящее?

1

Во второй половине 1980-х г.г. ни один по-настоящему компетентный, честный и независимый консультант не стал бы советовать Горбачеву продолжать борьбу с «недостатками» и «деформациями» социализма, не впадая при этом в капитализм. Какие-то из трех качеств (компетентность, честность, независимость) должны в такого рода консультантах отсутствовать, ибо, обладая одновременно всеми тремя качествами, оставаться приверженцем социализма уже нельзя.

Существует огромная разноязычная, в том числе русская, литература, предсказавшая, объяснившая и продолжающая объяснять со все большей степенью строгости неустранимые пороки социализма. И «утопического», и «научного», и «конструктивного» (он же — «кооперативный»), и «неидеологического», и «реального», и «с человеческим лицом» — в общем, всякого. Горбачев писал в своей книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира», что ЦК КПСС получает много таких материалов, и предлагал их отправителям зря не тратить время («от социализма мы не откажемся»). Аргументацией такого отказа он себя не затрудняет.

В качестве последнего довода в защиту социализма обычно выдвигается утверждение, что советский строй — это не социализм. При этом опять произвольно отбрасываются литература и опыт. А они свидетельствуют, что все доведенные до своего предела государственные реализации социализма с неизбежностью сводятся к одному и тому же. Социализм — это отказ от частной, а также и от свободной групповой собственности на средства производства и от свободного конкурентного рынка. Это

централизация управления экономикой и — как ее следствие — отказ правящей государственной силы от политико-идеологического плюрализма. Оптимизировать такую систему, не устранив ее главных качеств, нельзя.

Трехлетний опыт советской ограниченной «гласности» и легкомысленно допущенной властями либерализации доказывает: за семьдесят лет чередования тотального террора с выборочным от общества не удалось добиться ни единомыслия, ни (с точки зрения властей) благомыслия. Это явление не ново. Гигантский подсоветский анекдотичный фольклор, Самиздат, Тамиздат, эмигрантская литература, предыдущая «оттепель», бесчисленные человеческие судьбы, даже легальная литература и искусство и, наконец, сама безостановочная необходимость в репрессиях и раньше свидетельствовали о том же. Сегодня это очевидней, чем когда бы то ни было.

К великому несчастью, это не значит, что в советском обществе, если его вдруг, разом предоставить самому себе, снять весь гнет, террористические запреты, немедленно расцветет стабильная и благополучная демократия.

Даже сегодняшняя квазисвобода показывает, насколько сильны в этом обществе противоречивые, взаимно враждебные, порой социально опасные настроения и тенденции, как страшны душеповреждающие и деклассирующие последствия истекшего семидесятилетия. Вместе с тем в нем хранятся, присутствуют и развиваются плодотворные движения и благие начала. Многие публикации (прежде всего — в независимых от властей изданиях) отличаются все более четким пониманием положения дел и его истоков, конструктивностью общих политических и экономических установок, высоким нравственным потенциалом. Но просматриваются ли именно среди этих движений силы, способные практически, а не только на словах и в мечтах, стать основой цивилизованного правопорядка, если нынешний рухнет? Напомним, что диссиденты и в

массе своей нынешние оппозиционеры не ставили и не ставят перед собой вопроса о власти. Разумеется, в тоталитарных обстоятельствах борьба за власть «снизу» немыслима: кто успеет для нее организовать прежде, чем ударит топор? Но диссиденты возводили эту невозможность в принцип, нужду — в добродетель. Вынужденный отказ от борьбы за власть всегда трактовался правозащитниками как нравственное достоинство. В большинстве случаев дело обстоит так и сегодня. Во всяком случае, надежды на то, что в случае взрыва положением овладеют либеральные и конструктивные силы, которые не допустят войны всех против всех, разрухи и голода и установят стабильный цивилизованный строй, сейчас еще меньше, чем в марте 1917 года. И вместе с тем, еще долгие годы жить и работать так, как сегодня, страна не может. Так, по крайней мере, видится извне.

А что же думают об этом советские лидеры? Ведь в тоталитарном государстве, как никогда в истории, ход событий определяется и с т и н н о п р а в я щ и м и, со всеми их грозными аппаратами и военными силами. Без их согласия мирно осуществить необходимые перемены нельзя. Поэтому к ним и апеллируют даже самые мужественные из инакомыслящих. Но один из парадоксов социализма состоит в том, что неподдельно улучшить народную экономику, нравственное здоровье общества, экологическую ситуацию и т.п. правящие круги способны только путем постепенной самоликвидации.

Готов ли, по мнению читателя, гигантский социалистический правящий класс, в лице прежде всего вершины своей тройственной иерархии (партия — КГБ — генералитет) сократить свои полномочия до полномочий нормального чиновничества и выборной администрации, ограничить свою численность и привилегии, с чем неизбежно сопряжен отказ от социализма? Скорее всего, не готов. Тем более, что многие ли из его «столпов» будут конкуренто-

способны в условиях демократии? Можно ли ждать, что они поведут к ней общество?

Некоторых обнадеживает тот факт, что с начала «перестройки» верховная риторика пестрит апелляциями к народной, общественной инициативе. Но, во-первых, подобные апелляции характерны для всех советских периодов, включая сталинский. Во-вторых, такого рода призывы в устах коммунистических руководителей всегда имеют один и тот же смысл. Проявление низовой инициативы искони понималось и понимается ими как изобретательность, сообразительность, рвение «низов» в осуществлении очередного верховного курса, в его границах. Историк Н. Эйдельман в своем недавнем интервью «Огоньку» сочувственно и признательно приписал Горбачеву «открытие» (так у Н. Эйдельмана и сказано) нового инструмента мирного усовершенствования системы: «управляемой низовой инициативы». Управляемая свыше квазиинициатива — мечта создателей советского тоталитарного режима с момента его рождения. Советские люди всегда были свободны проявлять энергию и находчивость в том, чего в данный момент желает добиться от них начальство. Пока что ничего в этом смысле не изменилось ни юридически, ни практически. Всеобъемлющий приоритет КПСС оговорен в Конституции СССР. Все не предусмотренные ЦК КПСС маломальски существенные инициативы и сегодня отклоняются властью с нарастающей решимостью.

Приведу пример, казалось бы, совершенно не политический. В Тюмени возникло общественное экологическое движение, появление которого выглядело более чем обоснованным. Экологический баланс области нарушен катастрофически. Ситуация движется к необратимой. Население и природа области несут трагические потери. Между тем принято верховное решение построить в Тюмени огромный химический комбинат, сведя для этого большую площадь и без того убывающих лесов, что расширит и углубит катастрофу.

Заметим попутно, что средняя продолжительность жизни хантов и манси (аборигенов области) составляет для мужчин сорок два года, для женщин — сорок пять лет*. Химических удобрений, которые якобы

* Москва, данные ж-ла «Референдум».

будет производить комбинат, СССР и так выпускает больше, чем США и Западная Европа, вместе взятые. Кто из обитателей и посетителей колхозных сел не видел окаменевших гор удобрений на полустаках и колхозных «складах»? А сожженные и умерщвленные излишком химических удобрений земли? Движение и отчаяние в Тюмени растут, но 4 декабря 1988 года официально объявлено о правительственном решении все-таки комбинат построить. Не потому ли, что любой современный завод по производству химических удобрений можно в кратчайший срок превратить в завод по выпуску взрывчатых веществ? А заводы по изготовлению инсектицидов легко переводятся на производство боевых отравляющих веществ.

Напомним, что волнения в Армянской ССР начались с протестов и просьб экологического характера, тоже во многом связанных с химическими производствами. И по отношению к ним была проявлена такая же неуступчивость и глухота. Где же обещанная предпочтительность по отношению к воле и инициативе «низов»?

Однако, помимо проблем социальной и личной психологии «верхов» и «низов», перестройка ставит и серьезные социально-технологические проблемы. Допустим, что в сознании правящих кругов патриотическая и общечеловеческая мотивация одолеет кастовую и шкурную. Но как перейти к свободному конкурентно-рыночному хозяйству от квазиплановой милитаризованной экономики слепых диктаторов и деклассированных наемников?

Осуществить подобную операцию можно только в спокойной обстановке длительной взаимной лояльности правительства, науки и общества. И как исходное условие успеха требуется искренняя готовность власти к такому сотрудничеству. Только открытое и убедительное заявление верхов о необходимости именно такого перехода, и при этом честная прикидка порядка и сроков реформ позволила бы народам СССР набраться терпения (а терпение необходимо, ибо все это дало бы отдачу не скоро). Может быть, доказательность такой декларации уменьшила бы их скептицизм и усталый цинизм. Ведь оптимизм и простодушие (или привычный конформизм?) некоторой

части интеллигенции (которую наркотизирует либерализация цензуры), разделяют внутри СССР немногие. И даже этих немногих не мог не насторожить проект нового закона о печати, выдвинутый верховными реформаторами в ноябре 1988 года.*

Припомним еще один красноречивый эпизод: громя измену Верховного Совета Эстонской ССР делу социализма и пролетарского интернационализма, Горбачев (конец ноября 1988 г.) особенно негодующе реагировал на решение «эстонских товарищей» допустить частную собственность на средства производства. Он сказал (и был в этом прав), что уничтожение частной собственности — основа основ социализма, и что партия намерена допустить «плюрализм» только социалистических форм собственности. Более того: он заметил, что именно отмена частной собственности позволила возвести «отсталую царскую Россию» на ее нынешний уровень (о котором вот уже три года кричат, что он катастрофически низок и продолжает падать). Начисто перечеркивая свои же недавние высказывания о трагическом «раскрестьянивании» СССР в начале 1930-х годов, о кооперативах, паевых товариществах рабочих, долгосрочной аренде земли и т.п., Горбачев столь по-советски расписывал эстонцам ужасы капитализма и опасность для эстонских трудящихся независимости от СССР, словно эстонцы не помнят хозяйственного и политического опыта своей независимости. Не забыл он попутно предостеречь от «ошибок» и советскую прессу: рабочий класс (так и было сказано) недоволен тем, что литераторы и журналисты выходят за рамки «социалистического плюрализма» и замыкаются в сомнительном, с точки зрения партии направлении.

Не имеет смысла гадать о том, свою ли позицию демонстрирует Горбачев, или он тактически вынужден скры-

* См. магнитофонную запись высказывания по этому поводу акад. А.Д. Сахарова — «Русская мысль» от 11 ноября 1988 г., Париж.

вать до поры до времени «собственное мнение». Д. Гранин в 1956 году («Новый мир» № 8) классически препарировал моральную цену и общественную эффективность такого сокрытия. На мой взгляд, интонации Горбачева, его жесты и мимика, когда на заседании Президиума Верховного Совета в июле 1988 года он громил армян или в ноябре — эстонцев, достаточно убедительно свидетельствовали о его искренности, то есть о том, что он аргументирует свою, а не чью-то позицию.* Но если даже не так? Тогда эта позиция тех, кого он боится, кто решает, чему быть и чему не быть.

За семьдесят лет правителям СССР не раз приходилось признавать наличие жесточайшего кризиса или «предкризисной ситуации». И никогда при этом легально не обсуждалась первопричина этого перманентно критического состояния системы. Каждый раз систему спасало шарханье власти от террора тотального к выборочному, от «потеплений» к «заморозкам» и т.п. При нынешней напряженности противоречий, особенно межнациональных, невозможно предугадать, будет ли спасено положение власти чем бы то ни было. Но, во всяком случае, истерика вокруг злодеяний Сталина и даже героические прорывы к вопросу о том, так ли уж был безупречен Ленин, общественную мысль от рокового вопроса о причинах провала социализма уже не отвлекут. Даже если «Литературной газете» удастся еще безукоризненней, чем в выпуске от 28 сентября 1988 года, доказать, что у Сталина, как и у Ивана Грозного, была клиническая паранойя.

В советской наиболее честной и смелой публицистике сегодня популярна поговорка, гласящая: «Через пропасть можно перескочить только одним прыжком», то есть реформировать социалистическую систему следует сразу. А. Стреляный в качестве обнадеживающего примера такого

* Мы смотрим советские телевизионные программы через спутник связи, с помощью специальных антенн.

прыжка приводит послевоенную Западную Германию, за десять лет после полной разрухи добившуюся чуда экономического процветания.

К сожалению, аналогия эта несостоятельна. Западная Германия была в 1945 году национально однородна (ее не разрывали межнациональные и имперские антагонизмы). От более или менее нормального хозяйственного, общественно-политического и духовного существования ее отделяли преступные годы фашизма, но все-таки их было только двенадцать. Она не была и столь деклассирована, как СССР — за семьдесят. На выходе из нацизма были устранены сами нацисты — вдохновители и организаторы того, что произошло в 1933-1945 г.г. В СССР же коммунисты остаются у власти. А главное — восстановление нормального бытия Западной Германии реализовалось в условиях полной демилитаризации, а также твердого патронажа и колоссальной экономической помощи США, намерения которых не расходились с желаниями их подопечных. Неслучайно А. Стреляный приводит в пример Западную Германию, где демократии-победительницы воспроизвели свой строй, а не Восточную, где коммунисты установили свой.

К сожалению, пропасть, невдалеке от которой находится гигантская машина советской идеократической империи, не перепрыгнуть одним прыжком. Трудно, к тому же, сказать, надо ли пытаться перелететь через пропасть всей громадой империи разом, в ее нынешних противоречиях, или лучше бы до этого изменить формы объединения, а с желающими уйти — и расстаться. Огромной Российской Федерации и без тех, кто не хочет государственного единства с ней, не грозят (при цивилизованных формах существования) провинциализм и упадок. Анекдот из серии «Армянское радио» гласит: «Как России спастись от кризиса?» — «Использовать право наций на самоопределение и выйти из состава СССР». Но вот права-то этого в реальности нет. Во всяком случае, надо всем участникам драмы хотя бы

приостановиться и по-настоящему осмотреться, чтобы найти то ли обходную дорогу, то ли технические средства для перелета через пропасть — «прыжком» ее уже не взять.

И на Западе, и в эмиграции идет спор о том, должен ли Запад сегодня экономически помогать «перестройке». А.Д. Сахаров считает, что должен. Всей силой своего морального авторитета он внушает Западу мысль, что экономическая поддержка Горбачева — это единственный для человечества шанс избежать самоубийственной мировой войны. Позиция А.Д. Сахарова в этом вопросе представляется не более убедительной, чем его доводы против СОИ — американского проекта противоракетной обороны. Зато эти доводы созвучны настроениям существенной части обывателей, интеллектуалов и политиков США и всего свободного мира. Поэтому их резонанс столь могуч. Если надежды, которые Сахаров возлагает на «перестройку» и на Горбачева ошибочны — а он все чаще с горечью говорит о шаткости своих надежд — то камень, который он кладет на весы западной политики, может сработать против человечества (я имею в виду судьбу СОИ).

Что же касается экономической помощи Советскому Союзу в «перестройке», то ведь суть вопроса не в том, оказывать эту помощь или нет. Вопрос в том, при каких условиях она будет полезна народам СССР и Запада, а не только Кремлю. Дело обстоит совсем не так, что, мол, сегодня, в трудную для него минуту, Горбачеву надо предоставить самую щедрую поддержку. Тогда он продержится нужное время, вытащит экономику из беды и, обезоружив своих противников, обретет дальнейшую свободу спасительных действий. При дальнейшем сохранении экспансионистского характера кремлевской политики, при милитаристской ориентированности советской экономики и наращивании военно-репрессивного потенциала никакая и ничья экономическая помощь народам СССР и человечеству ничего не даст. Разве что поможет Кремлю, как и всегда западные подачки и взятки, сохранить и усилить его военный и репрессивный потенциал. Судить

о том, приведет ли это к продлению имперской агонии или к мировому военному катаклизму, я не берусь, но бездонную бочку негодного хозяйственного устройства милостыней и взятками наполнить нельзя. Считать доказательством «новых» внешнеполитических устремлений СССР его уход из Афганистана и обещание сократить (за два года) на пятьсот тысяч солдат пятимиллионную армию было бы, может быть, смешно, если бы это не угрожало миру столькими бедами. Пока что идет энергичнейшая борьба Кремля за моральное разоружение Западной Европы и за развал НАТО. Между тем, в книге о «новом мышлении» и в домашних атаках против национальных движений Горбачев продолжает эксплуатировать партийный миф об «империалистической угрозе» так же цинично, как и его предшественники. А внутри страны расширяются и наделяются чрезвычайными полномочиями внутренние войска и спецназ, которые, возможно, и впитают в себя эти высвобождаемые пятьсот тысяч. Указ о чрезвычайных полномочиях внутренних войск уже введен в действие.

Так, может быть, надо хотя бы поставить перед Кремлем полезные человечеству условия помощи, а иначе не помогать? Ведь военное давление СССР мешает миру решать и его экологические задачи, а в этом смысле едва ли не бьет еще для всей планеты двенадцатый час! Состояние экономики СССР и направление всех процессов в ней таково, что, может быть, завтра Кремлю пришлось бы принять спасительные для мира условия помощи, если бы Запад эти условия решительно ставил. Спор об этом идет с начала 1920-х годов — со времени первых благодеяний Запада, оказанных им коммунистическому режиму: помогать без предварительных условий? Или в обмен на принципиальные уступки? Или вовсе не помогать?..

Но, к несчастью, люди в массе своей слышат лишь то, что хотят услышать. Голосам Солженицына, Киркпатрик, Теллера, Ревеля, Мацкевича и многих других (им же несть числа, живым и уже ушедшим) те, кто решают, — не внем-

лют. Иллюзии же Сахарова могут, повторяю, лечь тяжкой гирей на весы истории потому, что созвучны иллюзиям многих. Кроме того, они подкрепляются нисколько не ослабевшей мощью советской пропаганды и горбачевской саморекламы. К слову: химический комбинат в Тюмени, о котором упомянуто выше, будет строиться с помощью западных кредитов, технологии и оборудования, скорее всего — западногерманских: в ФРГ химию знают, а кредиты уже обещаны.

2

О перспективах сегодняшнего СССР невозможно размышлять, обходя его внутреннюю межнациональную проблематику.

В июле 1988 года на заседании Президиума Верховного Совета, когда Горбачев реагировал на скорбные речи представителей Армении и Нагорного Карабаха с беспрецедентной для него раздражительностью, один из функционеров ЦК сказал, что уступить сейчас требованиям армян — значит вызвать «цепную реакцию» национальных выступлений по всей стране. И он был, несомненно, прав. Но отказ уступить требованиям армян тоже ничего не решил. Цепная реакция нарастания национальных противоречий уже идет, и одной только административной неуступчивостью Кремля ее остановить нельзя.

В начале декабря 1988 года в Азербайджане, Нагорном Карабахе и Армении введен военный режим.* Кто решится утверждать, что интересы сохранения коммунистической империи не потребуют вскоре введения такого же положения в Эстонии? Раскопки Куропатских массовых захоронений вызвали гнев и отчаяние по всей Белоруссии. А Казахстан, Литва, Латвия, Украина (особенно правобережная), Грузия, Якутия, крымско-татарская проблема... Не исключено, что чрезвычайное положение вскоре придется ввести всплошную. Но можно ли добиваться экономического оздоровления огромной страны с военным постом у каждой пекарни и электростанции?

Риторика «пролетарского интернационализма», «братства народов», «социалистического союза наций» стала сегодня одним из мощных раздражающих факторов. Партийная спекуляция речевым штампом «великого русского брата, старшего среди равных», вызывает реакцию, обратную желаемой для тех, кто пускает эту формулу в ход.

* Статья готовилась еще до кровопролитных событий в Грузии (прим. редакции).

Русских опасно для них отождествляют с кремлевским идеократическим режимом. Так же, как русская и нерусская шовинистическая чернь отождествляет евреев с большевизмом, или, напротив, с контрреволюцией, или с идеей мирового господства и т.п.

Когда Горбачев, поучая «эстонских товарищей», назвал русских «основным народом страны, которому все мы обязаны», он оказал этим и русским и себе дурную услугу. Нерусские народы не озабочены тем, что большинство населения РСФСР живет хуже, чем они, что за семьдесят лет коммунистического господства русские понесли нисколько не меньшие потери, чем другие народы СССР. Да и вообще, при том, как раскалена обстановка и как ведет себя центральная власть, на взаимную справедливость народов рассчитывать все труднее. Раздраженная и удрученная тяжестью своей жизни толпа легче поддается темным эмоциям, чем светлым чувствам. А в возбудителях таких эмоций недостатка нет, и кричат они громче, чем их корректные оппоненты.

Конфликты столь напряженные и сложные нельзя разрешить одним благодетельным указом. Тем более, что кроме конфликтов, есть и многообразные живые связи. Но, казалось бы, естественно для мало-мальски здравомыслящего правительства, пусть даже цепляющегося за изживающие себя принципы, хотя бы одинаково относиться ко всем народам, которым оно навязывает свою опеку. Но ведь и этого нет! Невозможно, например, не видеть, что в армяно-азербайджанском конфликте Центр попустительствует азербайджанскому экстремизму самым губительным для армян образом. Армяне, в большинстве своем, не хотят отделения от СССР: им опасно оставаться один на один с агрессивным океаном ислама. Как и многие другие народы нынешнего СССР, они, вероятно, хотели бы равноправной федерации с Россией, при высоком уровне хозяйственного, культурно-религиозного, экологического и административного суверенитета.

Со времени первых своих отчаянных писем в Москву по экологическим вопросам, а затем — о Нагорном Карабахе армяне долго вели себя с предельной сдержанностью и миролюбием. Но кровавое побоище в Сумгаите, учиненное с ведома, по крайней мере, азербайджанских республиканских властей, было уравнено советским официозом с армянскими мирными петициями, демонстрациями, забастовками и прочими вполне легальными действиями.

В конце ноября — начале декабря 1988 года в Азербайджане поднялся новый вал армянских погромов (нередко — под зелеными флагами газавата-джихада, с портретами Хомейни в руках погромщиков). В западной прессе мелькнуло сообщение, что в Азербайджан прислали для наведения порядка войска преимущественно мусульманского состава, которые не стреляют в единоверцев, что бы те ни творили. По мнению некоторых комментаторов, представляется вероятным, что армяне сознательно приносятся в жертву взаимоотношениям Кремля с исламским миром, планам и страхам Москвы, связанным с этими отношениями. А может быть, это просто потворство стороне, отстаивающей *status quo* в вопросе о судьбе Нагорного Карабаха, а не стороне, требующей его нарушения. Не из того же ли страха создать прецедент перемен крымским татарам не дают вернуться в Крым? Кремль боится — и не без оснований, — что любой сдвиг в национально-территориальных отношениях перерастет в обвал.

Армяне апеллируют к свободному миру, но он не торопится их спасать. На Западе скорее сочувствуют Горбачеву: что, мол, ему, бедному делать? Надо сдерживать центробежные силы. Ведь иначе начнется пресловутая цепная реакция. И тогда конец «перестройке»!

Но не может ли быть, что межнациональную катастрофу могла бы отодвинуть, а затем и предотвратить честная и откровенная декларация правящих об истинном положении дел. И вместе с тем конструктивная программа их улучшения? Не уменьшило бы напряженности признание Кремлем того факта, что так же, как не оправдал себя опыт огосударствления экономики, так оказался неприемлемым для народов СССР и имперско-идеократический принцип их объединения? Может быть, обстановку разрядило бы создание нефиктивного и полномочного представительства всех народов для изучения конфликтов и выработки путей их разрешения? Но разрешения, не исключающего возможности выхода из состава СССР, и действительного суверенитета участников федерации. Ведь существование

действительно свободного союза без реального права выхода из него невозможно. Может быть, на почве такой работы, немедленно начатой, конструктивные элементы наций могли бы без особых эксцессов стабилизировать положение? А затем его изменить по воле народов, без их верховного или взаимного ущемления?

Но что-то не ощущается такого разворота событий. Пока что делятся насилие и демагогия, и все наши мало-мальски оптимистические «может быть» остаются беспочвенной утопией.

3

Тоталитаризм ужасен не только сам по себе. Он ужасен еще и тем, что из окостеневшей тоталитарной ситуации нет легкого и быстрого выхода. Тоталитарные экономические отношения не допускают развития в своих границах более рациональных хозяйственных форм. Тоталитарный правящий класс не терпит развития в подвластном ему обществе более дееспособных сил и структур. Пресечение эволюции и вымораживание всего способного ее оживить, умерщвление в людях всего, кроме исполнительности, — вот идеал тоталитаризма. И не его вина, что он не может этого идеала достичь. В такой динамической, бесконечно многообразной и непредсказуемой системе, как большое сообщество живых людей, подчинить себе все можно только в романе — антиутопии, но не в реальности. Но эволюционировать мирно в нечто себе не тождественное такая система без согласия власти не может, как не может и длить свою экспансию-деградацию вечно. А взрыв принесет ужасающие последствия.

Горбачеву или тем, кого он вынужден «пока что» остерегаться, внятна ли эта перспектива? До сих пор (1918-1988) в Советском Союзе все действия правящих, независимо от их субъективных и объективных обоснований, диктовались задачей сначала завоевать, а затем сохранить власть.

Пусть нам доказывают с любой степенью убедительности, что Ленин хотел сохранить монопартократическую систему, а Сталин — власть. Суть в том, что такого рода систему, в принципе неспособную выполнить свои обязательства перед народом, иначе как с помощью такой власти, тотально насилующей и лгущей, сохранить нельзя. До сих пор «прижимали», чтобы сохранить эту систему и «приотпускали», чтобы сохранить власть-систему. Циклы повторялись несколько раз. Но беговая дорожка, по которой, как лошадь на корде, семьдесят лет коммунисты гоняют народы ССР, не круг, а спираль. И спираль эта ведет не вверх, а вниз, в преисподнюю.

Чего хочет в действительности Горбачев?

Очередной раз «сделать «веревку» более свободной, не разрывая ее, отпустить «полегче» изнемогающее, теряющее терпение общество?» Или помочь ему сойти со смертельной спирали — не в пропасть, а в нормальную жизнь?

Боюсь, что первое предположение вероятней. Тем более, что для реализации второго необходим не один (допустим даже, и прозревший, и не вполне одинокий) лидер, а, как уже было сказано, единство воли правящих сил всех трех решающих иерархий (партия — КГБ — армия). Большинство наблюдателей считают, что такого единства нет. Палиативное «приотпускание» на «более свободной веревке» в наши дни существенно отличается от дней предыдущих, скажем, периода нэпа. В 1921 году еще физически и духовно существовало крестьянство со всеми его традициями, навыками, критериями, целями. Его надо было только оставить в покое, разжать душащую руку. Перед лицом всенародного восстания и полной хозяйственной разрухи на это решились. После 1953 года одна только замена тотального террора эпизодически-выборочным и некоторое облегчение жизни деревни возродили надежду

* Ленин В.И. «План речи о замене разверстки налогом» (1921 г.) ПСС. т.43, стр.392. Разрядка Ленина.

и обусловили временную ремиссию экстенсивной социалистической экономики.

Сегодня крестьянства нет, резервы экстенсивного экономического развития близятся к исчерпанию, а второй информационный бум скачкообразно повысил в обществе осведомленность о положении дел. Невозможно избавиться от впечатления, что уже надолго не отсрочит кризиса ни очередное «приотпускание» на «более свободной» веревке, ни новая волна террора. А террор неизбежен, если власть не решится позволить народам СССР покинуть их нынешний путь в тупик. Ближайшие годы, а может быть, даже и месяцы покажут, разумно ли хоть сколько-нибудь надеяться на это «если».

А. И. РУБИН

ФИЛОСОФСКИЙ ДНЕВНИК. КАНТ И МАРКС.

Издательство «Кахоль-Лаван», Иерусалим, 1988

160 стр. Цена — 5 долларов с пересылкой.

Автор (1888 - 1961) был философом и большим знатоком русской литературы, однако работы его не могли быть напечатаны в Советском Союзе, поскольку его взгляды не укладывались в рамки советской идеологии.

В книге опубликованы философские размышления, найденные после смерти автора в его дневнике. Статья «Кант и Маркс» была напечатана в Израиле в переводе на иврит в 1971 году.

Заказы направлять по адресу:

I.Rubin, Gilo 62/15. Jerusalem 93756. Israel.



Валерий ЧАЛИДЗЕ

ВОЗРОЖДАТЬСЯ НЕ ЛЕГКО

Президент Рэйган сыграл со мной забавную шутку. Всю жизнь я был в оппозиции к правительствам. Сначала в СССР, а потом по разным причинам и в Америке. И вот в Белый дом пришел человек, призывающий обуздать вмешательство правительства в дела страны, сократить число и объем федеральных программ и, в конечном счете, предлагающий уменьшить объем его собственной власти. Конечно мне это понравилось! Правда, ему не удалось сделать достаточно, демократический Конгресс сопротивлялся отчаянно — те, кто объявляет себя защитниками народных интересов, почему-то хотят более сильного правительства. Так или иначе, я испытал что значит не быть в оппозиции, хотя раньше всегда считал, что это — дурной тон.

На многих примерах можно видеть, что обычно и политики и бюрократы всегда хотят увеличить объем своей власти, поднять значение и силу своей должности. Поэ-

тому интересно и похвально, когда лидер не следует этой традиционной линии поведения.

Казалось бы, меньше всего от России можно было ждать, что там найдется такой лидер. Между тем, Горбачев пытается ограничить вмешательство своей партии в дела страны. Получится ли это — неясно, слишком уж эта партия привыкла контролировать всю жизнь общества, не просто будет отучить ее от этого.

Мне скажут, что ограничивая партийный контроль в делах хозяйственных и культурных, сам Горбачев отнюдь не стремится к меньшей власти. Он стал главой государства и, по-видимому, не планирует оставить этот пост. Но это, я думаю, скорее характеризует ситуацию, чем его личное стремление к расширению власти. Если Горбачев хочет, чтобы партия поделила власть с народом, вполне естественно, что он будет перекладывать принадлежащую ему власть из правой руки в левую, сохраняя контроль за происходящим процессом. Это и разумно, ибо обеспечивает постепенность процесса и меньше пугает охочих до власти партийных бюрократов.

С этим же связан план совмещения должностей партийных секретарей и председателей советов. Не исключено, что этот план родился как уступка консерваторам. Сам я люблю принципиальность и постоянство позиции, но ругать политика за стабилизирующую уступку не стану, тем более, если политик находится в таком сложном положении. Общество должно умиротворяться посредством компромиссов и сделок, России еще предстоит научиться этому искусству.

Есть много людей и в СССР, и на Западе, не видящих в Горбачеве лидера, желающего перемен или способного что-то изменить. Для меня несомненно, что это несправедливая оценка, хотя бы потому, что его желание изменить страну уже принесло плоды. Многие люди в России теперь по-иному воспринимают себя и свою роль в делах общества. Еще нет демократии, еще нет настоящего гражданско-

го достоинства в людях, но что-то уже изменилось, уже не легко будет загнать людей обратно в безответное рабство. Или мне это снится, потому что я давно хотел такой перемены? Ведь есть же другое толкование событий. Говорят, одна мафия борется с другой, используя симуляцию массовой поддержки. Говорят, власть спасает кризисную экономику, обманывая народ призраком народовластия. Или еще: все это делается, чтобы обмануть Запад, выманить передышку и помощь.

В основе такого мрачного скептицизма — неверие во внутренний потенциал развития советской системы. Неверие, в общем, необоснованное, ибо советская система менялась все время, хотя сравнительное постоянство фразеологии многих может вводить в заблуждение. Изменения особенно заметны, если сравнить теперешнюю ситуацию или даже ситуацию до перестройки со сталинским временем. Всего за 30 лет в стране произошла невероятная либерализация. Народ не научился высказывать свое мнение, но прекрасно научился отвергать мнение, навязываемое ему властями, научился сопротивляться давлению. Интеллигенция, включая правозащитников, немало поработала над выработкой альтернативных путей развития общества. Теперь пришло время использовать и этот интеллектуальный потенциал, и способность народа иметь свое мнение. Это не удастся без борьбы, терпения и отступлений, но тем ценнее будут результаты. Ибо свобода, данная декретом, все равно не станет частью жизни общества, если общество для нее не созрело. Борьба за свободу — это одновременно процесс созревания, так что завоевания будут прочнее, необратимее.

Нельзя, конечно, трудности этого процесса сводить к тому, что не все созрели для свободы. Есть много мировоззренческих проблем. Вот, например, вопрос об объеме власти лидера, о чем я уже упомянул. Это — вопрос о степени централизации управления. Можно быть большим свободолобцем и не понимать несовместимость современ-

ного, необычайно сложного общественного уклада и жесткой централизации, даже если централизация не будет ограничивать фундаментальных прав человека. Централизация может быть успешна и полезна в обществе с примитивными социальными связями. Чем сложнее общественные отношения, тем труднее их централизованно регулировать. Поэтому усложнение социальных отношений с ростом цивилизации и развитием хозяйства приводило и будет приводить к кризисам. Ибо, если власть имущие не хотят отказаться от сильной централизации, их деятельность автоматически, даже без понимания этого, направляется на упрощение общественных отношений, на унификацию процессов в обществе, на противостояние растущему многообразию.

Советский Союз теперь стоит перед выбором: многообразие и саморегулирование общества или унификация и централизация. Горбачев и многие его коллеги, по-видимому, это понимают, но они встретили весьма сильную оппозицию. Есть очень много людей в СССР, которые просто боятся многообразия и не верят в возможность саморегуляции общества. Они утрачены лавиной быстротой общественного раскрепощения и озабочены поддержанием в стране хоть какой-то стабильности. Совсем не следует всех этих людей ругать за глупость и трусость. Они действуют в пределах своего, ранее познанного мира. Мир был другим, когда они учились его понимать. Этот их мир был простым, централизованным и, если угодно, стройным. Этические оценки им теперь не важны. Если порядок в мире достигался Сталиным и репрессиями, они оправдают и Сталина и репрессии. Жертвоприношения кажутся им приемлемыми, если они сохраняют мир от землетрясения.

Поэтому к оценке теперешних сталинистов надо подходить с большой осторожностью, я бы сказал, даже с пониманием. Совсем не достаточно разгромить такого неосталиниста в прессе, хотя гнев критиков вполне оправдан. Надо помнить при этом, что дело не в любви к

Сталину или колючей проволоке, помнить, что теперешний сталинизм — это неизбежное сопротивление людей, чей стройный мир кто-то хочет разрушить во имя пугающего и еще неизведанного многообразия. Сталин как символ этого стройного и простого мира оказался здесь случайно: знаменем этого уходящего мира может быть кто угодно или что угодно. В известной мере можно рассматривать антисемитизм и крайний национализм как символы того же рода. Это очень старый конфликт. Россия сопротивляется многообразию не в первый раз. Запад, интеллигенция и евреи как носители идей многообразия были не меньшими врагами «сталинистов» 19 века, чем теперешних. Тогда казалось, что многообразие побеждает. Процесс шел медленно, усложнение социальных отношений вращалось в ранее стройный мир, постепенно преобразуя сознание новых поколений. Но как мы знаем, выиграла все же сторонники унификации и централизации. Для моего рассмотрения теперь неважно, какого цвета они были. Среди почти любых политических течений можно видеть и тех, кто хочет упростить мир, и тех кто принимает его самоусложнение, а лозунги могут быть любого сорта.

Централизованная власть оказывается в трудном положении, когда в обществе обостряется борьба сторонников централизации и саморегуляции, если при этом власть более или менее на стороне последних. В такой ситуации оказался теперь Горбачев. Желание власти снизить свою роль, расчистить место для действия в обществе саморегулирующих механизмов оказывается в конфликте с надеждой той же власти сохранить контроль за этой борьбой. Это должно почти с неизбежностью приводить к кажущимся противоречиям в поведении власти, как оно и происходит в Советском Союзе. За призывами к демократизации следует административный окрик, за восхвалением роли кооперации — декрет о большем контроле. Эти окрики и ограничения можно критиковать, на то и существует общественное мнение. Но надо понимать неизбеж-

ность таких противоречивых шагов, хотя легче всего объяснить их маневрами противников перестройки.

Я как-то пошутил, что если бы Лигачева не было, его надо было выдумать. Поясню эту мысль. СССР переходит к новому типу руководства делами общества, к динамическому руководству, в отличие от статического, характерного для стройного и унифицированного мира. Это означает отход от списка раз и навсегда данных разрешений и запрещений. Теперь провозглашен принцип «разрешено все, что не запрещено законом». Переход к практическому осуществлению этого принципа будет неизбежно болезненным, потому что власти наперед не знают всего, что надо запретить, а люди наперед не знают, что они придумают завтра, выбрав из обширного множества незапрещенных деяний. Значит, люди и власти должны заново притереться друг к другу, а это может потребовать изрядного времени. Власти будут поощрять общество двигаться в новых, непривычных направлениях, но время от времени будет слышен окрик: «А туда не ходи!» Кому этот окрик не понравится, начнут критиковать такие запреты, и от силы критики будет зависеть, отступят власти или нет. Это динамический метод руководства, это руководство с обратной связью. В то же время — это метод властвовать, допуская саморегулирование общества.

В условиях такой взаимной притирки власти и общества людям утешительно думать, что окрики исходят не от лидера, который начал разрешать, им удобно вину за эти окрики сваливать на кого-то другого. Эта роль выпала Лигачеву, что и поясняет смысл моей шутки. (Замечу, что истинной роли Лигачева в перестройке я не знаю. Власти по-прежнему держат в секрете детали личной позиции лидеров — традиция, идущая от старого стройного мира, в котором должно было царить единство.)

А вот про Ельцина я бы так не пошутил. Дело в том, что Ельцина ни в какой ситуации выдумывать не пришлось бы. Ельцын есть всегда. Что бы ни делалось в обществе, все-

гда найдется человек торопящийся, уверенный, что можно все сделать быстрее и проще. Это не критика в адрес Ельцина, напротив, роль таких людей в обществе необычайно важна, и безразлично, насколько глубоко продуманы их теоретические схемы. Важно то, что они подгоняют и будоражат общество.

С вопросом о людях торопящихся связано другое противоречие в положении Горбачева. Дело не в том, как быстро перестраиваться, Горбачев сам дело специально не затягивает, это ему и не выгодно. Дело в том, какими методами проводить перестройку, ибо каждый метод имеет свой предел скорости. Похоже, что Горбачев выбирает методы, в известной мере демократические, я бы сказал, гуманные, ибо он старается дать людям возможность оглядеться вокруг после каждого шага. И похоже, что при таком подходе он достиг предела скорости преобразований. Торопящие требуют большего, но это означает выход за предел скорости, определенный выбранным подходом. Это означает требование осуществлять перестройку в большей степени методами административными, диктаторскими. И тут возникает вопрос о возможном кризисе жанра: можно ли демократию насадить диктаторской рукой? Ответа на этот вопрос я не знаю, но, как и Горбачев, подозреваю, что нельзя. Надо помнить, что перестройка оценена будет историей не только по результатам демократических преобразований, но и по тому, научился ли народ в процессе этих преобразований пользоваться созданными демократическими институтами.

Да, возрождаться нелегко. У многих и в СССР, и на Западе есть чувство, что ничего не выйдет. Неудачи и отступления поддерживают это мрачное предчувствие. И конечно, обоснованный прогноз просто невозможен. Теоретически все зависит от соотношения общественных тенденций: успело ли стать достаточно мощным стремление к многообразию? Достаточно ли ослаблена любовь к старому стройному миру унификации? По многим признакам можно судить, что в СССР довольно много активных людей,

на которых перестройка может опереться. Но и активные сторонники унификации сохранились тоже, хотя они себя не так уж афишируют. Сидя тихо, они могут сделать больше для защиты милого им стройного мира. Так что для оценки соотношения сил недостаточно данных.

Но мы знаем, что многообразие исподволь развивалось, и несмотря на запреты, вращалось в общество, противясь унификации. Это проявлялось не только среди интеллигенции. Вторая экономика, услугами которой пользовалось почти все население, — одно из свидетельств. Назову и возросший интерес к Западу, и рок-н-ролл, и стремление получше одеться. Все это элементы мирного сопротивления унификации. Поэтому можно думать, что тенденция к многообразию достаточно сильна.

Напомню в заключение, что противопоставление «унификация — многообразие» и, соответственно, «централизация — саморегулирование» при всей теоретической пользе может оказаться слишком идеализированным применительно к оценке практической политики за короткий промежуток времени. Легко судить, какая тенденция взяла верх, оценивая ход истории за полвека. Но пять-десять лет могут и не выявить четкой картины. Дело в том, что на практике возможно развитие смешанного характера, например, развитие многообразия при попытке сохранить или даже усилить централизацию. Или стремление соединить унификацию с надеждой на некоторое развитие саморегулирования. Такая эклектика в целях может проявляться в развитии отдельных сторон общественной жизни. Причиной тому не только мешанина в голове реформаторов (а мешанина неизбежна при низком уровне развития общественного сознания в мире и еще более низком — в СССР). Причиной могут быть также отступления и компромиссы в отношении интересов отдельных групп населения, равно как и отдельных сторон общественного развития.

Перепечатка этой статьи в СССР и Восточной Европе разрешена.

Елена ГЕССЕН

СИНДРОМ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА

В далеком детстве мое неокрепшее воображение поразило рассказ домработницы Зины, гораздо лучше, чем ЦСУ, разбиравшейся в причинах неудач, терзавших измученное сельское хозяйство страны. Ей, Зине, доподлинно было известно, что всему виной — колорадский жук, зловредно завезенный в СССР американцами с целью извести не одну лишь картошку, но и саму советскую власть вкупе со всем народом.

Рассуждения нашей Зины, кончившей у себя в селе четыре класса, живо припомнились, когда читала я беседу писателя Ивана Шевцова (автора незабвенной «Тли») с командующим Всесоюзной военнизированной-спортивной игрой «Зарница», маршалом авиации И. Пстыго. Уже сам заголовок беседы «Воспитать патриота», а также и то, что она публикуется в «Молодой гвардии», свидетельствуют, что собеседников занимают проблемы молодежи.

С ними, с этими проблемами, и в самом деле все не просто. «Легко ли быть молодым?» — так назывался сделанный года три назад фильм Рижской киностудии — первая попытка эскиза к правдивому портрету советской молодежи. Портрет получался пестрый и не слишком радующий глаз. Последовавшие затем эскизы картины не исправили. Самые популярные фильмы последних лет: «Соблазн», «Маленькая Вера», «Дорогая Елена Сергеевна» буквально вопиют о трудностях шестнадцати-восемнадцатилетних.

Героиня «Соблазна», десятиклассница Женя, вынуждена выдавать себя за дочь высокопоставленных родителей — чтобы войти в элитарную среду, где дети собирают на подарок ко дню рождения по 25 рэ, а если денег нет — без особых проблем подрабатывают проституцией; где девочки жестоко избивают вчерашнюю подружку не за то даже, что отняла мальчика, но за то, что обманула, выдав себя за их ровню.

В «Маленькой Вере» ситуация, казалось бы, обратная, но по сути очень схожая: само желание героини высунуться, нарушить неписанные законы советской жизни вызывает звериную ненависть.

В «Дорогой Елене Сергеевне» десятиклассники приходят к учительнице с букетом цветов — якобы поздравить с днем рождения, а на деле выудить ключ от сейфа с экзаменационными работами. Ради ключа они готовы на все, и до чего же смешными и как бы даже не существующими кажутся им те нравственные преграды, которые не может переступить их учительница, бывшая «шестидесятница», сохранившая элементарную порядочность и атавистическую — на их взгляд — верность идеалам юности.

Речь идет о кино, потому что в своем стремлении запечатлеть портрет этого поколения, разобраться в его бедах оно сильно опережает литературу. Можно выдвигать по этому поводу различные гипотезы. Можно, например, предположить, что жупел публицистичности, за которую

вечно достается литераторам, меньше пугает киношников. Или, например, что стилистические поиски, некий советский неореализм, в общем уже пройденный литературой, сегодня оказался под стать кино. Как бы то ни было, киношники дали фору литераторам, и тех и других сильно опередила публицистика.

Чисто фактологическая сторона беседы писателя и маршала ничего нового собой не представляет. Оба они дружно обрушиваются на современную молодежь за ее увлечение «примитивной рок-музыкой», оба усматривают в этом страшную опасность, которую провидел еще — кто бы вы думали? — Платон, сказавший: «Никто не должен петь либо плясать несообразно со священными общенародными песнями... Этого надо остерегаться больше, чем нарушений любого другого закона». Цитату эту приводит Шевцов — очевидно как более образованный: писатель как-никак! — и на долю маршала остаются восторги: «Метко, в самую точку!» — и сокрушенное: «А мы транслируем, рекламируем, прививаем молодежи дурной вкус». Не следует принимать это маршальское «мы» за чистую монету: это, как говорится, всего лишь аллегория. Ибо задача беседы, главный ее смысл — не просто зафиксировать неблагополучие с молодежью, любительницей рок-музыки, но и вскрыть истоки этого явления. Этим-то она и интересна. Тут оба собеседника решительно берут быка за рога. Оказывается, вовсе не по недомыслию звучит по советскому радио и телевидению рок — это часть «идеологической борьбы, она, эта борьба, не прекращается ни на час, ее, не покладая рук, ведут пасквилянты, эмигрировавшие на Запад, чтобы с того берега продолжать разрушать наш строй — в лице, скажем «Аксенова и К°». Оказывается также, что теоретические основы заложены американским советологом Р. Темпестом, который писал: «Идеологические стены советского государства, возможно, легче сокрушить с помощью пиццерий и поп-музыки, чем это могут сделать сионизм и Солженицын». (Очевидно, за не-

достатком образования, наши собеседники не сообразили, что фамилия Темпест в переводе означает «буря», и потому не смогли сыграть на этом, упустив массу возможностей, вроде «бури в стакане воды» или «посеявший ветер пожнет бурю».)

Впрочем, намеков на бури и разного рода ветры в беседе и без того хватает. Да и не только намеков, но и вполне прямых высказываний. Так, посетовав на нынешних юнцов, прожигающих жизнь во всевозможных молодежных кафе и барах, повозмущавшись дискотеками, этими «гнездами пьянства, наркомании, проституции», маршал Пстыго прямо спрашивает: «Иван Михайлович, как писатель в чем вы видите источники болезнетворного вируса, проникшего в молодежную среду нашего общества?», на что Шевцов не менее прямо отвечает: «Вы же сами сказали: занесен западными ветрами».

Ну, а где западные ветра, там, само собой, и сионизм, и, видимо, не слишком дальновидно поступает советолог Р. Темпест, сбрасывающий со счетов его роль. Нет, до благодушного отношения к сионизму еще очень и очень далеко. Они ведь, сионисты, маскируются под простых евреев, а сами... Как проникновенно рассуждает закаленный борец с этим явлением Шевцов (у которого, как помните, в романе «Тля» сионисты окопались в журнале «Юность», используя в качестве отбивки шестиконечные звездочки): «Существует еврейский национализм, который подчас смыкается с сионизмом. Есть такие неформальные еврейские объединения, как «Землячество израильских граждан в СССР», «Ассоциация бывших узников Сиона» и другие, подобные этим... Антисоветские спецслужбы, действующие на Западе, укомплектованы в основном просионистски настроенными бывшими советскими гражданами».

Несть числа тайным проискам сионистов: вот, например, недавно им удалось одержать очередную победу — с помпой отмечали столетие Марка Шагала. А ведь дело даже не в том, что Шагал небольшой художник, главное, что

он не скрывал своей неприязни к советской власти. И хоть его картины гнусный пасквиль на нашу страну, но некоторые (одураченные либо подкупленные сионистами) навязывают его нам в качестве духовного наставника.

На счету у сионистов и деяния посерьезнее: они пытаются дискредитировать истинных русских патриотов, обвиняя в экстремизме не только членов общества «Память» — это уже дело привычное! — но и таких замечательных русских патриотов, как люберецкие ребята, «люберы», которых маршал Пстыго приводит как пример идейно убежденной молодежи, трогательно описывая будни этих питомцев Люберецких ПТУ: «дельные парни — будущие рабочие, интеллигенты... свободное время проводят в спортзалах, в читальных залах, подчеркнуто не курят, не пьют... здоровые нравственно, сильные физически ребята...»

Тот, кто помнит хотя бы запечатленных в документальном фильме американского телевидения «Семь дней в мае» «люберов» (сам вид и высказывания которых немедленно воскрешают в памяти «гитлерюгенд»), вряд ли поверит в эту идиллическую картинку, нарисованную нашим маршалом. Сионисты, судя по всему, тоже не верят, ибо с целью извести истинных патриотов, настаивают на борьбе с «люберами», учиняющими в Москве всяческие безобразия, и кощунственно предлагают привлечь для этого «Зарницу». Последнее, разумеется, вызывает возмущение маршала Пстыго: «Этот номер у них не пройдет! Не удастся им бросить в дело замечательный резерв идеологических бойцов-патриотов, которых мы еще не в полную меру используем в целях воспитания молодого поколения и в числе которых воины-интернационалисты, получившие закалку в Афганистане». (Попутно отметим замечательную дефиницию патриота, данную маршалом: «патриот считает своим интернациональным долгом оказать помощь другому народу, попавшему в беду». И это говорится отнюдь не в 79-м году...)

На фоне широких нынче в советской прессе дискуссий,

где часто сталкиваются противоборствующие взгляды, беседа Пстыго и Шевцова прямо-таки подкупает полным ладом и согласием между партнерами. Даже в литературных привязанностях они обнаруживают трогательное совпадение: и в поэзии им близки те, у кого в творчестве ярко выражена тема патриотизма. И на первом месте тут, конечно, стоит ныне покойный Василий Федоров. А из живущих — Станислав Куняев, Феликс Чуев, Владимир Фирсов. Последнего Шевцов проникновенно цитирует — уж очень к случаю! — изобличая коварные планы сионистов.

Им важно, чтоб дети России
О прошлом своем позабыли,
Чтоб лихо сыны комиссаров,
Не помня отцовских заветов,
Под музыку вражью плясали,
Свою забывая при этом.
Чтоб мы забывали, к примеру,
О том, чем когда-то гордились,
Чтоб циники и малoverы
По вражьим рецептам плодились.

«Плодятся! — уныло откликается Пстыго. — Дискотеки, рок — это и есть те рецепты».

Интересно отметить, что эти же рецепты обсуждаются и в романе Василия Белова «Все впереди», ставшем в определенных кругах этакой лакмусовой бумажкой на идеологическую выдержанность и нравственное здоровье. Нравится тебе роман — наш человек, патриот; не нравится — конъюнктурщик, антипатриот, почти что враг народа. Так вот, главный герой Белова делится своими откровениями насчет вражеской программы извести Россию без всякой войны: «чтобы уничтожить какой-нибудь народ, вовсе не обязательно забрасывать его водородными бомбами. Достаточно поссорить детей с родителями, женщин противопоставить мужчинам — и готово дело! Можно спокойно сидеть да подсчитывать, сколько русских останется к двухтысячному году».

Но если герои Белова обсуждают лишь теоретическую часть плана, то в «Судном дне» Виктора Иванова показано, как этот план воплощается в жизнь. Шпионская премудрость, которую постигает отпрыск русских эмигрантов первой волны Ефим Байкалов, сводится к тому, чтобы «не силой оружия, но силой внутренних раздоров, недовольства собственным строем, а также экономической слабостью поработить их» (то есть советских людей). Перед заброской в СССР Ефиму внушают: «задачи сейчас — стрелять в душу, развращать ее, опустошать...»

Свое шпионское образование он получает в глубоко засекреченном русском центре в Калифорнии, его любимыми учителями были профессор истории КПСС Авторов и автор книги «Теория организации и ведения психологической войны против СССР» Туркулов. В беседах между этими двумя вражескими персонажами и излагаются основные постулаты антисоветской психологической войны. Туркулова не интересуют военные заводы — «пусть строят, скорей задохнутся» — для него важнее душа человеческая. «Не гены, но окружающая среда служит доминантой в определении мировоззрения гражданина. Изменить ее так, чтобы формировалась нужная нам душа человеческая — вот наша задача». Для этой цели надобно «вселиться к ним, проникнуть в редакции, в кино, радио, телевидение, народный суд, прокуратуру, милицию, учебные заведения... Просочиться и во все иные государственные органы. Слушать, о чем говорят в поликлиниках, на вокзалах, в портах, торговых центрах — вплоть до последнего киоска... Мы начинаем ломать их порядки, создавать толкучку, неразбериху, насаждать национальную рознь, неприязнь... Вбить клин — наша задача. И одновременно мы обрушиваемся на первоосновную ячейку государства — семью — и разрушаем ее... Крепкая семья там, где властвует мужчина. Едва женщина придет к власти в семье — семья развалится. Влияем на общественное мнение и возвышаем женщину так, чтобы она чувствовала себя победи-

тельницей в борьбе за равноправие с мужчиной. На этой почве начнется полоса разводов... Отец устраняется от воспитания и начинает пить. У него появляются собутыльники из числа семейных. Отсюда — новая полоса разводов. Появляются алкоголики, разрастается сеть наркологических лечебниц, где убиваются жизненно-важные силы человека. Он уходит со сцены. Война нет». А женщины, в свою очередь, подают пример подругам, и те тоже разводятся, «а там их дочери займутся проституцией, ха-ха-ха, и сами матери, не святые же они...»

По правилам хорошего тона, тут следовало бы попросить у читателя прощения за длинную цитату, но уж очень трудно остановиться — произведение Виктора Иванова настолько замечательно, что хочется довести основные его идеи до каждого. Замечу, кстати, что в мою задачу не входит его критический анализ: книга Виктора Иванова лежит за пределами литературы и воспринимать ее как произведение художественное просто невозможно — хоть жанр и обозначен как роман.

Напечатанный «Нашим современником», «Судный день» заслуженно получил звание «худшей книги года», а журнал «Огонек», учитывая все ее достоинства, поместил ее сразу вслед за «Тлей» Шевцова. Так что речь может идти лишь об идейном содержании «Судного дня», но оно-то представляет интерес незаурядный.

Автор раскрывает нам сложную механику психологической войны против СССР: вот, например, диссидентское движение как одна из составных ее частей. «Наши люди затеют диссидентскую кампанию на весь Союз, то есть отыщут два-три десятка людей якобы неблагонадежных, организуют их контакты с энтээсовцами за пределами СССР, организуют связи с заключенными внутри СССР, станут оказывать им денежные пособия, образуют для них какой-то заграничный фонд, во главу угла поставят лозунг о свободе личности». Но это все — «укус комара», завеса, призванная маскировать истинные форпосты психологической войны.

Не сегодня и не вчера началась эта необъявленная война, она тянется уже десятилетия. И вот перо автора решительно ведет нас к истокам, в двадцатые годы, когда в центре густонаселенной Европы... образовалось своеобразное государство — «русский Париж», «кипящий бурными страстями центр русской эмиграции». Причем не само собой образовалось, автор дает нам понять, что за этим таился замысел. Какой же тайный разум, глядя далеко вперед, все это наметил и организовал? Какая цель преследовалась? По мнению генерала Туркулова, отца нынешнего апологета психологической войны, эмигрировавшего на Запад, «какой-то высший круг лиц, круг, который имеет невероятную власть в мире и не меньшую силу, заинтересован был собрать в этом «котле» русскую эмиграцию». Однако пока что генерал не понимает цели всего этого сложного предприятия. Ничего, поймет в свое время. Когда совсем уже Туркуловы дошли до ручки — вместе с прочими жителями русского Парижа подбирали отбросы на базаре, а генералу пришлось выполнять крестьянскую работу, и его дворянская кровь негодовала — его однажды окликнул на улице «твердый старческий голос». Обернувшись, он увидел старичка, «с черной козьей бородкой. Узкий лоб прикрывала шляпа. Темные массивные очки.

— Генерал! — веско сказал незнакомец, и голос его заметно потяжелел. Он снял очки. Глаза у него большие, черные, слегка выпуклые. Он прищурил их. — Вам надлежит следовать за мной. И никаких вопросов не задавать».

Генерал сразу догадался, что это «один из тех всемогущих, от кого придет избавление». И пришло: приняли его в «братство вольных каменщиков», ввели сразу в ложу тринадцатой степени.

Вскоре о базаре и отбросах было забыто. Туркуловы переехали в особняк, стали задавать балы, появились коньяки, вина. А генерал организовал «Общество по изучению современного состояния России», средства на которое поступали тайным образом. Нет, нет, даже не из иност-

ранных разведок — наоборот, работа на эти разведки являлась лишь ширмой для сокрытия истинного источника финансирования.

В своем дневнике генерал записывал: «Масонство — сила не эфемерная, оно опутывает весь мир... Больше всего переняли у иудеев со времен Соломоновых...»

Сын его, Александр Туркулов, тоже ведет дневник и тоже пытается проникнуть в тайну сообщества. Вот он, например, конспектирует «любопытную книженцию», из конспекта ее явствует, что это не что иное, как «Протоколы сионских мудрецов». Изучив всю эту премудрость, младший Туркулов приступил к труду всей своей жизни, «Теории организации и ведения психологической войны против СССР», за которую ему присвоили звание доктора наук и взялись претворять теорию в практику в Калифорнии. Вот тут-то и встретил Туркулов Ефима, который стал его любимым учеником и был избран для выполнения миссии — ему надлежало стать в России глазами и ушами Туркулова.

Ну ладно, с Туркуловым все понятно, а вот Ефим — как дошел сын бывшего сибирского крестьянина Ефим Байкалов до жизни такой? Худо русскому человеку на Западе. Стоило, например, семейству Байкаловых попасть из более или менее патриархальной Австралии в Сан-Франциско, как отца увел незнамо куда полицейский, мать тут же изнасиловали, а сынишку отдали в лапы странному типу, интересующемуся мальчиками (правда, Ефим не пострадал, мать сумела откупиться). Но на этом мытарства семьи не кончились, относительное благополучие пришло к ним, лишь когда человек по фамилии Безродный завербовал Ефима в шпионы (а чего еще можно ждать от носителя такой фамилии, к которой так и тянет добавить словечко «космополит»?)

Встреча с Безродным круто повернула жизнь Ефима. Через три года он уже прыгал с парашютом, учился пить до дна, по-русски, а также управляться с женщинами. А заодно осваивал информацию о стране, куда ему пред-

стояло идти на шпионскую работу, такого, например, типа: «Между мужем и женой какого-то подозрения на измену, разговоров о разводе — такого и в понятиях нет. Семьи там накрепчайшие — этим и сильна и непобедима Русь. Отгуляли праздник, и все ушли в работу. Жадные они до работы люди. Вот это как раз и нужно у них порушить».

И советская действительность не разочаровала Ефима. Родная земля встретила его гостеприимно: «пели птицы, и играло в небе солнце. Воздух ядреный». Все по душе Ефиму — люди, пейзажи, даже магазины. Люди в городе казались ему необычайно спокойными. Нигде ни спешки, ни суеты. Нет назойливой рекламы — «купите»! И нет магазинных зазывал. Все являет собой резкий — и отрадный для глаза — контраст с проклятым Западом, где даже когда просто в окно глядишь — перед тобой сплошное безобразие: «по улице непрерывной чередой неслись «форды», «плимуты», «доджи», «кадиллаки», «линкольны», «шевроле»... Голубые, зеленые, черные, молочные, красные, кофейные... Длинные, короткие, тупорылые...»

Внешне Ефим старается быть, как все, слиться с народной массой. Вот он едет с парнями и девушками в машине на пикник, поет песню «Забота у нас такая»: «тоже улыбался, как и все, и тоже цвел лицом, но ему не было весело». Конечно, не до веселья тут, если по дороге на пикник сравниваешь карту местности, изученную в шпионском центре, с реальной местностью. Он знакомится с милой девушкой Наташей, которая работает, учится и мечтает стать писательницей, найти откровение. Он собирает информацию, потому что Туркулова интересуют все мелочи о здешних людях, о здешнем обществе — все, вплоть до обмаранных детских пеленок. Попутно он предается рассуждениям насчет своей миссии, в которой используется «тактика вируса рака, который, проникнув в организм, внедряется все глубже и глубже, пока не разъедает его весь», и вот он, Ефим Андреевич Байкалов, «точно вирус, сходный по составу с их здоровыми клетками, вторгся-таки к ним».

Нельзя сказать, что Ефим вовсе не преуспел в своей масонско-шпионской деятельности. Кое-что ему вполне удалось: например, он наладил распространение порнографических открыток и печатание Библии, стал идейным вдохновителем перерождения талантливого рабоче-крестьянского поэта Геннадия в алкоголика, в конце концов наложившего на себя руки, и, напротив, бездарного поэта и полуеврея Бориса прославил по всем «голосам» и тем превратил в покорного помощника. Но что-то все грызло Ефима, не давало ему покоя: «Познавая здешние условия и людей, воспитанных в этих условиях, он глубже проникался к ним симпатией, был с ними и за них, но оторваться от той стороны и почувствовать себя полностью здешним — этого не получалось. Незримая лежала пропасть, одолеть которую было невозможно». Не сработал вирус рака, победил его здоровый организм советского общества, и замученный раскаянием шпион Ефим покончил с собой.

Но это, так сказать, единичный случай, и смерть переродившегося Ефима дела не спасает. Потому что, как это ни грустно, но страна давно уже находится во власти масонов, и недаром тяготеющий к философии Ефим записывает: «Беды ждут весь мир, но их страну они настигнут раньше, потому что против них применяется уже «тактика вируса рака». Им навяжут такие условия жизни, что... Ухудшится плодородие почв, будут подорваны водные ресурсы, уничтожено поголовье скота, иссякнут рыбные запасы во внутренних водоемах, будут вырублены леса, осушены болота. Их давно отучают от понятия, что в природе все отлажено, сбалансировано и что идти человеку против природы — значит губить себя. Им внушили, будто человек может устроить все разумнее. Отсюда и придет к ним главная беда».

Это, пожалуй, единственный абзац в объемистом романе Иванова, в котором есть хоть некое соответствие реальности. Об экологическом кризисе много пишет сей-

час советская пресса. Но пафос этого абзаца — не в том, что делать, а в том, кто виноват. «Им внушили... их отучают... им навязжут...» — кто же творит все эти безобразия над несчастным народом? Да все тот же колорадский жук из моего детства — живуч оказался.

И последний штрих — для полноты картины: на недавнем пленуме правления Союза писателей РСФСР кто-то — весьма в духе книги Иванова — заметил, что совершенно очевидно, что в гражданской войне присутствовала некая третья сила, которая и обеспечила гибель лучших представителей русского народа с той и другой стороны (то есть и красных, и белых). Как писал некогда журнал «Крокодил», «нарочно не придумаешь»...

В последнее время в советском самиздате циркулирует обширная работа известного советского математика Игоря Ростиславовича Шафаревича «О русофобии», которая представляет собой некий историко-философский трактат, насчитывающий 114 страниц. Главная цель, которую поставил перед собой автор, — это показать разрушительную роль евреев в жизни России и русского народа. Поскольку работа Шафаревича, на наш взгляд, отражает умонастроения определенной части советского общества, мы решили подробнее познакомить с ней читателей. Ниже публикуются заключительные главы трактата И. Шафаревича и комментарий профессора Ефима Эткинда.

Игорь ШАФАРЕВИЧ

О РУСОФОБИИ

Самиздатский трактат известного советского математика о разрушительной роли евреев в жизни России.

8. ЕВРЕЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ В «РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЕК»

В конце XIX века устойчивая, замкнутая жизнь религиозных общин, объединявших почти всех живших в России евреев, стала быстро распадаться. Молодежь покидала религиозные школы и патриархальный кров и вливалась в русскую жизнь — экономику, культуру, политику — все больше влияя на нее. К началу XX века это влияние достигло такого масштаба, что стало весомым фактором русской истории. Если оно было велико и в экономике, то особенно бросалось в глаза во всех течениях, враждебных тогдашнему жизненному укладу. В либерально-обличительной прессе, в левых партиях и террористических группах евреи, как по их числу, так и по их руководящей роли, занимали положение, совершенно не сопоставимое с их численной долей в населении.

«...факт безусловный, который надлежит объяснить, но бессмыслен-

но и бесцельно отрицать», — писали об этом объективные еврейские наблюдатели (цитированный выше сборник «Россия и евреи»).

Естественно, что весь процесс особенно обострился, когда разразилась революция. В том же сборнике читаем:

«Теперь еврей — во всех углах, на всех ступенях власти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной Москвы и во главе Невской столицы, и во главе армии, совершеннейшего механизма самоистребления. Он видит, что проспект св. Владимира носит славное имя Нахимсона, исторический Литейный проспект переименован в проспект Володарского, а Павловск — в Слуцк. Русский человек видит теперь еврея и судьей и палачом...»

Тем не менее, мысль, что «революцию делали одни евреи» — бессмыслица, выдуманная, вероятно, лишь затем, чтобы ее было проще опровергнуть. Более того, я не вижу никаких аргументов в пользу того, что евреи вообще «сделали» русскую революцию, т.е. были ее инициаторами, хотя бы в виде руководящего меньшинства.

Если начинать историю революции с Бакунина, Герцена и Чернышевского, то в их окружении не было никаких евреев, а Бакунин и вообще относился к евреям с антипатией. Когда возникли первые революционные прокламации («К молодой России» и др.), в период «хождения в народ», и когда после его неудачи произошел поворот к террору, евреи в революционном движении были редким исключением. В самом конце 70-х годов в руководстве «Народной воли» было несколько евреев (Гольденберг, Дейч, Занделевич, Геся Гельфман), что после убийства Александра II привело к взрывам народного возмущения, направленного против евреев. Но как слабо было влияние евреев в руководстве организации показывает то, что «Листок Народной воли» одобрил эти беспорядки, объяснив их возмущением народа против евреев-эксплуататоров. К концу 80-х годов положение несколько изменилось. Согласно сводке, составленной министерством внутренних дел, среди известных ему политических эмигрантов евреи составляли немного более трети — 51 на 145. Только после создания партии эсеров евреи образовали прочное большин-

ство в руководстве этого движения. Вот, например, краткая история Боевой Организации эсеров: ее создавал и ею с 1901 по 1903 г.г. руководил Гершуни, с 1903 по 1905 — Азеф, с 1906 по 1907 — Зильберберг. После этого во главе встал Никитенко, но через два месяца был арестован, а в 1908 г. она была распущена (когда выяснилась роль Азефа). Обильный материал в этом отношении дают донесения Азефа, позже опубликованные. В одном из них он перечисляет членов заграничного комитета: Гоц, Чернов, Шишко, супруги Левиты, жена Гоца, Гуревич и жена Чернова, а в другом — «узкий круг руководителей партии»: Мендель, Виттенберг, Левин, Левит и Азеф. Аналогичную эволюцию мы видим и в социал-демократии. Идея, что не крестьяне, а рабочие могут стать главной революционной силой, была высказана применительно к России не евреями, а Якубовичем и особенно Плехановым, который начал пересадку марксизма на русскую почву. В социал-демократии сначала гораздо больше евреев было среди меньшевиков, чем среди большевиков (в заметке с V съезда РСДРП Сталин писал, что в меньшевистской фракции подавляющее большинство составляли евреи, а в большевистской — русские, и приводил известную «шутку», что неплохо бы устроить в русской социал-демократии небольшой еврейский погром). К большевикам еврейские силы стали приливать только перед самым Октябрьским переворотом и особенно вслед за ним — от меньшевиков, из Бунда (многие вожди Бунда перешли в большевистскую партию), из беспартийных. После переворота несколько дней главой государства был Каменев, потом до своей смерти — Свердлов. Во главе армии стоял Троцкий, во главе Петрограда — Зиновьев, Москвы — Каменев, Коминтерн возглавлял Зиновьев, Профинтерн — А. Лозовский (Соломон Дризо), во главе комсомола стоял Оскар Рыбкин и т.д.

Положение в 30-е годы можно представить себе, например, по спискам, приведенным в книге Дикого. Если в самом верховном руководстве число еврейских имен умень-

шается, то в инстанциях пониже влияние расширяется, уходит вглубь. В ответственных наркоматах (ОГПУ, Иностранных дел, тяжелой промышленности) в руководящей верхушке (наркомы, их заместители, члены коллегии) евреи занимали доминирующее положение, составляли заведомо больше половины. В некоторых же областях руководство почти сплошь состояло из евреев.

Но это все лишь количественные оценки. Каков же был характер того влияния, которое оказало на ту эпоху столь значительная роль радикального еврейства? Бросается в глаза особенно большая концентрация еврейских имен в самые болезненные моменты, среди руководителей и исполнителей акций, которые особенно резко перекраивали жизнь, способствовали разрыву исторических традиций, разрушению исторических корней.

Например, из большинства мемуаров времен гражданской войны возникает странная картина: когда упоминаются деятели ЧК, поразительно часто всплывают еврейские фамилии — идет ли речь о Киеве, Харькове, Петрограде, Вятке или Туркестане. И это в то время, когда евреи составляли всего 1-2% населения Советской России! Так, Шульгин приводит список сотрудников Киевской ЧК: в нем почти исключительно еврейские фамилии. И рассказывает о таком примере ее деятельности: в Киеве до революции был «Союз русских националистов» — его членов расстреливали по спискам.

Особенно же ярко эта черта выступает в связи с расстрелом Николая II и его семьи. Ведь речь шла не об устранении претендента на престол его предшественником — вроде убийства Петра III или Павла I. Николай II был расстрелян именно как царь, этим ритуальным актом подводилась черта под многовековой эпохой русской истории, так что сравнивать это можно лишь с казнью Карла I в Англии или Людовика XVI во Франции. Казалось бы, от такого болезненного, оставляющего след во всей истории действия, представители незначительного этничес-

кого меньшинства должны были бы держаться как можно дальше. А какие имена мы встречаем? Лично руководил расстрелом и стрелял в царя Яков Юровский, председатель местного Совета был Белобородов (Вайсбарт), а общее руководство в Екатеринбурге осуществлял Шая Голощекин. Картина дополняется тем, что на стене комнаты, где происходил расстрел, было обнаружено написанное (по-немецки) двестише из стихотворения Гейне о царе Валтасаре, оскорбившем Иегову и убитым за это*. Или вот другая эпоха. Состав верхушки ОГПУ в период раскулачивания и Беломорканала, в переломный момент нашей истории, когда решалась судьба крестьянства (он приведен в книге одного английского исследователя, вовсе не желающего подчеркнуть национальный аспект): председатель Ягода (Игуда), заместители — Агранов, Трилиссер, позже Фриновский, начальник оперотдела — Валович, позже Паукер; начальник ГУЛАГа — Матвей Берман, потом Френкель; политотдела — Ляшков; хозяйственный отдел — Миронов; спецотдел — Гай, иностранный отдел — начальник Слуцкий, заместители — Борис Берман и Шпигельглас; транспортный отдел — Шанин. А когда Ягуду сменил Ежов, его заместителями были Заковский и Фриновский. Или, наконец, уничтожение Православной Церкви: в 20-е годы им руководил Троцкий (при ближайшем помощнике — Шпицберге), а в 30-е Емельян Ярославский (Миней Израилевич Губельман). Тот период, когда кампания приняла уже грандиозный размах, освещается в самиздатском письме покойного украинского академика В...**. Он, например, приводит список основных авторов атеистической (т.е. почти исключительно антиправославной) литературы:

* Довольно откровенной попыткой затемнить именно этот аспект Екатеринбургской трагедии является недавняя книга двух английских журналистов. Но по другому поводу мы узнаем из нее, что на стенах дома, где произошел расстрел царской семьи, были обнаружены надписи на идиш.

** Фамилия в оригинале не разборчива (прим. редакции).

Емельян Ярославский (Губельман), Румянцев (Шнайдер), Кандидов (Фридман), Захаров (Эдельштейн), Ранович, Шахнович, Скворцов-Степанов, а в более позднее время — Ленцман и Шенкман.

Самая же роковая черта всего этого века, которую можно отнести за счет все увеличивающегося еврейского влияния, заключалась в том, что чисто либеральная, западная или интернационалистическая фразеология прикрывала антинациональные тенденции. (Конечно, вовлеченными в это оказались и многие русские, украинцы, грузины.) Тут — кардинальное отличие от Французской революции, в которой евреи не играли никакой роли. Там «патриот» был термин, обозначающий революционера, у нас — контрреволюционера, его можно было встретить и в смертном приговоре: «расстрелян как заговорщик, монархист и патриот». И в России эта черта появилась не сразу. В мышлении Бакунина были какие-то национальные элементы, он мечтал о федерации анархически-свободных славянских народов. Та приманка, которая заманивала большинство молодежи в революцию, была любовь и сострадание к народу, т.е. тогда — к крестьянству. Но рано началась и обратная тенденция. Так, Д. Тихомиров рассказывает о Б.А. Зайцеве (мы уже цитировали его в § 4, например, что «рабство в крови русских»): «Еврей, интеллигентный революционер, он с какой-то бешеной злобой ненавидел Россию и буквально проклинал ее, так что противно было читать. Он писал, например, «сгинь, проклятая». О Плеханове Тихомиров пишет, что он «носил в груди неистребимый русский патриотизм». И вот, вернувшись после Февральской революции в Россию, он обнаружил, что его бывшее влияние испарилось. У Плеханова просто не повернулся бы язык воскликнуть, как Троцкий: «Будь проклят патриотизм!» Это «антипатриотическое» настроение господствовало в 20-е и 30-е годы. Зиновьев призывал тогда «подсекать головку нашего русского шовинизма», «каленным железом прижечь всюду, где есть хотя

бы намека на великодержавный шовинизм», Яковлев (Эпштейн) сетовал, что «через аппарат проникает подлый великодержавный русский шовинизм». Что же понималось под «великодержавным шовинизмом» и что означала борьба с ним? Бухарин разъяснял: «...мы, в качестве бывшей великодержавной нации, должны (...) поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям». Он требовал поставить русских «в положение более низкое по сравнению с другими...» Сталин же раз за разом, начиная с X съезда и кончая XVI, декларировал, что «великодержавный шовинизм» является главной опасностью в области национальной политики. Тогда термин «русопяты» был вполне официальным, его можно было встретить во многих речах тогдашних деятелей. «Антипатриотическое» настроение пропитало и литературу. Безыменский мечтал:

**О, скоро ли рукою жесткой
Рассеюшку с пути столкнут!**

Эта тема варьировалась до бесконечности,

**Русь! Сгнила? Умерла? Подохла?
Что же! Вечная память тебе.**

Или:

**Я предлагаю
Минина расплавить,
И Пожарского,
Зачем им пьедестал?
Довольно нам
Двух лавочников славить
Их за прилавками
Октябрь застал,
Случайно им
Мы не свернули шею.
Я знаю, это было бы подстать,
Подумаешь,
Они спасли Рассею!
А может лучше было б не спасать?**

Занятие русской историей включало в себя как обязательную часть выливание помоев на всех, кто играл

какую-то роль в судьбах России — даже за счет противоречий с убеждениями самих исследователей: ибо был ли, например, Петр Великий сифилитиком или гомосексуалистом, это ведь не оказывало никакого влияния на «торговый капитал», «выразителем интересов которого он являлся». Через литературу и школу это настроение проникло и в души нынешних поколений — и вот, например, Л. Плющ называет Кутузова «реакционным деятелем»!

Здесь уместно рассмотреть часто выдвигаемое возражение: евреи, принимавшие участие в этом течении, принадлежали к еврейству лишь по крови, но по духу они были интернационалистами, то, что они были евреями, никак не влияло на их деятельность. Но ведь Сталина, например, те же авторы объявляют «продолжателем политики русского царизма», хотя в своих речах он неустанно обличал «великодержавный шовинизм». Если они не верят на слово Сталину, то почему же верят Троцкому и считают его чистым интернационалистом. Именно эту точку зрения имеет, конечно, в виду Померанц, когда пишет, что если считать Троцкого евреем, то Врангеля надо считать немцем. Кем же они в действительности были? «Этот вопрос кажется мне неразрешимым», — говорит Померанц. В то же время, по крайней мере, в отношении Троцкого, положение не представляется столь безнадежным. Например, в одной из его биографий читаем:

«Судя по всему, рационалистический подход к еврейскому вопросу, которого требовал от него исповедуемый им марксизм, никак не выражал его подлинных чувств. Кажется даже, что он был «одержим» по-своему этим вопросом: он писал о нем чуть ли не больше, чем любой другой революционер».

Как раз сравнение с Врангелем поучительно: заместителем Троцкого был Эфраим Склянский, а Врангеля — генерал Шатилов, отнюдь не немец. И не известны признаки какой-либо особой симпатии к Врангелю, стремление его реабилитировать со стороны немецких публицист-

тов, в то время как с Троцким дело обстоит не так: например, тот же Померанц сравнивает трудармии Троцкого с современной посылкой студентов на картошку! Тогда как сам Троцкий пользовался совсем другим сравнением — с крепостным правом, которое он объявлял вполне прогрессивным для своего времени. Или В. Гроссман в романе «Все течет», развенчивая и Сталина, и Ленина, пишет: «блестящий», «бурный, великолепный», «почти гениальный Троцкий».*

Не только этот пример Померанца неудачен, но можно привести много примеров того, что как либеральные, так и революционные деятели еврейского происхождения находились под воздействием мощных националистических чувств. Конечно, из этого не следует, что так было со всеми. Например, Винавер — один из самых влиятельных руководителей конституционно-демократической (кадетской) партии, после революции превратился в активнейшего сиониста. Или возьмем момент, когда создавалась партия эсеров. В воспоминаниях один из руководящих деятелей того времени (позже — один из вождей французской компартии) Шарль Раппопорт пишет:

«Хаим Митловский, который вместе со мной основал в Берне «Союз русских социалистов-революционеров», из которого выросла в даль-

* В.С. Гроссман — советский писатель и публицист. Вместе с Оренбургом и Заславским был руководящим пропагандистом сталинского времени, лауреат Сталинской премии. Одновременно, тайне написал несколько книг, которые были опубликованы после его смерти. В одной из них «Все течет», он, сурово развенчивая Сталина и Ленина, очень сочувственно отзываясь о Троцком. (Оттуда и взяты приведенные выше цитаты.) В той же книге он утверждает, что вся русская история — это история рабства, что русская душа — тысячелетняя раба, извратившая занесенные с Запада свободолюбивые идеи (хотя в своей официальной публицистике военного времени он говорил совсем другим языком: в русской душе он видел «неистребимую, неистовую силу», «железную аввакумовскую силу, которую нельзя ни согнуть, ни сломить» и т.д.). Таким образом, В. Гроссмана можно рассматривать как предшественника того времени, которое является предметом рассмотрения настоящей работы.

нейшем партия эсеров* (...) Этот пламенный и искренний патриот убеждал меня дружески: будь, кем хочешь — социалистом, коммунистом, анархистом и так далее, но в первую очередь будь евреем, работай среди евреев, еврейская интеллигенция должна принадлежать еврейскому народу.

Взгляды самого Раппопорта таковы:

«Еврейский народ — носитель всех великих идей единства и человеческой общности в истории (...) Исчезновение еврейского народа будет обозначать гибель человечества, окончательное превращение человека в дикого зверя.

Очень трудно представить себе, чтобы деятельность таких политиков (в качестве ли кадетов, эсеров или французских коммунистов) не отражала их национальных чувств. Следы этого можно действительно увидеть, например, в истории партии эсеров. Так, два самых знаменитых террористических акта, потребовавших наибольшего напряжения сил Боевой организации, — были направлены против Плеве и Великого князя Сергея Александровича, которых молва обвиняла в антисемитизме. (Плеве считали ответственным за Кишиневский погром, ходила даже легенда, что он хотел выселить евреев в гетто; а князь Сергей Александрович, будучи московским генерал-губернатором, восстановил некоторые ограничения на проживание евреев в Московской губернии, отмененные раньше). Зубатов вспоминал, что в разговоре с ним Азеф «трясся от злобы и ненависти, говоря о Плеве, которого он считал ответственным за Кишиневский погром».**

* Автор несколько преувеличивает: партия эсеров образовалась в результате слияния нескольких организаций, в числе которых был и вышеупомянутый «Союз».

** В судьбе Азефа вообще много загадочного. Почему после разоблачения он не был убит, в то время, как партия казнила за гораздо меньшие проступки, только попытки предательства (например, Гапона)? Считалось, что он скрывается, но Бурцев его нашел: взял у него интервью! Азеф умер своей смертью в 1910 г. Трудно придумать иное объяснение, чем то, что руководство партии знало о его сотрудничестве с властями и санкционировало его на определенных условиях.

О том же свидетельствует и Ратаев. Один из руководителей партии эсеров — Слетов — рассказывает в своих воспоминаниях, как реагировали вожди партии в Женеве на весть об убийстве Плеве:

«Несколько минут стояло столпотворение. Некоторые мужчины и женщины впали в истерику. Большинство присутствующих обнимались. Со всех сторон раздавались крики радости. Я как сейчас вижу Н., стоявшего немного в стороне: он разбил стакан с водой об пол, поскрежетал зубами и вскричал: «Это за Кишинев!»

Вот другой пример. Советский историк М.Н. Покровский рассказывает:

«... Я знал, что еще в 1907 году кадетская газета «Новь» в Москве субсидировалась некоторого рода синдикатом еврейской буржуазии, которая больше всего заботилась о национальной стороне дела и, находя, что газета недостаточно защищает интересы евреев, приходила к нашему большевистскому публицисту М.Г. Лунцу и предлагала ему стать редактором газеты. Он был крайне изумлен, говоря: как же, ведь газета кадетская, а я большевик. Ему говорят: это все равно. Мы думаем, что ваше отношение к национальному вопросу более четко».

Мысль, что политический переворот может быть инструментом для достижения национальных целей, не чужда еврейскому сознанию. Так, Витте рассказывает, что когда он в 1905 году вел в Америке переговоры о заключении мирного договора с Японией, к нему пришла «делегация еврейских тузов», в том числе Яков Шифф, «глава еврейского финансового мира в Америке». Их волновал вопрос о положении евреев в России. Слова Витте, что «предоставление сразу равноправия принесет больше вреда, чем пользы», «вызвали со стороны Шиффа резкое возражение». Шульгин приводит со ссылкой на первоисточники версию одного из еврейских участников этой встречи о том, в чем заключалось «возражение» Шиффа. По его словам, Шифф сказал:

«... в таком случае революция воздвигнет республику, при помощи которой права будут получены».

В качестве продолжения этой истории можно привести другую, имевшую место в 1911-1912 гг. В эти годы в

Америке разыгралась бурная кампания протеста против того, что, согласно тогдашним русским законам, въезд американских евреев в Россию был ограничен. Требовали разрыва русско-американского торгового договора 1832 г. (Договор и был расторгнут, совершенно так же, как в наши дни торговый договор не был подписан из-за того, что был ограничен въезд евреев из СССР в США.) Выступая на митинге, министр продовольствия Герман Леб (вышеупомянутый Шифф был главным директором банка Кун, Леб и К°) сказал, что расторжение договора — это хорошо, но еще лучше — переправить в Россию контрабандой оружие и послать сотню инструкторов:

«Пусть они обучат наших ребят, пусть научат их убивать угнетателей, как собак. Трусливая Россия вынуждена была уступить маленьким японцам. Она уступит и Избранному Богом Народу (...) Деньги помогут нам добиться этого».

Таких примеров можно привести гораздо больше, они недостаточны, конечно, для того, чтобы понять, как именно влияли национальные чувства на политических деятелей-евреев, но показывают, что такое влияние во многих случаях несомненно существовало.

9. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Почему случилось так, что именно выходцы из еврейской среды, оказались ядром того «Малого Народа», которому выпала роковая роль в кризисную эпоху нашей истории? Мы не будем пытаться вскрыть глубинный смысл этого явления. Вероятно, основное — религиозные заветы, связанные с верой в «Избранный народ» и в предназначенную ему власть над миром. Какой другой народ воспитывался из поколения в поколение на таких заветах?

«...введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил.

И с домами, наполненными всяким добром, которых ты не напол-

нял, и с колодезьями, высеченными из камня, которых ты не высекал, и с виноградниками и маслинами, которых ты не сажал...»

(Второзаконие, VI, 6-11)

Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив тебе.

И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их.

Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся.

(Исайя, 60,10-12)

И придут иноверцы и будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями.

(Исайя 61, 5)

И будут цари питателями твоими, и царицы кормилицами твоими; лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих.

(Исайя, 9, 23)

У кого можно встретить подобные чувства?

О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их Ты уподобил каплям, каплющим из сосуда.

(III кн. Ездры, 6, 56)

Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследия с веком? И доколе это?

(III кн. Ездры, 6, 45)

Именно это мировоззрение «Избранного Народа» явилось прототипом идеологии «Малого Народа» во всех его исторических воплощениях (что особенно ясно видно на примере пуритан, пользовавшихся даже той же терминологией — из новейших авторов ею пользуется Померанц).

Однако здесь я укажу на самую очевидную причину — почти двухтысячелетнюю изоляцию и подозрительное, враждебное отношение к окружающему миру. Конечно, встает также вопрос о причинах и смысле этой изоляции. Например, такой тщательный и объективный исследователь, как Макс Вебер, считает, что изоляция еврейства была не вынужденной, а добровольно избранной, задолго до разрушения Храма. В этом с ним соглашается и советский

историк С. Лурье в работе «Антисемитизм в древнем мире». Он полагает, что в эпоху, предшествующую разрушению Храма, большинство евреев уже жило в диаспоре, а Иудея играла роль культового и национального центра (очевидно, несколько напоминая современное государство Израиль).

Но, чтобы не углубляться в эту цепь загадок, мы примем за данное ее конечное звено — расселение и изоляцию. Двадцать веков было прожито среди чужих народов в полной изоляции ото всех влияний внешнего мира, воспринимаемого как «трефа», источник заразы и греха. Хорошо известны высказывания Талмуда и комментариев к нему, в которых с разных точек зрения разъясняется, что иноверца (акума) нельзя рассматривать как человека: по этой причине не следует бояться осквернить их могилы; в случае смерти слуги-акума не следует обращаться с утешением к его господину, но выразить надежду, что Бог возместит его убыток — как в случае падежа скота; по той же причине брак с акумом не имеет силы, его семя — все равно, что семя скота, акумы — это животные с человеческими лицами и т.д. и т.п. Тысячу лет каждый год в праздник «Пурим» праздновалось умерщвление евреями 75000 их врагов, включая женщин и детей, как это описано в Книге Эсфири. И празднуется до сих пор — в Израиле по этому поводу происходит веселый карнавал! Для сравнения представим себе, что католики ежегодно праздновали бы ночь св. Варфоломея! Сошлюсь, наконец, на источник, который уж никак нельзя заподозрить во враждебности к евреям: известный сионист, друг и душеприказчик Кафки, Макс Брод в своей книге о Рейлине сообщает об известной ему еврейской молитве против иноверцев с призывами к Богу лишить их надежды, разметать, низринуть, истребить в одно мгновение и «в наши дни». Можно представить себе, какой неизгладимый след должно было оставить в душе такое воспитание, начинавшееся с детства, и жизнь, прожитая по таким канонам, и так из поколения в поколение — 20 веков!

Какое отношение к окружающему населению могло возникнуть на этой почве, можно попытаться восстановить по мелким черточкам, разбросанным во многих источниках. Например, в своем дневнике молодой Лассаль, не раз негодую по поводу угнетенного положения евреев, говорит, что мечтал бы встать во главе их с оружием в руках. В связи со слухами о ритуальных убийствах он пишет:

Тот факт, что во всех уголках мира выступают с подобными обвинениями, мне кажется, предвещает, что скоро наступит время, когда мы действительно освободимся пролитием христианской крови. Игра началась и дело за игроками.

Если еще принять во внимание злобность и злопамятность, которые видны из каждой страницы этого дневника, то легко представить себе, что такие переживания должны были оставить след на всю жизнь. Или Мартов (Цедербаум), вспоминая страх, испытанный в трехлетнем возрасте при ожидании погрома (толпа была разогнана казаками еще до того, как дошли до дома Цедербаумов), задумывается:

...был бы я тем, чем стал, если бы на пластической юной душе российская действительность не поспешила запечатлеть своих грубых перстов, и под покровом всколыхнутой в детском сердце жалости заботливо сохранить семена спасительной ненависти?

Более явные свидетельства можно найти в литературе. Например, «спасительная ненависть» широко разлита в стихах еврейского поэта, жившего в России, Х. Бялика.

**Пусть сочтется как кровь неотмщенная в ад,
И да роет во тьме и да точит как яд.
Разъеда я столпы мирозданья.**

**Да станет нага скорбь, как кость у злого пса,
В гортани мира ненасытной:
И небо напоит, и всю земную гладь,
И степь, и лес отравой жгучей,
И будет с нами жить, и цвести, и увядать,
И расцветать еще могучей;**

**Я для того замкнул в твоей гортани,
О, человек, стенание твое;
Не оскверни, как те, водой рыданий
Святую роль святых страданий,
Но береги нетронутой ее.**

Лелей ее, храни дороже клада
 И замок ей построй в твоей груди,
 Построй оплот из ненависти ада —
 И не давай ей пищи кроме яда
 Твоих обид и ран твоих, и жди
 И возрастет взлелеянное семя,
 И жгучий даст и полный яду плод —
 И в грозный день, когда свершится время,
 Сорви его — и брось его в народ!

Из бездны Авадонна вознесите песнь о Разгроме
 Что, как дух вам черна от пожара,
 И рассыпьте в народах, все в проклятом их доме
 Отравите удушьем угара;
 И каждый да сеет по нивам их семя распада
 Повсюду, где ступит и станет.

Если только коснетесь чистойшей из лилий их сада,
 Почернеет она и завянет,
 И если ваш взор упадет на мрамор их статуй —
 Треснут, разбиты из-двое;
 И смех захватите с собой, горький, проклятый,
 Чтоб вымерщвлять все живое.

Презрение и брезгливость к русским, украинцам, полякам, как к существам низшего типа, недочеловекам, ощущается почти в каждом рассказе «Конармии» И. Бабе-ля. Полноценный человек, вызывающий у автора уважение и сочувствие, встречается там только в образе еврея. С нескрывтым отвращением описывается, как русский отец режет сына, а потом второй сын — отца («Письмо»), как украинец признается, что не любит убивать, расстреливая, а предпочитает затаптывать насмерть ногами («Жизнеописание Павличенка, Матвея Родионыча»). Но особенно характерен рассказ «Сын Рабби». Автор едет в поезде вместе с отступающей армией.

И чудовищная Россия, неправдоподобная как стадо платяных вшей, затапала лаптями по обе стороны вагонов. Тифозное мужичье катило перед собой привычный гроб солдатской смерти. Оно прыгало на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое прикладами.

Но тут автор видит знакомое лицо: «И я узнал Илью, сына житомирского рабби» (автор заходил к раввину в вечер пе-

ред субботой — хоть и политработник Красной Армии — и отметил «юношу с лицом Спинозы» — рассказ «Гидали»). Его, конечно, сразу приняли в вагон редакции. Он был болен тифом, при последнем издыхании и там же, в поезде, умер. «Он умер, последний принц, среди стихов, филактерии и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я — едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения — я принял последний вздох моего брата».

Холодное отстранение от окружающего народа часто передают стихи Э. Багрицкого. В стихотворении же «Февраль» прорывается крайняя ненависть. Герой становится после революции помощником комиссара:

Моя иудейская гордость пела,
 Как струна, натянутая до отказа...
 Я много дал бы, чтобы мой пращур
 в длиннополом халате и лисьей шапке,
 Из под которых седой спиралью
 Спадали пейсы и перхоть тучей
 Взлетает над бородой квадратной...
 Чтоб этот пращур признал потомка
 В детине, стоящем подобно башне
 Над летящими фарами и штыками
 Грузовика, потрясшего полночь.

Однажды, во время налета на подозрительный дом, автор узнает девушку, которую он видел еще до революции, она была гимназисткой, часто проходила мимо него, а он вздыхал, не смея к ней подойти. Однажды попытался с ней заговорить, но она его прогнала... Сейчас она стала проституткой...

Я — Ну, что! узнала?
 Тишина.
 — Сколько дать вам за сеанс?
 И тихо,
 Не раздвинув губ, она сказала:
 — Пожалей меня! Не надо денег...
 Я швырнул ей деньги,
 Я ввалился
 Не стянув сапог, не сняв кобуры,
 Не расстегнув гимнастерки.
 Я беру тебя за то, что робок
 Был мой век, за то, что я застенчив,

**За позор моих бездомных предков,
За случайной птицы щебетанье!
Я беру тебя, как мщенье миру,
Из которого не мог я выйти!
Принимай меня в пустые недра,
Где трава не может завязаться,
Может быть, мое ночное семя
Оплодотворит твою пустыню.**

Мне кажется, пора бы пересмотреть и традиционную точку зрения на роман Ильфа и Петрова? Это отнюдь не забавное высмеивание пошлости эпохи нэпа. В мягкой, но четкой форме в них развивается концепция, составляющая, на мой взгляд, их основное содержание. Действие их как бы протекает среди обломков старой русской жизни, в романах фигурируют дворяне, священники, интеллигенты — и все они изображены, как какие-то нелепые, нечистоплотные животные, вызывающие брезгливость и отвращение. Им даже не приписывается каких-то черт, за которые можно было бы осудить человека. На них вместо этого ставится штамп, имеющий целью именно уменьшить, если не уничтожить чувство общности с ними как с людьми, оттолкнуть от них чисто физиологически: одного изображают голым, с толстым отвисшим животом, покрытым рыжими волосами; про другого рассказывается, что его секут за то, что он не гасит свет в уборной... Такие существа не вызывают сострадания, истребление их — нечто вроде веселой охоты, где дышится полной грудью, лицо горит, и ничто не омрачает удовольствия.

Эти чувства, пронесенные еще одним поколением, дожили до наших дней и часто прорываются в песнях бардов, стихах, романах и мемуарах. Бурный взрыв тех же эмоций можно наблюдать в произведениях недавних эмигрантов. Вот, например, стихотворение недавно эмигрировавшего Д. Маркиша, напечатанное уже в Израиле в журнале «Сион»:

**Я говорю о нас, сынах Сиона,
О нас, чей взгляд иным теплом согрет,
Пусть русский люд ведет тропа иная,
До их славянских дел нам дела нет.**

**Мы ели хлеб их, но плевали кровью,
Счета сохранены, но не подведены.
Мы отомстим — цветами в изголовья
Их северной страны.**

**Когда сотрется лаковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул,
Мы станем у березового гроба
В Почетный караул...**

В статье, опубликованной в другом израильском журнале, читаем:

Народу «богоносцу» мало огромной конформированной страны, ему нужна также жемчужина, т.е. Святая Земля (...) Ему хочется этой недоступной ему святости, и хотя он сам — погрязший в презрении к самому себе и ко всем остальным, даже не знает, что ему с этой святостью делать, потому что в его язычески-христианском представлении святость не живая и не может осветить мир, — он все ждет своего часа самодура-палача. И в его темном инстинкте это вызвало и вызывает чудовищные порывы ненависти к Израилю — носителю святости живой.*

Под конец приведем выдержку из журнала, издающегося на русском языке в Торонто.

Не промолчи, Господи, вступишь за избранных Твоих, не ради нас, ради клятвы Твоей отцам нашим — Аврааму, Исааку и Якову. Напусти на них китайца, чтобы славили они Мао и работали на него, как мы на них. Господи, да разрушит Китай все русские школы и разграбит их, да будут русские насильно интернированы, да забудут они свой язык и письменность. Да организует он им в Гималаях Русский Национальный округ.

Часто приходится слышать такой аргумент: многие поступки и чувства евреев можно понять, если вспомнить сколько они испытали. Например, некоторые стихи Бялика написаны под впечатлением погрома, у Д. Маркиша отец расстрелян при Сталине по «процессу сионистов», другие помнят черту оседлости, процентную норму или какие-то более поздние обиды. Здесь надо еще раз подчеркнуть, что мы не собираемся в этой работе никого судить, обвинять

* Автор, по-видимому, совершенно не чувствует иронии того, что обвиняет в «порывах ненависти» кого-то другого, хотя его самого в этом вряд ли можно превзойти.

или оправдывать. Сама постановка такого вопроса вряд ли имеет смысл: оправдывает ли унижение немцев по Версальскому миру национал-социализм? Мы хотели бы только представить себе, что происходило в нашей стране, какие социальные и национальные факторы и как на ее историю влияли.

Начиная с пореформенных 60-х годов, в России у всех на устах появилось слово «Революция». Это был явный признак приближающегося кризиса. И как другой его признак стал формироваться «Малый Народ» со всеми присущими ему чертами. Создавался новый тип людей, вроде молодого человека (о нем рассказывает Тихомиров), с гордостью произносившего: «Я отщепенец», или Ишутинского кружка «Ад», в программе которого стояло: «Личные радости заменить ненавистью и злом — и с этим научиться жить». Но можно понять, какая это была мучительная операция, как трудно было отрывать человека от его корней, как бы выворачивать наизнанку, как для этого надо было осторожно, шаг за шагом посвящать его в новое учение, подавлять силой авторитетов. И насколько проще все было с массой еврейской молодежи, не только не связанной общими корнями с этой страной и народом, но и воспринявшей с самого детства враждебность именно к этим корням, когда враждебная отчужденность от духовных основ окружающей жизни усваивалась не из книг и рефератов, а впитывалась с раннего детства, часто совершенно бессознательно, из интонаций в разговорах взрослых, из случайно услышанных и запомнившихся на всю жизнь замечаний! И хотя чувства, отразившиеся в приведенных выше отрывках, вероятно, испытывали далеко не все евреи, но именно то течение, которое было ими проникнуто, с неслыханной энергией вторгалось в жизнь и смогло оказать на нее особенно сильное и болезненное влияние.

Надо признать, что кризис нашей истории протекал в совершенно уникальный момент. Если бы в то время, когда он разразился, евреи вели такой изолированный образ

жизни, как например, во Франции во время Великой революции, то они и не оказали бы заметного влияния на его течение. С другой стороны, если бы жизнь местечковых общин стала разрушаться гораздо раньше, то возможно, успели бы укрепнуть какие-то связи между евреями и остальным населением, отчужденность, вызванная двухтысячелетней изоляцией, не была бы так сильна. Кто знает, сколько поколений нужно, чтобы стерлись следы 20-вековой традиции? — но нам практически не было дано ни одного: прилив евреев в террористическое движение почти точно совпал с «эмансипацией», началом распада еврейских общин, выходом из изоляции. Пинхус Аксельрод, Геся Гельфман и многие другие руководители террористов происходили из таких слоев еврейства, где вообще нельзя было услышать русскую речь. С узелком за плечами отправлялись они изучать «гойскую науку» и скоро оказались среди руководителей движения. Совпадение двух кризисов оказало решающее воздействие на характер той эпохи. Вот как это виделось еврейским наблюдателям (все по той же книге «Россия и евреи»):

И, конечно, не случайно, то, что евреи, так склонные к рационалистическому мышлению, не связанные в своем большинстве никакими традициями с окружающим их миром, часто в этих традициях видевшие не только бесполезный, но и вредный для развития человечества хлам, оказались в такой близости к этим революционным идеям.

И как закономерное следствие:

Поражало нас то, чего мы всего меньше ожидали встретить в еврейской среде: жестокость, садизм, насильничество, казалось, чуждые народу, далекому от физической воинственной жизни; вчера еще не умевшие владеть ружьем, сегодня оказались среди начальствующих головорезов.

Эта примечательная книга кончается словами:

Одно из двух: либо иностранцы без политических прав, либо русское гражданство, основанное на любви к родине. Третьей возможности нет.

Но нашлось течение, выбравшее именно третий «невозможный», с точки зрения автора, путь. Но только не любовь

к родине, а полная отчужденность, активная враждебность ее духовным началам и не только не отказ от политических прав, но напряжение всей воли и сил для воздействия на жизнь страны. Такое соединение оказалось поразительно эффективно; оно создало «Малый Народ», который по своей действенности превзошел все другие варианты этого явления, возникшие в Истории.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы видим, что сегодняшняя ситуация уходит корнями далеко в прошлое. На традиции двухтысячелетней изоляции накладываются страшные реминисценции более близкого прошлого, они давят на современное сознание, которое стремится вытолкнуть их, переориентировать возникающие на их основе чувства. Так создается тот болезненный национальный комплекс, на счет которого надо, по-видимому, отнести самые резкие обертоны в современной литературе «Малого Народа», раздраженные выпады против русских и русской истории.

Но для нас — русских, украинцев, белорусов... этот сгусток больных вопросов жгуче современен, никак не сводится только к оценке нашей истории. Трагичнее всего он проявляется в положении молодежи. Не находя точек зрения, которые помогли бы ей разобраться в проблемах, выдвигаемых жизнью, она надеется найти свежие мысли, узнать новые факты — из иностранного радио. Или старается добыть билет в модный театр с ореолом независимости, чтобы с его подмостков услышать слово правды. В любом случае крутит пленки с песнями Галича и Высоцкого. Но отовсюду на нее льется, ей навязывается как вообще единственно-мыслимый взгляд та же идеология «Малого Народа»: надменно-ироническое, глумленное отношение ко всему русскому, даже к русским именам; концепция — «в этой стране всегда так было и быть ничего

хорошего не может», образ России — «Страны дураков»*. И перед этой отточенной, проверенной на практике, усовершенствованной долгим опытом техникой обработки мозгов растерянная молодежь оказывается абсолютной беззащитной. Ибо ведь никто из тех, кто мог бы быть для нее авторитетом, ее не предупредит, что она имеет дело просто с нашим вариантом пропаганды — хоть и очень ядовитой, но покоящейся на более чем хрупкой фактической основе.

На нашем горизонте опять вырисовывается зловещий силуэт «Малого Народа». Казалось бы, исторический опыт должен был выработать против него иммунитет, обострить наше зрение, научить различать этот образ — но, боюсь, что не научил. И понятно почему: была разорвана связь поколений, опыт не передавался от одних к другим. Вот и сейчас мы под угрозой, что наш опыт не станет известен следующему поколению.

Зная роль, которую «Малый Народ» играл в истории, можно представить себе, чем чревато его новое явление: реализуются столь отчетливо провозглашенные идеалы — утверждение психологии «перемещенного лица», жизни без корней», «хождение по воде», т.е. окончательное разрушение религиозных и национальных основ жизни. И в то же время при первой возможности — безоглядно-решительное манипулирование народной судьбой. А в результате — новая и последняя

*Конечно, живущие здесь, в окружении русских, авторы не всегда могут себе позволить такой силы выражения, как в произведениях эмигрантской литературы, процитированных в предыдущих параграфах. Обычная форма такова, что можно еще и поспорить: это пьяница, хулиган, тупой чинуша в о б щ е, не только русский. Но говор-то у них чисто русский. И имена — коренные русские, сейчас даже редко встречающиеся. А ведь, например, (*неразб. слово — ред.*) (Рабиновичу) куда лучше должен был бы быть знаком типаж пробивного, умеющего втереться в моду драматурга (совсем не обязательно такого уж коренного русака), получившего премию за сценарий фильма о чекистах, и приобретающего славу песенками с диссидентским душком. Но почему-то этот образ его не привлекает.

катастрофа, после которой от нашего народа, вероятно, уже ничего не останется. Злободневно звучит призыв, приведенный в самом конце предшествующего параграфа: сделать выбор между положением иностранцев без политических прав и гражданством, основанном на любви к родине — он логически адресуется ко всему «Малому Народу». Каждый из тех, кого мы столько раз цитировали, от Амальрика до Янова, имеет право презирать и ненавидеть Россию, но они сверх этого хотят определить ее судьбу, составляют для нее планы и готовы взять на себя их исполнение. Такое сочетание типично в истории «Малого Народа», именно оно приносит ему успех. Оторванность от психологии «Большого Народа», неспособность понять его исторический опыт, которая в обычное время могла бы восприниматься как примитив и ущербность, в кризисных ситуациях обеспечивает важнейшие возможности особенно смело резать и кроить его живое тело.

Что же мы можем противопоставить этой угрозе? Кажется бы, с мыслями можно бороться мыслями же, слову противопоставить слово. Однако дело обстоит не так просто. Уже по тем образцам литературы «Малого Народа», которые были приведены в нашей статье, можно видеть, что эта литература вовсе не результат объективной работы мысли, не апелляция к жизненному опыту и логике. Мы встречаемся здесь с какой-то другой формой передачи идеологических концепций, причем присущей всем историческим вариантам «Малого народа».

Такая очень специфическая деятельность по «направлению общественного мнения» сложилась, по-видимому, уже в XVIII веке и была описана Кошеном. Она вкладывает, например, колоссальную, но кратковременную концентрацию общественного внимания на некоторых событиях или людях, чаще всего, обличенных некоторых сторон окружающей жизни — от процесса Каласа, когда чудовищная несправедливость приговора, разоблаченная Вольтером, потрясла Европу (и про который историки заверяют, что

никакой судебной ошибки вообще не было), до дела Дрейфуса или Бейлиса. Или фабрикацию и поддержание авторитетов, основывающихся исключительно на силе гипноза. «Они создают репутации и заставляют аплодировать скучнейшим авторам и лживым книгам, если только это — «свои» — говорит Кошен. Плохую пьесу можно заставить смотреть благодаря клаке. «Эта же клака, поставляемая «обществами», так прекрасно выдрессирована, что кажется искренней, так хорошо распределена в зале, что клакеры не знают друг друга и часто каждый из зрителей принимает их за публику». Сейчас трудно представить себе, что морализирование Мабли, политические изыскания Кондорсе, история Рейналя, философия Гельвеция, эта пустота безвкусной прозы — могли выдержать издания, найти дюжину читателей, а между тем, все их читали, или, по крайней мере, покупали и о них говорили. Могут сказать — такова была мода. Конечно! Но как понять эту склонность к ходульности и тяжеловесности в век вкуса и элегантности? Точно так же пониманию наших потомков будет недоступно влияние Фрейда как ученого, слава композитора Шенберга, художника Пикассо, писателя Кафки или поэта Бродского...

Таким образом, логика, факты, мысли — одни в такой ситуации бессильны, это подтверждает весь ход Истории. Только индивидуальный исторический опыт народа может помочь здесь отличить правду от лжи. Но уж если у кого такой опыт есть — то именно у нашего народа! И в этом, конечно, главный залог того, что мы сможем противостоять новому явлению «Малого Народа». Наш опыт — трагический, но и глубочайший — несомненно изменил глубинные слои народной психики. Надо, однако, его осознать — облечь в форму, доступную не только эмоциям, но и мыслям, выработать, опираясь на него, наше отношение к основным проблемам современности. Мне представляется, что именно такова сейчас основная задача русской мысли.

Поэтому мы просто не имеем права допустить, чтобы только-только возрождающаяся тяга к осмыслению нашего национального пути была вытоптана, заплевана, чтобы ее столкнули на дорогу крикливой журналистской полемики. Как же тогда защитим мы национальное сознание и особенно сознание молодежи от навязываемого комплекса обреченности, от внушаемого взгляда, что наш народ способен быть лишь материалом для чужих экспериментов?

Много столетий складывается духовный облик народа, вырабатываются органически связанные друг с другом навыки общественного существования — и только опираясь на них, историческая эволюция может создать устойчивые, естественные для этого народа формы жизни. Например, публицисты «Малого Народа» часто подчеркивают, что в русской истории большую роль играло сильное государство — и в этом они, видимо, правы. Но значит, если, по их советам, внезапно полностью устранить каким-то образом роль государства, оставив в качестве единственных действующих в обществе сил ничем не ограниченную экономическую и политическую конкуренцию, то результатом может быть только быстрый и полный развал. Те же самые аргументы приводят к обратному выводу: что государство, по-видимому, должно еще длительный срок играть большую роль в жизни нашей страны. Какую конкретно роль, может показать только сама жизнь.

Конечно, какие-то функции государства могут быть ограничены, переданы другим общественным силам. Само же по себе сильное влияние государства совсем не обязано быть пагубным — равно как не обязано быть и плодотворным. Государство способствовало закреплению крестьян в России в XVII-XVIII веках, но оно же осуществило освобождение крестьян в XIX веке. Можно указать много примеров безусловно положительных важных действий, осуществленных благодаря сильному влиянию государства на жизнь. Например, рабочее законодательство, введенное в

России в конце XIX начале XX века, было на уровне современного западного, а если сравнивать с фазой промышленного развития страны, то сильно опережало его, было выработано гораздо быстрее. Только Англия и Германия имели более прогрессивные законы, во Франции и в Соединенных Штатах юридическое положение рабочих было хуже. У государства, как и у других сил, действующих в жизни народа: партий, церквей, национальных течений и т.д. есть своя опасность, возможность болезненного развития (или соблазны). Для государства — это попытка подчинить своей власти души граждан. Но оно вполне может оставаться сильным, избежав этого болезненного пути. Та же картина почти во всех вопросах — всегда можно найти выход, не порывающий с исторической традицией, и только такой путь приведет к жизненному, устойчивому решению, так как он опирается на мудрость многими веками выроставших, проверявшихся, отбирившихся и пришлифовавшихся друг к другу черт и навыков народного организма. Конкретное осознание этой точки зрения и есть та сила, которую мы можем противопоставить «Малому Народу», которая защитит нас от него.

Тысячелетняя история выковала такие черты национального характера, как вера в то, что судьба человека и судьба народа нераздельны в своих самых глубоких пластах и сливаются в роковые минуты истории как связь с Землей — землей в узком смысле, которая родит хлеб, и с Русской землей. Эти черты помогли пережить страшные испытания, жить и трудиться в условиях иногда почти нечеловеческих. В этой древней традиции заложена вся надежда на наше будущее. За ней-то и идет борьба с «Малым Народом», кредо которого угадал еще Достоевский... *

Человек рождается и умирает, как правило, среди своего народа. Поэтому его окружение воспринимается им как

* Далее идет неразборчивая фраза (ред.)

нечто совершенно естественное и обычно не вызывает никаких вопросов. На самом же деле, народ — одно из поразительнейших явлений и загадок на нашей Земле. Почему возникают эти общности? Какие силы поддерживают их веками и тысячелетиями? До сих пор все попытки ответить на эти вопросы столь явно бьют мимо цели, что скорее всего мы имеем здесь дело с явлением, к которому стандартные приемы «понимания» современной науки вообще не применимы. Легче указать, зачем народы нужны людям. Принадлежность к своему народу делает человека причастным к Истории, загадкам прошлого и будущего. Он может чувствовать себя не просто частичкой «живого вещества», зачем-то перерабатываемого гигантской фабрикой Природы. Он способен ощутить (чаще — подсознательно) значительность и высшую осмысленность земного бытия человечества и своей роли в нем. По аналогии с «биологической средой», народ — это «социальная среда обитания» человека: чудесное творение, поддерживаемое и созданное нашими действиями, но не по нашим замыслам. Во многом она превосходит возможности нашего понимания, но часто и трогательно-беззащитна перед нашим бездумным вмешательством. На Историю можно смотреть как на двусторонний процесс взаимодействия человека и его «среды социального обитания» — народа. Мы сказали, что дает народ человеку. Человеком же создаются силы, скрепляющие народ и обеспечивающие его существование: язык, фольклор, искусство, осознание своей исторической судьбы. Когда этот двусторонний процесс разлагается, происходит то же, что и в природе: среда превращается в мертвую пустыню, а с ней гибнет и человек. Конкретнее, исчезает интерес человека к труду и к судьбам своей страны, жизнь становится бессмысленным бременем, молодежь ищет выхода в иррациональных вспышках насилия, мужчины превращаются в алкоголиков или наркоманов, женщины перестают рожать, народ вымирает.

Таков конец, к которому толкает «Малый Народ», неус-

танно трудящийся над разрушением всего того, что подерживает существование «Большого Народа». Поэтому создание оружия духовной защиты от него — вопрос национального самосохранения. Такая задача посильна лишь всему народу. Но есть более скромная задача, которую мы можем решить только индивидуально: **с к а з а т ь правду**, произнести, наконец, боязливо умалчиваемые слова. Я не мог бы спокойно умереть, не попытавшись этого сделать.

Ефим ЭТКИНД

БЕЗ МАСКИ

**А нам, евреям, повезло:
Не прячься под фальшивым флагом.
На нас без маски лезло зло, —
Оно не притворялось благом.**

Борис Слуцкий

Перед нами — «трактат», проникнутый фанатической убежденностью: автор безоговорочно верит в утверждаемую им зловерность евреев, в их губительность для России, в их роковое влияние на незащищенные юные души, на детей духовно порабощаемого ими русского народа. Последняя фраза «трактата» звучит патетически — Шафаревич видит свою задачу в том, чтобы **«сказать правду, произнести, наконец, боязливо умалчиваемые слова»**. И добавляет: **«Я не мог бы спокойно умереть, не попытавшись этого сделать»**.

«Боязливо умалчиваемые слова»: речь идет о вредоносности евреев. Уже в самом начале своего сочинения И. Шафаревич, деликатно подступая к взрывчатой теме, оговаривается: **«Мы неизбежно сталкиваемся с одним вопросом, находящимся под абсолютным запретом во всем современном человечестве. Хотя ни в каких сводах законов такого запрета нет, хотя он нигде не записан и даже не высказан, каждый знает о нем, и все покорно останавливают свою мысль перед запретной чертой»**. Однако И. Шафаревича этот запрет не удручает, и он

воскликает: «Не всегда же так будет, не вечно же ходить человечеству в таком духовном хомуте!» (с.2).*

Скажем иначе то, что здесь подразумевает наш автор: после Освенцима порядочные люди во всем мире решительно осуждают антисемитскую травлю, которая могла раньше, до чудовищных преступлений нацизма, казаться чуть ли не безобидной (если она не выражалась в погромах) — одной из многочисленных форм идеологических расхождений. Однако после газовых камер и душегубок, после Бабьего Яра и Треблинки стало ясно, к чему приводит культивирувавшаяся много лет ненависть к евреям, которую раздували и церковь («Они распяли Христа»), и теоретики расизма («Они недочеловеки, они губят чистоту нашей — арийской или славянской — расы»), и социалисты («Они ростовщики, воплощение финансового капитала»), и националисты-патриоты («Они космополиты, помеха национальному возрождению, потенциальные шпионы»), и малограмотные обыватели («От них пахнет чесноком»), и традиционалисты («У них нет корней, они ненавидят наше священное прошлое»), и, наконец, всякие деклассированные подонки, городская шпана, одурманенная жаждой убийств и насилий и знающая, что удовлетворить свою кровавую похоть проще всего, нападая на евреев — кто их будет защищать? Все эти предрассудки и ненависти слились в сочинениях Альфреда Розенберга и Иозефа Геббельса, а также в истреблении евреев сначала в гитлеровской Германии, а затем — немцами — во всей Европе, и в сталинской кампании против космополитов, достигшей высшей точки в 1952-53 годах: расстрел еврейских писателей, провокационное дело врачей-убийц, которое не окончилось депортацией всех советских евреев и их физической гибелью только из-за смерти Сталина.

Да, передовое человечество единодушно согласилось соблюдать запрет на пропаганду расистских «теорий», люди поняли, что начинается игра с шутовой песенки «Два еврея, третий жид по веревочке бежит...», а кончается ядовитым дымом треблинских крематориев. Во «Всеобщей Декларации прав человека», принятой ООН 10 декабря 1948 года, говорилось о том, что «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира», и что «пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества». Через сорок лет после этой Декларации появляется «трактат», подписанный именем известного математика, в котором ее принципы наглядно опровергнуты. И. Шафаревич не скрывает своего несогласия с признанием «равных и неотъемлемых прав» для всех «членов человеческой семьи»: евреи — не такие, как прочие члены семьи, они порочны по природе. Шафаревич подробно утверждает это людоедское открытие в главе 9, озаглавленной «Прошлое и настоящее» — здесь приводятся следующие доводы:

— основная причина зловредности евреев — религиозная, связан-

* В скобках указаны страницы по машинописному, самиздатовскому экземпляру «Русофобии» (примечание редакции).

ная с верой в «избранный народ», в предназначенную ему «власть над миром»; приводятся цитаты из Ветхого Завета — из книг Исаяи и Ездры, где якобы говорится о презрении иудеев к иноверцам. «Какой другой народ воспитывался из поколения в поколение на таких заветах?» — вопрошает Шафаревич, не замечая, что все его рассуждения не поднимаются выше печально-анекдотических «Протоколов Сионских мудрецов»;

— другая причина — «самая очевидная» — «почти двухтысячелетняя изоляция и подозрительное, враждебное отношение к окружающему миру». Двадцать веков изоляции привели к тому, что евреи стали смотреть на других, утверждает наш автор, как на «животных с человеческими лицами»; они справляют свой «Пурим» — праздник умерщвления ими, евреями, «75 тысяч их врагов, включая женщин и детей...» (94-95). Полно, читал ли Шафаревич библейскую Книгу Эсфири, из которой он почерпнул этот факт? Там все иначе истолковано, и говорится в библии не об «умерщвлении», а о самозащите, о предотвращении истребительного погрома, имевшего целью уничтожение евреев как народа;

— евреям свойствен культ ненависти к другим расам и народам, и это проявляется в стихах Бялика и прозе Бабея, в поэзии Багрицкого и даже... в романе Ильфа и Петрова. Оказывается, смысл «Двенадцати стульев» в том, что дворяне, священники и интеллигенты «вызывают брезгливость и отвращение», и что «истребление их — нечто вроде веселой охоты, где дышится полной грудью, лицо горит, и ничто не омрачает удовольствия...». Истребление? В книгах Ильфа и Петрова? (Ну ладно, — Ильф — еврей, но Петров за что попался Шафаревичу под перо? Он-то ведь честный Петров...)

Дойдя до этих примеров, я подумал: а надо ли спорить с Шафаревичем? Случай-то ведь явно клинический (вспомнился мне бухгалтер Берлага из «Золотого теленка» и его присказка: «Эне бене раба квинтер финтер жаба»). Чем же, кроме патологии, можно объяснить такое чтение «Двенадцати стульев»? И даже библейской Книги Эсфири? И даже «Конармии»?

Вернемся, однако, к существу дела. Выходит, что евреи вот уже две тысячи лет как воспитываются, поколение за поколением, на ненависти ко всем другим и на желании убивать всех неевреев. Рассматриваемая глава кончается вот какой формулой: евреями руководит «не любовь к родине, а полная отчужденность, активная враждебность ее духовным началам».

Можно ли таким злодеям предоставлять права, заявленные в Декларации ООН? Разумеется, нельзя: они используют эти права, как и все остальное, на погибель человечеству и уж во всяком случае России. Можно ли их перевоспитать? Разумеется, нет: ведь их две тысячи лет воспитывали в духе злодейства, где же взять еще две тысячи лет, чтобы внушить им противоположные принципы?

Так что же с ними делать?

Этого Шафаревич прямо не говорит. Он только пугает своих читателей, уверяя их, что перед используемой евреями «отточенной, проверенной на практике, усовершенствованной долгим опытом технической обработки мозгов растерянная молодежь оказывается абсолют-

но беззащитной» (104). Мало того. Все эти русофобы, ненавидящие Россию, только о том и думают, чтобы «определить ее судьбу, составляют для нее планы и готовы взять на себя их исполнение» (105). Как же предотвратит захват власти Григорием Померанцем, Александром Яновым, Борисом Шрагиным и Абрамом Терцом? Шафаревич колеблется — борьба предстоит нешуточная.. Но вот решение, которое он в конце концов предлагает: усиление государственной власти. Россия, полагает он, всегда выигрывала от мощного государства: оно, благодетельное государство, освободило крестьян, оно сплотило нацию, оно ввело прогрессивнейшее в мире рабочее законодательство (откуда только взялись революционеры? Ах, да, то ведь были предатели-инородцы...). Беспощадное государство «Это и есть та сила, которую мы можем противопоставить «Малому Народу», которая защитит нас от него» (108).

Несчастливая, обреченная Россия — вся она во власти коварного «Малого Народа»!.. И спасти Россию может только могущественное государство. Иначе говоря, против евреев — диктатура. Какая? Из всего «трактата» ясно, какая: **национальная**. Национально-русская диктатура — против еврейской «образованщины». Здесь красноречие Игоря Шафаревича обрывается: он умолкает. Какое государство? А сами догадайтесь. Одна лишь черта этого режима отмечена мимоходом: если «внезапно полностью устранить каким-то образом роль государства, оставив в качестве единственных действующих в обществе сил ничем не ограниченную экономическую и политическую конкуренцию, то результатом может быть только быстрый и полный развал». (107). В самом начале своего труда Шафаревич заявлял, что демократии западного типа для России не годятся, да и вообще они свой век отжили и все на ладан дышат... Значит, русское государство должно быть: а) сильным, б) национально-русским, в) направленным против евреев, г) сдерживающим разнонаправленные хаотические силы свободного рынка — централизующим экономику, д) ограничивающим (или: парализующим) политические свободы.

Какая знакомая модель! Всякий, знакомившийся хотя бы поверхностно с Третьим Рейхом, непременно снимет шляпу — ба, да ведь это он, это новый Рейх, четвертый по счету. Совпадают все черты. Вот к чему пришел известный советский математик. Его решения оказались, как сказали бы его коллеги, весьма тривиальны.

Впрочем, в его сочинении немало и других элементов, заимствованных у разных славных предшественников. Мы узнаем то одного, то совсем другого. То Розенберг слышится, то «Дер Штюрмер», то, глядишь, Шульгин, а то и Жданов или газета «Культура и жизнь» (названная злокозненными евреями тех лет «Культура и смерть»). Например, характеристика евреев как народа, тысячелетиями воспитанного в духе вражды к человечеству. Или обличение писателей, поэтов, философов, художников, музыкантов, представляющих антипатриотические или просто антинациональные силы. Шафаревич яростно нападает на Вольтера (...бодался теленок с дубом!), — о нем сказано: «...взгляд на собственную историю, как на сплошную дикость, грубость, неудачу — все эти «Генриады» и «Орлеанские девствен-

ниц»... И убеждение в том, что все разумное следует заимствовать извне, тогда — из Англии: им проникнуть, например, «Философские письма» Вольтера... И, в частности, копирование чужой политической системы — английского парламентаризма». (42). Или вот еще на кого он бросается с бешенством — Генрих Гейне: «Предметом его постоянных злобных, часто грязных и от этого уже и не остроумных нападок было, во-первых, христианство... А, во-вторых, немецкий характер, культура, история» (46). Нашего автора очень оскорбляет конец поэмы Гейне «Германия. Зимняя сказка», где, как справедливо сообщает Шафаревич, Гейне сравнивает «будущее Германии со звоном, исходящим из ночного горшка» (46). Такой эпизод в конце поэмы есть, и надо удивляться не «злобности» антипатриота Гейне, а его гениальной прозорливости: почти за столетие он предвидел злое влияние немецкого расизма. Хотя Шафаревичу, выставляющему Третий Рейх в качестве желанной модели, пророчество Генриха Гейне импонировать не может.

Вольтер, Гейне — сколько их поносили нацистские целкоперы: Шафаревич не отстает от своих учителей и предшественников, он развивает их идеи. Читаем: «... пониманию наших потомков будет недоступно влияние Фрейда, как ученого, слава композитора Шенберга, художника Пикассо, писателя Кафки или поэта Бродского... (106). В среде евреев затесался один гой, Пикассо — но это вполне в духе нацистской критики, не упуская случая лягнуть лидера «растленного авангарда» (тут, как и во многом ином, германский фашизм встречался с советским). Шафаревич не щадит и Герцена: в связи с ним он цитирует Достоевского, где-то заметившего, что «существуют люди, так и родившиеся эмигрантами, способные прожить так всю жизнь, даже никогда и не выехав за границу» (55).

Вообще, «культ эмиграции» для нашего автора — еврейская черта. Он с брезгливым презрением говорит: «Можно не сомневаться, что в случае любого кризиса они будут опять здесь в роли идейных вождей, муками изгнания выстрадавших свое право на руководство. Недаром так упорно поддерживается легенда, что все они были «высланы» или «выдворены» — хоть и долго обивали пороги ОВИРа, добиваясь своей визы» (53). Отвращение к эмигрантам — тоже черта нацистской ментальности, совпадавшей с настроениями сталинско-брежневского режима. Шафаревич, как видим, часто оказывается близок к обоим тоталитаризмам.

Любопытно, что многое в его стиле (не говоря уж об аргументах) буквально совпадает с антисемитской фразеологией эпохи борьбы против космополитов (1948-1953). Так же, как черносотенные журналисты той поры, он не упускает случая сопроводить нейтрально звучащий псевдоним еврейской фамилией в скобках — дескать, не уйдешь от расплаты, не спрячешься за нашим русским языком! После слов «поэт Коржавин», конечно, напечатано Э. Мендель (с ошибкой — надо Н. Мандель. Но «Мандель» более по-еврейски, чем «Мандел») (56). После Белобородова в скобках дано: Вайсбарт (85). После Емельяна Ярославского читаем: Миней Израилевич Губельман (85). И дальше: Румянцев (Шнайдер), Кандидов (Фридман), Захаров (Эдельштейн),

Яковлев (Эпштейн). Ну, чем не газета «Культура и жизнь» 1949 года? Даже после фамилии Синявский указано в скобках: «АбрамТерц», хотя в данном случае явление обратное: в скобках указан псевдоним. А нечего русскому человеку подписываться жидовским именем — это даже еще и хуже, чем быть евреем от природы!

Да и вся гневная лексика И. Шафаревича сближает его с его предшественниками и единомышленниками — сталинскими погромщиками, разоблачавшими «критиков-антипатриотов», «беспачпортных бродяг в человечестве», «лишенных национальных корней», «ненавидящих национальные традиции русского народа».

Всем этим заниматься было бы ни к чему — мало ли приходится читать клеветнической стряпни? Но под «трактатом» стоит имя «Шафаревич» — имя математика с мировой известностью. Неужели это так, неужели не подделка? Мы будем счастливы, если получим опровержение. Если узнаем, что профессор Игорь Шафаревич к этому человеконенавистническому и вульгарному пасквилю никакого отношения не имеет и что его именем воспользовался какой-нибудь погромщик из кругов «Памяти».

ПОСТСКРИПТУМ

Этот материал уже был набран и сверстан, когда мы увидели номер журнала «Вече», издающегося в Мюнхене: трактат «О Русофобии» здесь опубликован полностью — и под именем И. Шафаревича. Мы, однако, решили не отказываться от нашей публикации: «Вече» читает лишь небольшой круг единомышленников. О том, что собою представляет этот журнал, читателю известно из статьи «Православие, самодержавие, народность» («Время и мы», № 67, 1982); совсем недавно в «Вестнике Христианского Движения» (№ 153, 1988) главный редактор этого (отнюдь не либерального) журнала назвал «Вече» изданием черносотенным. Редакция «Вече» возмутилась такой характеристикой и ответила Никите Струве грубой отповедью. А, собственно, почему? Можно ли сочувственно печатать антисемитский «трактат» Шафаревича и возмущаться, если тебя причисляют к «черной сотне»? Призывы к погрому — разве не это было главным смыслом черносотенства? И разве не это составляет главное содержание рассматриваемого «трактата»? Впрочем, известная разница очевидна. Членам «Союза Русского Народа» и «Союза Михаила Архангела» не могли даже присниться газовые камеры Освенцима и крематории Треблинки.

Приведу в заключение несколько строк из книги В. Гроссмана «Жизнь и судьба» — того самого В. Гроссмана, о котором И. Шафаревич с презрением написал как о «руководящем пропагандисте сталинского времени» и который в своей великой книге нанес тяжелейший удар по обоим тоталитаризмам нашего века:

«Антисемитизм есть зеркало собственных недостатков отдельных людей, общественных устройств и государственных систем. Скажи мне, в чем ты обвиняешь евреев, и я скажу, в чем ты сам виноват (...)

Антисемитизм есть выражение бездарности, неспособности победить в равноправной жизненной борьбе, всюду — в науке, в торговле, в ремесле, в живописи. Антисемитизм — мера человеческой бездарности (...)

К антисемитизму прибегают перед неминуемым свершением судьбы и всемирно-исторические эпохи, и правительства реакционных неудачливых государств, и отдельные люди, стремящиеся выправить свою неудачную жизнь.

Были ли случаи на протяжении двух тысячелетий, когда свобода, человечность пользовались антисемитизмом как средством своей борьбы? Может быть, и были, но я не знаю таких».

«Трактат» И. Шафаревича еще раз подтверждает правоту Гроссмана.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИИ

Автор предлагаемых воспоминаний профессор Давид Семенович Азбель — человек легендарной судьбы. Жизнь его сложилась так, что, начиная с двадцатых годов, он оказался в среде кремлевской элиты, познав на собственном опыте, что представляли собой ее нравы еще на заре советской власти. Внутренне не приемля их и будучи человеком бескомпромиссным, он заплатил за свое свободомыслие тяжелую цену: шестнадцать лет сталинских лагерей. Однако, главная тема предлагаемых глав не «Архипелаг ГУЛАГ», а эпоха, предшествовавшая ему.

Автор не просто декларирует, что приход сталинизма подготовила вся история советского общества, но показывает как это было, что происходило в недрах этого общества, как деформировались сознание и души его граждан.

Перед нами проходит целая галерея современников автора: Бухарин, Слепков, Раковский, Осинский, Горький, Ежов, Михаил Кольцов, Андрей Свердлов, Подвойский — все они и известные и малоизвестные — действуют в типических обстоятельствах своего времени, помогая воссоздать ту предгрозовую эпоху, которая обернется величайшей трагедией для советского общества. В этом смысле можно сказать, что воспоминания Давида Азбеля — это ценнейшее свидетельство времени, а можно сказать, что это волнующий рассказ о силе человеческого духа, который в мрачную эпоху Сталина не могли сломить никакие превратности судьбы.

ИЗ ПРОШЛОГО
И НАСТОЯЩЕГО



Давид АЗБЕЛЬ

ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

ГЛАВА 1

К концу мая 1947 года я разменял тринадцатый год заключения. В это время отбывал я срок на шарашке, в специальной тюрьме для ученых, и занимался научной работой. Затем внезапно очутился в Бутырской тюрьме, в камере смертников.

В действительности, все мои злоключения начались на несколько недель раньше, после того как профессора Вознесенского, моего коллегу по шарашке, навестил начальник четвертого спецотдела МВД генерал Кутепов.

Генерал предложил профессору сделку: свободу (не в Москве, конечно, — на Урале) взамен на согласие принять участие в проекте создания атомной бомбы. Аналогичное предложение было сделано и другим химикам, обитающим на шарашке. Возбуждение в нашей среде росло с каждым

часом: в лабораториях и конструкторском бюро только и разговоров было что об этой эфемерной свободе.

За два месяца до охватившей нас атомной лихорадки инженер-лейтенант Шукин, наш куратор из четвертого спецотдела МВД, поручил мне сделать перевод с английского некоторых секретных материалов об атомной бомбе и нескольких журнальных статей, описывающих результаты атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки. Мне было строго предписано никого в мои переводы не посвящать. Но при общем возбуждении где тут удержишься: рассказал своим коллегам все, что вычитал из журналов, и почувствовал тем, кого завербовали на «атом». Дернул же черт за язык!

Мои разговоры были расценены, как призыв к неповиновению, чуть ли не как нанесение ущерба обороне СССР. Да и в чисто личном плане мое начальство было крайне оскорблено. Они ведь доверили мне «государственный секрет», создали для меня такую чудесную жизнь, а я оказался столь неблагодарен. Решено было меня проучить, да и другим показать, к чему ведет наличие особого мнения.

Утро, когда я был изгнан с шарашки, не предвещало ничего дурного. Напротив, был ясный солнечный день, и на душе было спокойно. Я принял душ, побрился, приоделся в выездной костюм (при жилетке, галстук и часах). Предстояло совещание в Министерстве химической промышленности, где рассматривался проект, в разработке которого я принимал участие. Мой спутник был в меру любезен, но это не мешало ему держать руку в кармане и палец на курке револьвера — так, на всякий случай!

Согласно тюремным правилам, наш статус должен был храниться в тайне: мы выступали как сотрудники четвертого спецотдела МВД. Мой спутник не только опекал меня, но и принимал участие в обсуждении проекта. Он не терялся, когда его спрашивали. «Я, конечно, согласен с Давидом Семеновичем: его подход совершенно правилен». Никто из присутствующих, разумеется, не догадывался, что

этот болван и расписаться мог с трудом — что с него возьмешь? Четыре класса на двоих!

Назад, после совещания, везли меня в открытой машине. Как прекрасна жизнь, когда имеешь шанс смотреть на нее не сквозь тюремную решетку, пусть даже тебе предстоит через каких-нибудь пятнадцать минут возвратиться вновь в свою золотую клетку.

Уже давно я стал фаталистом, научился не спрашивать «почему» и «зачем» и, подобно губке, с жадностью впитывал в себя каждое новое впечатление. В любой ситуации я научился устраиваться, как бы навечно и в любой момент готов был идти на вахту с вещами, ничему не удивляясь.

Так вот, не успел я еще снять «выездной» костюм, как меня вызвали к начальнику шарашки. Это был не в меру тучный человек с круглой заплывшей физиономией и маленькими пронизывающими насквозь глазками. Человек он был вежливый — как-никак имел дело с учеными и как правило избегал щекотливых ситуаций. И прием был оказан мне соответствующий. Улыбка не сходила с его лица, когда расспрашивал о моей поездке в министерство.казалось, что он намерен был наградить меня чем-то необычным — перевести на профессорский рацион или устроить внеочередное свидание с родными. «Ну, а теперь, уважаемый Давид Семенович, — произнес он вкрадчивым голосом, — ваши друзья на ленинградской шарашке с нетерпением ожидают вас. Они нуждаются в вашей консультации».

Я понимал, что это вранье: никто меня в Ленинграде не ждал. Работы, проводимые на Ленинградской шарашке, были, вообще, вне сферы моей компетенции. Меня ждал э т а п, но я и виду не показал, что знаю, а тем более, что обеспокоен.

Я только спросил: когда?

Начальник ответил: н е м е д л е н н о ! Шофер ждет вас, чтобы отвезти на Ленинградский вокзал.

— Должен ли я явиться на вахту с вещами? — саркастически спросил я.

— Конечно, конечно! — улыбнулся начальник. Мы пожали друг другу руки и расстались навсегда.

На шарашке особенно ценилась взаимная вежливость: не хотелось подводить остающихся коллег.

На сборы мне дали полчаса. И это к лучшему — меньше жалких слов, неискренних сочувствий. Жаль было, конечно, лишиться чистой постели, человеческой пищи, свиданий с родными...

Шумные московские улицы мелькали в теплом вечернем воздухе. Монотонный, приглушенный шум голосов шел от толпы прохожих. Эти улицы были так близки и так далеки от меня. Калейдоскоп уличных впечатлений прервался у больших стальных ворот Бутырской тюрьмы. Машину, в которой меня везли, пропустили внутрь тюремного двора. Водитель ввел меня в «бутырский вокзал», тюремный зал ожиданий длиной порядка ста метров, облицованный множеством дверей, удивительно близко расположенных друг к другу.

Два дня меня держали на «вокзале», в одиночке, пока решали, что со мной делать. Обхождение было корректным, пища превосходная — из буфета для следователей, в туалет выпускали без задержки. Я по-прежнему был в «выездном» костюме, переданным мне по эстафете от неизвестного зека, которого, пожалуй, и в живых-то нету.

На третий день все пришло в норму: четыре надзирателя в синих халатах вошли ко мне в бокс. Начался обыск. Раздели догола. Приказали открыть рот, поискали за зубами и под языком, благо искать было незатруднительно: после перенесенной в лагере цынки количество оставшихся зубов было невелико. Проверяли даже внутренности — вручную в резиновых перчатках.

Затем последовала хорошо знакомая арестантская процедура: фотографирование, «игра на рояле» (снятие отпечатков пальцев), душ. И вот уже в грязных лагерных

лохмотьях я следую за надзирателями по пустынному тюремному двору.

— Руки назад! Голову вниз! Не оглядываться! «Шаг вправо, шаг влево — конвой применяет оружие без предупреждения!» — повторяю я, как попка, арестантское отче наш.

Провели меня мимо бывшей тюремной церкви, где заключенные ожидали, как они полагали, спасительного этапа, прошли мимо Пугачевской башни с ее самыми строгими карцерами. Знал я их основательно и совсем не как турист. Ввели в мок (мужской одиночный корпус) — там тоже приходилось бывать, затем шли по коридорам, разделенным тяжелыми металлическими дверьми. Надзиратели стучали ключами по пряжкам своих ремней: внимание, веду заключенного! Дверей было столько, что я им потерял счет. Ключи надзирателей подходили к каждой. Но, наконец, подошли к двери, где ключи не сработали. Примета не из лучших.

Очутился в коридоре, устланном толстой ковровой дорожкой. Сообразил сразу — я в коридоре смертников. Такой удручающей тишины мне еще не доводилось испытывать.

Камеру, куда меня привели, стараюсь не замечать. Благо есть возможность спать без ограничений. Напряженно вслушиваюсь в тишину, не повернется ли ключ в двери? Того, кто побывал в камере смертников, считают, что он получил свой срок через «испуг». Ко мне испуг пришел с опозданием на тринадцать лет.

С чего все это началось? Не с шарашки, конечно! Словно археолог, ведущий раскопки, тщательно снимаю пласт за пластом из истории своей жизни.

ГЛАВА 2

...Город Чернигов, где я родился и прожил до восьми лет, был небольшой, хотя официально и числился губернским. Был он довольно чистый и особенно поэтический

весной, когда цветут белые акации. Мы жили на окраине города. Улица наша, Хлебопекинская, была немощеной, местами на ней росла трава. После дождя было не пройти, не проехать, зато ее лужи были раздольем для мальчишек.

Как сейчас передо мной дедушка, который улыбается мне добрыми глазами и вдруг говорит: «Закрой глаза». Я закрыл, а когда открыл их снова, то увидел медную копейку, лежащую поверх книги. Это была «копейка с неба». Сколько мне было лет? Три, может быть, четыре. Это было, пожалуй, мое самое раннее впечатление детства. Позднее, когда я стал старше, дедушка, вспоминая этот случай, говорил, что даже крохой я не верил в то, что копейки падают с неба. «Ты был рожден скептиком, ты шейгец», — смеялся дед, будучи в хорошем расположении духа. В понятие «шейгец» вкладывалось несколько значений. Временами, шейгец — это еретик, тот, кто не верит, что Господь бросает монеты с неба; временами — озорник. Последнее, наверное, и относилось ко мне, не в меру подвижному, синеглазому, белоголовому мальчугану по имени Давид, мало отличавшемуся от русских ребятишек, с которыми он играл и дрался.

Люди на Хлебопекинской жили тихо, ничего не хотели, ничего не ждали. Предпочитали быть такими, как все.

Вести из столиц — Петрограда, Москвы, Киева — приходили к нам с большим опозданием и к тому же часто искаженными. Война проходила стороной. Без единого выстрела в 1918 году в город вошли немцы. Затем поочередно вступали войска гетмана Скоропадского, Петлюры, большевиков. Домовладельцы не успевали менять флаги.

Приходу новой власти обычно предшествовала артиллерийская канонада, которая возвещала близкую перемену. Смерть уже никого не удивляла. Люди спускались в подвалы, отсиживались там. Но, когда в городе играли военные трубы, любопытство все же брало верх. Выползали наружу. Хотелось посмотреть, как дефилировали по

улицам войска: опереточные гадамаки с длинными синевато-черными чубами-оселедцами на бритых головах, или желтые жупаны гетмана Скоропадского, или конница большевиков.

Когда в городе войск не было, он доставался «зеленым» — бандитским шайкам, скрывавшимся в окрестных лесах, которые грабили и убивали мирных жителей, и никто тогда не рисковал высунуть нос, даже дети.

После каждого ухода властей, мы, мальчишки, первые выползали на улицу. Нужно было торопиться, чтобы захватить оставшиеся трофеи — неиспользованные патроны, сломанные винтовки, шашки.

Но вот канула в лету пора детских игр. За несколько дней я повзрослел, и уже сам убегал на Соборную площадь. Там, в зависимости от того, какая власть в городе, пели «Марсельезу», «Интернационал», или «Ще не вмерла Украина». С шатких помостов ораторы к чему-то призывали, кого-то разоблачали, и я вместе со всеми кричал «долой» или «ура», не понимая толком за кого и почему кричу. Мне было просто приятно кричать, чувствовать себя участником чего-то большого.

В камере смертников трудно сосредоточиться на этих далеких воспоминаниях: каждый час ждешь, что за тобой придут. Контакт с сокамерниками пока установить не удастся. Один из моих сокамерников — личный представитель Гитлера в армии генерала Власова; другой — просто бандит, на счету которого не один десяток человеческих жизней. Интересно, к какой группе относят мои покровители из МВД меня?

Вспоминаю душный летний вечер в Чернигове. Город в бледных отблесках солнца от оконных стекол. С юга приближаются деникинцы. Со знакомым воем снаряды пролетают через город. Всю ночь красные отходят в сторону Гомеля.

Мы с мамой плетемся за ними, изнемогая от усталости, с трудом вытягивая из грязи размокшие башмаки. На рас-

свете увидели большую заброшенную хату с гнилой соломенной крышей. Она стояла на опушке леса, который издали казался нам таким величавым и успокоительным. Мы решили передохнуть в этой хате, в ней и захватили нас «зеленые». Маму повели в лес. Она судорожно хватала за руки бандитов, умоляла не трогать меня. «Мы не душегубы. Дите трогать не будем», — пробурчал пьяный атаман. Вскоре маму увели в глубь леса, и я остался один, один на всем божьем свете: маму повесили только потому, что она была еврейкой.

...Сквозь десятилетия, сквозь многие годы нелегких дорог сохранился в моей памяти этот осиновый перелесок под Гомелем. В предрассветных сумерках иду я совершенно один. Стараюсь не встречаться с людьми, которые стали теперь опаснее зверей, обхожу стороной деревеньки и выселки, ночи провожу в лесу, пока к вечеру третьего дня вдали не возникают огни железнодорожной станции. При станционной водокачке увидел я на заборе надпись: «Свобода. Равенство. Братство». Удивился, к кому относятся эти лозунги и подался на станцию. Я обещал маме во что бы то ни стало найти тетю Иду в Москве. Тогда я не представлял, что до Москвы буду добираться несколько месяцев.

Я видел Россию нищую и разрушенную, злую и покорную. В поезд забраться было не легко. Брали теплушку приступом, ватагой в десять, пятнадцать человек. Лезли по головам. На разъездах товарные поезда простаивали часами, мимо станций паровоз пролетал с диким свистом. Временами поезд останавливался в пути. Ревели гудки, приглашая пассажиров грузить дрова, чтобы ехать дальше. Люди бежали от смерти, ехали куда глаза глядят.

В 1935 году, в одиночке на Соловках, я прочел: «Человек каждые семь лет полностью обновляется, ни одной старой клетки в нем не остается». И все же прошлое не исчезло. Оно во мне.

Свою книгу воспоминаний я назвал «До, во время и после», что само по себе говорит о моем намерении излагать по порядку, согласно логике и потоку жизни. Но чувствую, не в силах следовать этой заданности: события более поздние врываются в память, то и дело вспоминаются факты, которые мало вяжутся с детством.

Мне кажется, не хватит и томов для описания моей лагерной жизни, вот она в одном лишь протокольном перечне, в разрезе пройденных через ГУЛАГ 16 лет:

1935 год. Арест. Одиночка на Лубянке, одиночка в Бутырке, одиночка в Соловецком Кремле.

1938 год. Снова Лубянка и снова одиночка в Бутырке. Бутырская пересылка.

1940 год. Знаменитый Орловский централ.

1941 год. Лубянка. Бутырка. Саратовская тюрьма. Окончание срока. Смертельная голодовка против продолжения заключения. Клиническая смерть. За голодовку — 10 лет дополнительно.

1942 год. Орская Исправительно-трудовая колония.

1945 год. Лагерь на станции Креж, близ Куйбышева.

1947 год. Бутырка. Шарашка. Камера смертников в Бутырке. Архангельская пересылка. Дудинская пересылка. Норильск, Красноярская пересылка.

1948 год. Лагерь в Сибирском совхозе «Таежный».

1949-1951 годы. Лагерь на станции Злобино. Норильский комбинат. Красноярский порт...

И это один лишь перечень... Само же прошлое всплывает безо всякой логики: где и что именно происходило, где было тягостнее, где полегче, все встает как одна мгла и одна очень длинная ночь. Но более всего в памяти почему-то допросы, палачи и жертвы, часто рядом, словно идущие под руки. Воистину наша память — это вещь в себе.

В 1938 году я встретил на пересылке командира авиационной дивизии Васильева. Он служил на Дальнем Востоке, и следствие решило сделать из него японского

шпиона. Он был не профессиональный политик, а обычный, трезвомыслящий человек. И в его голове никак не укладывалось, что он должен признаваться в преступлениях, которые не совершал. Чем больше Васильев сопротивлялся, тем больше его били. Били нещадно, методично, два месяца подряд. Палачи с партийными билетами задались целью сломить раз и навсегда его волю, а заодно осквернить его совесть, сделать предателем и клеветником. Сколько дней может человек выносить пытки? Пять? Десять? Пятнадцать? Васильев выдержал шестьдесят суток. После этого начал давать «показания», но решил схитрить. Сказал следователю, что его завербовал в японскую разведку Чио-Чио-Сан. Следователь мало разбирался в искусстве. Но когда дело пошло на военную коллегия, ее председатель, Ульрих, знавший, разумеется, о существовании оперы «Чио-Чио-Сан», усомнился в правдивости свидетельств Васильева.

— Что заставило вас, подсудимый, давать ложные показания?

— Меня били.

— Чем вы это докажете?

Васильев продемонстрировал судье черную от побоев спину: солдаты, стоящие позади заключенного, не успели ему скрутить руки.

И что же Ульрих?

Вместо расстрела Васильев получил десять лет за «провокацию органов следствия» и «за оскорбление суда».

А вот иная встреча. Относится она к 1937 году, когда я встретил на Лубянке члена коллегии Наркомфина Полюдова. Я знал его на воле, слышал о его способности к самобичеванию, об умении каяться по поводу и без повода. Недаром Полюдов был десять лет на руководящей работе — за эти годы он созрел для многого. Выходец из сибирских казаков, он стал служить своим сегодняшним хозяевам чекистам. Чтобы не опоздать, Полюдов в первый же день заключения составил длинный, порядка ста чело-

век, список «завербованных». Не пожалел он и своего родственника, заместителя наркома иностранных дел Майского. «Называйте как можно больше фамилий, советовал Полюдов, всех не арестуют. Система террора зайдет в тупик». Те, кто считал, что сидят в своей тюрьме, полагали, что они должны помогать следствию и этим оправдывали свою ложь и предательство.

Пришла мне на память в камере смертников и еще одна судьба — Михаила Александровича Кедрова, с которым я познакомился в 1926 году. Он поселился со своей молодой женой, красавицей Ревеккой, в большой комфортабельной квартире на Солянке. В то время о Кедрове я знал немного. Знал, что его первая семья жила в соседнем с нами номере в «Национале», что у него были два сына — Гоша и Бонифатий. Первый чуть ли не с тринадцати лет пошел работать в ЧК-ГПУ. К моменту Московских показательных процессов стал главным следователем, готовившим этот кровавый спектакль. Бонифатий занялся философией и дослужился до академика.

Михаил Александрович Кедров производил чарующее впечатление. Высокий, стройный брюнет с тонким точеным носом, чувственными губами и глубоко посаженными добрыми, всепрощающими глазами. Казалось, он только что сошел с иконы и явился в мир, чтобы делать людям добро. Я часами слушал его вдохновенную игру на рояле. В ней было столько задушевной лиричности и незабываемой экспрессии, что, казалось, он весь был во власти одной, захватывающей идеи, которая не терпит соперниц, пока царит в его сознании. И все это трансформировалось в Кедрове, как некий комплекс возмездия, в карающий меч, проявившийся в столь страшной и демонической форме в Архангельской ЧК. Не было более страшного инквизитора и палача, чем столбовой дворянин, тишайший Михаил Александрович и садистка, темпераментная красавица Ревекка.

О многих, подобных Кедрову, еще речь впереди, а пока что назад, к событиям детства, а, может быть, и не детства. Кто знает, когда оно кончилось в моей жизни?

ГЛАВА 2

В декабре 1919 года я добрался, наконец, до Москвы. Город показался мне мертвой пустыней, занесенной снегом. Среди улиц — протоптанные тропинки. На тропинках — мрачные люди-тени, тащившие за собой груженные детские салазки — единственный вид транспорта в те дни. Во многих домах от мороза лопались трубы, воду таскали ведрами.

Было еще совсем темно, когда я вышел на площадь Киевского вокзала. Возвращавшиеся с добычи мешочники предпочитали до утра оставаться на вокзале. Они были запуганы: ходили слухи о «попрыгунчиках» — ночных грабителях, одетых в белые халаты. Говорили, что к ногам их были прикреплены пружины, и якобы они набрасывались на свою жертву из-за сугробов снега в глухих, неосвещенных переулках.

Без труда нашел я тетю Иду в Гагаринском переулке, на Арбате. С большим вкусом обставленная квартира, где она жила, еще совсем недавно принадлежала художнику Антокольскому, родному брату знаменитого скульптора, который, бросив все, уехал за границу с двумя чемоданами.

Мороз вгрызлся в стены дома, и вся теткина семья жила в одной комнате. Остальные служили топливным складом. Жгли все, что могло только гореть в буржуйке — мебель, книги, полки, и все равно тепла было мало. Спали одетыми. Сидели в захлавленной комнате, напялив на себя все, что только можно; пекли лепешки из картофельной шелухи. Когда Мише, мужу тети Иды, удавалось достать немного мороженой картошки или кочан капусты, то он вручал это тете Иде с таким видом, словно преподносил ей бриллиантовое кольцо.

Тетя Ида, полная энергии и нерастроченной инициати-

вы, покинула тихий и сонный Чернигов в начале Первой мировой войны. Она переехала в Москву и к моменту встречи со своим будущим мужем, дядей Мишей, в 1915 году, была уже преуспевающей купчихой первой гильдии.

Дядя Миша вернулся из Америки. В Нью-Йорке он прожил недолго, но все же достаточно для того, чтобы понять, как делать деньги, и убедиться, что улицы Манхэттана не устланы золотом.

Дядя Миша был молод, честолюбив и стремителен. Поставив свою карту на Россию, он верил, что нищая Россия откроет перед ним больше возможностей, чем богатая Америка.

Будущие супруги быстро оценили способности друг друга. Фирма, основанная ими, носила многообещающее название «Выгода». В короткий промежуток времени фирма оправдала свое название — владельцы ее довольно быстро нажили несколько миллионов.

Революция приостановила их стремительный бросок к богатству. Я застал Иду и Мишу в холодной квартире, согнувшимися у раскаленной докрасна буржуйки.

К весне 1920 года оцепенение моих родичей стало проходить. Постепенно оживали рынки, где уже можно было купить картошку, капусту, молоко, хотя, конечно, окрестные мужики кочевряжились, цену ломали несусветную. Если удавалось выменять пианино на мешок картошки, человек был без ума от радости. В те дни за бесценок можно было купить старинную мебель, фарфор, редкие книги.

На Смоленском рынке, который был неподалеку от нас, устраивали облавы. Ловили спекулянтов, народ в панике разбежался в соседние переулки, спасаясь от милиции через проходные дворы. Мне нравилось наблюдать это зрелище. Я чувствовал себя на «Смоленском», как рыба в воде. Верно, сказался опыт бродяжничества по России.

В эти голодные и холодные дни компания «Выгода» не только не погибла, но даже сумела приумножить свое богатство, скупив за бесценок огромное количество ману-

фактуры у бежавших за границу купцов. Захоронив на десятках тайных складов свои товары, Идочка и Миша терпеливо ждали лучших времен. И они, наконец, пришли.

За три года военного коммунизма одежда у людей превратилась в лохмотья. Мануфактура им была нужна не в меньшей степени, чем хлеб и топливо. Здесь-то и задействовали Идочкины «склады». Когда над городом спускалась ночь, к черному ходу ее квартиры подъезжали салазки. Между поленьями дров и ведрами с водой лежали тщательно замаскированные рулоны материи. Точно также регулярно с парадного хода входили истощавшие люди; они «затоваривались» — словно на шпульку из-под ниток быстро наворачивались на них десятки метров мануфактуры, после чего они бесшумно исчезали в темноте.

При случайном обыске в теткиной обители чекисты не смогли бы найти и метра материи. Соблюдалась тщательная конспирация. Ни один из посетителей Идочкиной квартиры не знал другого. По утрам с кошелкой продуктов Идочка обходила своих клиентов, собирая выручку.

Супруги тщательно скрывали от меня коммерческую деятельность фирмы. Что, если я проговорюсь! К тому же и выглядело это непедагогично — ребенок не должен был знать о тайных операциях взрослых. В конце концов решили изолировать меня от тлетворного влияния «Смоленского университета» и устроили жить к тебе Леле в гостиницу «Националь» — Первый Дом советов. Жизнь там мне понравилась: одно слово — центр. Не то что какой-нибудь арбатский переулок, такой кривой и длинный, что извозчику было не проехать и за день.

Когда советское правительство переехало из Петрограда в Москву, оно поселилось в «Национале». Позднее произошло расслоение. Кто повыше рангом — переселился в Кремль, кто пониже — в «Метрополь» (Второй Дом советов), а кто — в здание, что на углу Моховой и Воздвиженки (Четвертый Дом советов), или — в дом, что в

Шереметьевском переулке (Пятый Дом советов). В «Национале» остались «середняки», т.е. замнаркомы, члены коллегий, члены реввоенсовета, прокуроры, судьи, начальники отделов ВЧК. В силу инерции столпы нового режима продолжали называть себя профессиональными революционерами. Позднее они почувствовали вкус власти — и в своей среде уже называли друг друга министрами, генералами, советниками.

В те дни в «Национале» спасались от смерти богатые родственники новой элиты. Только у Бугославского, председателя Малого Совнаркома, родители были бедные — лишь у него из всего «Националя».

В разговоры взрослых я в те годы не вникал, они казались мне незначительными и часто пустыми. Как-то услышал в коридоре, как наш сосед Ульрих, председатель Военной Коллегии Верховного Суда, сказал своему собеседнику: «Странно, почему в «Национале» не открыть синагогу. Ведь здесь живут почти одни евреи». Я еще не привык тогда улавливать иронию в словах взрослых. Идея Ульриха мне понравилась. Приедет дедушка из Чернигова и ему не придется далеко ходить молиться.

За вечерним чаем я рассказал тете Леле о предложении Ульриха. Она слегка изменилась в лице: «И это говорит Ульрих, у которого жена еврейка!» — «Что же здесь такого?!» — недоумевал я. Не мог понять, почему тете Леле пришлось не по вкусу слова верховного судьи.

Тетя Леля не любила обитателей гостиницы. Ей были чужды кухонные дразги, зависть и эгоизм комиссарских жен. Знакомств с ними она почти не поддерживала, дружила с людьми, которые обитали не в Домах советов. Жила она, как мне казалось, интересно. Молодой в поисках правды жизни ездила в Ясную Поляну, к Толстому. Пять предреволюционных лет прожила в Петербурге. У нее было много друзей и знакомых среди писателей, актеров. Вечерами кое-кто из них навещался к нам, в «Националь». Одни приходили, чтобы посидеть в тепле, другие — поужинать,

третьи, чтобы ввязаться в безнадежный спор — отвести душу. В комнатах всегда было очень шумно. Спорили обо всем: о политике, искусстве, литературе. Тетя Леля искусно лавировала среди лабиринтов противоречивых мнений, в которых она разбиралась быстро и точно.

Считалось, что тетя Леля ведет домашнее хозяйство, фактически у нее для этого не оставалось времени. Для большевички была она необыкновенно терпима. Я любил ее мальчишески звонкий голос, и мне нравилось ее живое, слегка скуластое лицо. Ее вздернутый нос, глаза, светлые каштановые волосы напоминали маму.

Обедали мы в ресторане гостиницы. Из закрытого распределителя получали обильные пайки. Икра, сыр, масло, балыки не сходили со стола. Почти каждая семья получала дары от своих «вассалов» из провинции. Холодильников тогда не было, так что «дары» хранились за окном. Обитателям Дома советов было невдомек поделиться своими запасами с теми, кто жил не в «Национале». Это считалось не политичным. Народ не должен был знать, как живут его слуги.

Во многом я тогда не отдавал себе отчета, но я видел, как зарождалась новая элита с ее привилегиями, моралью, порядками. Остатки идеализма первых дней революции быстро улетучивались. Шел «период первоначального социалистического накопления». Обрастали столовыми и закрытыми распределителями. Все было специальное, специально для новой элиты: детские сады, школы, клубы, библиотеки. Появились загородные угодья. Усадьбы бывших помещиков огородили высокими заборами, выставили у ворот охрану. Комиссарши с детьми ездили за границу, на лучшие курорты. А мои друзья Андрей Свердлов и Лева Подвойский даже по нескольку раз. Не только дети вождей, но и более мелкая сошка, в особенности дети чекистов, часто не знали слова «нет».

Лена Бокий, несовершеннолетняя дочь члена коллегии ГПУ, наша соседка по этажу, занимала отдельный номер.

Там она собиралась с друзьями, устраивала пьяные оргии. Взрослые боялись сделать ей замечание, кому была охота связываться с ГПУ? Иногда Лене приходила в голову блажь. За 10 минут до отхода поезда она задумывала куда-то ехать. Срочно вызывала из гаража ГПУ машину и на бешеной скорости мчалась с друзьями на вокзал. Предъявив чекистскую книжку, Лена занимала купе в международном вагоне. И в любом городе России, где бы она ни появлялась, подчиненные Глеба Бокия устраивали ей пышные встречи. Именно в те годы Лена Бокий стала любовницей Ади Свердлова, сына первого председателя ВЦИКа Я.М. Свердлова, но об этом в свое время.

Детям новая элита старалась дать подобающее воспитание — их учили рисованию, музыке и танцам. Свою кузину Олю я сопровождал каждый день в школу танцев, руководимую знаменитой Айседорой Дункан. Я охранял Олю от нападения мальчишек на улице. Школа на Пречистенке казалась дворцом. Картины знаменитых мастеров, скульптуры, гобелены, старинная мебель переносили меня в какой-то особый мир, где властвовала Дункан: неземная рыжая красавица в красной тунике. Я влюбился в Айседору Дункан с первого взгляда.

Мы росли с Олей вместе, но никогда не дружили. Она вечно старалась показать свое превосходство; ее менторский тон преследовал меня повсюду. По утрам: «Ты не чистил зубы сегодня, скажу маме.» За завтраком: «Почему болтаешь ногами? Убери локти со стола!» За обедом: «Перестань катать шарики из хлеба. Когда ты научишься пользоваться ножом и вилок? Смотри! Все обращают на тебя внимание». Оля не могла простить мне полного пренебрежения приличиями. Я отличался от ее сверстников в «Национале», по ее словам, я был уличным мальчишкой, и в этом, пожалуй, она была права. Впрочем, временами она проявляла жалость: «Ты же круглая сирота. Мама велела тебя не обижать». Жалость меня оскорбляла. Наши игры с Олей почти всегда заканчивались дракой, и

я почему-то всегда был виноват.

Взрослые то и дело твердили мне, что я испорченный мальчишка, но меня это мало огорчало. Я редко сидел дома, только, если хотел есть. Когда поздно ночью меня не находили в постели, то шли в Большой Театр и обнаруживали обычно спящим в ложе ВЦИКа или Совнаркома. Нас, мальчишек из «Националя», там все знали и пускали без билетов.

Хотя мы, дети из Дома советов, были изолированы от внешнего мира (никто не мог проникнуть в «Националь» без пропуска), жизнь просачивалась и к нам. Дом советов в те годы окружало много разноцветно-облицованных церквей — белых, желтых, розовых, зеленых, с золочеными куполами и веселым колокольным перезвоном. Оля с другими девочками из «Националя» ходила каждый день в церковь. Однажды туда зашел и я. В церкви было тихо и полутемно. Вдохновенно молились старушки, мигали огоньки свечей. Наши девочки тоже стали на колени... Когда они возвращались со службы, то рассказывали родителям о том, что слышали там о несчастьях, которые принесли коммунисты простым людям. Девочкам и в голову не приходило, что их отцы и матери несут за это прямую ответственность.

Вскоре хождение детей в церковь вызвало переполох у сановных родителей. «Наших детей портят! Церкви необходимо закрыть!» — все чаще можно было слышать в Доме советов, и лишь Олин отец, дядя Яша, в прошлом видный меньшевик-интернационалист, прекративший после революции всякую политическую деятельность, считал, что убеждения детям навязывать не следует. С философским спокойствием он взирал на то, что Оля в каждой комнате повесила по иконе и осеняла себя крестным знаменем.

Дядя Яша был в моих глазах не таким, как все. Он никогда меня ни к чему не принуждал и старался делать так, чтобы до всего я доходил сам. Однажды он увидел меня курящим в уборной, но вида не подал, промолчал. Спустя

несколько дней, когда у нас были гости, он набил трубку табаком, раскурил ее и подал мне: «Кури!». Я был польщен: меня считают взрослым! Табак издавал приятный медовый запах. После первой трубки дядя Яша набил мне вторую, третью. Я курил и курил... Затем меня рвало... Рвало так, что я запомнил это навсегда — и был благодарен дяде Яше. Отвращение к куреву спасло мне жизнь. В лагере курильщики ежедневно отдавали по полпайки за махорку, сами же погибали от истощения.

Дядя Яша владел издательством «Синяя Птица». Однажды он принес мне чудесную книгу — «Кутенейский баран» Сетон-Томсона. Книга была напечатана на плотной бумаге с великолепными иллюстрациями художника Ватагина. На первой странице я прочитал: «Экземпляр Додика Азбеля». Я был бесконечно горд, полагая, что автор написал эту книгу специально для меня.

Мальчишки из соседних домов ненавидели «домсоветовских» и при первой возможности их нещадно били. Както, в первые дни после моего переезда в «Националь», я шел по улице, насвистывая и с важным видом оглядывая прохожих. Вдруг из подворотни выскочила целая команда. «Чего свистишь?» — «Вас забыл спросить!» Не успел я сказать это, как получил сильный удар в грудь. Но не дал деру, как это делали домсоветовские, а ударил самого высокого головой в нос. После этого случая уже никто из соседних дворов не осмеливался тронуть меня. Даже те, кто просто шел рядом со мной, были в безопасности.

С детства мне приходилось слышать, что я не такой как все. Кто знает, может быть, это и дало мне силы пройти свой тернистый жизненный путь, на который я бы второй раз никогда не рискнул. Что касается моих сверстников из «Националя», то они под мощным прикрытием своих родителей росли нравственно хилыми, жадными и трусливыми. Таких было большинство. Ни разу не доводилось мне видеть, чтобы кто-то из них подал милостыню, приласкал бездомную кошку или собаку. Росли эгоисты,

законные наследники своих бездушных и жестоких отцов. Как мы знаем, история сыграла с ними злую шутку: они не стали новой олигархией, и в 1937-1938 годах, в подвалах Лубянки, разделили участь родителей. Детям-таки пришлось отвечать за своих отцов!

ГЛАВА 3

Меня определили в бывшую гимназию Поповой на Знаменке, неподалеку от Кремля, теперь она называлась Пятой опытно-показательной школой имени М.И. Калинина. Владелица гимназии Поликсена Ниловна Попова стала заведующей этой школы. Это было специальное учебное заведение, предназначенное для детей, живущих в Кремле и в Домах советов. Загадочное название «опытно-показательная» закрывало доступ в нее простым смертным.

Много лет отделяют меня от первого сентября 1920 года, когда я впервые вступил на порог Пятой школы, но, как сейчас, она передо мной. В моих ушах звучат давно умолкшие слова, в моем видении — давно минувшие картины.

В год, когда я пошел в школу, занятия в ней стали вести по новой системе — по Дальтон-плану. Вместо классов были лаборатории. В каждой из них сидел консультант-учитель и... скучал. Школьники заглядывали в лаборатории только, когда на улице была плохая погода. Ученику выдавали месячные задания. Он мог выполнять их там, где ему заблагорассудится — в школе или дома; классный журнал не вели. Каждый мог приходиться и уходить из школы, когда вздумается. Летом мальчики гоняли целыми днями в футбол. Зимой играли в хоккей. Огромный школьный двор превращался в каток. Коньков не снимали даже в классах.

В конце первой четверти до учителей дошло: Дальтон-план, может быть, и хорош, но не для нас. Месячные задания выполняли единицы. Когда учителям становилось невмозможным от безделья, в лабораториях начинались обычные классные занятия.

Основная масса учеников Пятой школы принадлежала к высшей партийной и советской знати. В школе учились племянник Ленина, дочь Рыкова, два сына Троцкого, дети Калинина... Были тут и дети крупных капиталистов, выходцы из старой интеллигенции. Считалось, что будущим властителям нужно учиться хорошим манерам и брать с кого-то пример.

Школу всячески опекал Михаил Иванович Калинин, за спиной которого мы не знали забот: у нас всегда были тетради, карандаши, книги, наглядные пособия. Другие школы ничего подобного не имели. Калинин навещал школу каждую неделю. Особенно его любили младшие классы. Стоило ему появиться, как дети с радостью бросались к нему навстречу. Старшеклассники относились к Калинин сдержанно: простоват! Как-то Женя Гернштейн, сын старого меньшевика, усомнился в умственных способностях советского президента и... в два счета вылетел из школы.

С мужиковатой сметкой Калинин понимал, что Дальтон-план и прочие революционные мероприятия школу до добра не доведут. Он подолгу расспрашивал школьников об их занятиях: знал, что педагоги правду ему не скажут, побоятся идти против новшества. Да и сам Калинин никогда против течения не шел. Просто у него в школе учились четверо детей, ему не хотелось, чтобы они вышли неучами. И Михаил Иванович нашел выход. После всех передряг его стараниями школа превратилась из опытно-показательной просто в хорошую школу, как это и было у Поликсыны Ниловны до революции.

Нарком просвещения Луначарский обычно мало интересовался судьбами школ, но на этот раз пошел навстречу пожеланиям «президента», и к концу 1921 года Дальтон-план был окончательно отменен. Куда-то увезли столы и привезли новенькие парты. Вместо лабораторий снова появились классы. Школа вошла в нормальный и спокойный ритм жизни.

Я пошел сразу во второй класс. Читать научился в шесть

лет, но в тетради были одни каракули. Учителя приводили мне в пример чистюль, однако вскоре махнули рукой. Для меня это было удобно — оставалось много свободного времени, когда чистюли корпели над выписыванием букв.

Первый день в школе был шумным. На общем собрании выбирали ученический комитет и много разных комиссий. Учителя призывали учиться лучше, чем в прошлом году. На большой перемене бегали, толкались, дергали девочек за косички. Затем вывесили первый номер стенной газеты «К коммунизму». Возле нее сгрудилась толпа, но вскоре никого не осталось. Газета состояла из трескучих фраз, успевших набить нам оскомину, от которой, впрочем, мы не могли отделаться до конца жизни.

В отличие от других школ, нам с первого класса преподавали французский язык и ритмику. Занятия французским велись необычно, в актовом зале, где под аккомпанемент рояля разучивали песенки и ставили незатейливые пьески. Полвека спустя, гуляя по Парижу и легко улавливая язык улицы, я понял, что во многом должен быть благодарен нашей тогдашней учительнице Любове Сергеевне.

Мы много занимались — и при всем этом все же оставались детьми. На уроках шла священная война за «жизненное пространство». Незаметно оттесняли книги и тетради девочек на край парты. Те, в свою очередь, ставили нам огромные кляксы в тетради. Мы дергали их за косы, срывали с них тщательно завязанные банты. С девочками во втором классе я вел себя далеко не по рыцарски, хотя и знал, как подобает себя вести настоящему рыцарю. Возможно, я мстил им за обиды, которые мне доставляла дома моя кузина Оля.

Классная наставница Евгения Александровна была не очень строгой, и жизнь наша во втором классе была веселой и беззаботной, хотя мы и не были в восторге от уроков чистописания и коварных задач про поезда и бассейны по арифметике. Настроение восстанавливалось на уроках ритмики и особенно на французском, когда пели во

весь голос: «Скорее, скорее давайте вздернем всех буржуев на фонари!» В конце занятий мы выстраивались парами и чинно шествовали в столовую за «американскими завтраками»: сладкой рисовой кашей, какао, белым хлебом и омлетом. Никто не помнил о том, как только что горланили, что всех буржуа нужно вздернуть на фонари.

К старинному особняку, на углу Трубной площади и Неглинной, каждый день приходили парами ученики из других мест. В школе нашей помещался пункт АРА, где кормили голодающих. Когда я смотрел на их исхудалые лица, мне было стыдно за нашу школу — мы отнимали питание у тех, кто в нем истинно нуждался.

1920 и 1921 годы были проклятыми для страны. Повсюду умирали от голода, особенно часто гибли дети. Тогда-то «буржуи из-за океана» и стали открывать столовые, они сами кормили детей, не доверяя советской администрации. И это было самое разумное, что они могли сделать. Допусти сюда жадных и охочих до чужого добра большевиков, американская помощь до детей так и не дошла бы.

У входа в столовую выстраивались длинные очереди. Внутри было тесно и не особенно чисто. Старики в старомодных картузах, старушки в шляпках довоенного образца шныряли между столами и подбирали то, что было недоедено.

В третьем классе нам добавили новый предмет — «Обществоведение». Преподавал его Павел Матвеевич Шендяпин, в прошлом историк, который умел мастерски рисовать перед нами картины разных эпох — Ивана Грозного, Смутное время, Петра Великого. Исторические события в его изложении приобретали осмысленную стройность. Павел Матвеевич избегал аналогий: знал каким детям рассказывал. Подводя итоги «мрачному прошлому», он сообщал нам, что мы живем в героическое и счастливое время, когда вековые мечты народа осуществились, и все стали равны между собой.

«Равны! Держи карман шире!» — однажды перебил его кто-то из сидящих на Камчатке.

— Зачем выкрики? Встань и скажи, с чем ты несогласен.

Наступила неловкая пауза. (Сколько времени прошло, а сценка эта так выпукло сохранилась в памяти!). Первым поднялся Гарик Баршай, сын музыканта Большого Театра, рыжий, веснучатый, с большими, оттопыренными ушами.

— Когда Андрюша Писарев выбил стекло в учительской, его сразу же из школы погнали, — сказал он, — а вот Сергей Седов какое уже стекло выставляет, и ему все сходит. Почему? Сын Троцкого!

И далее пошло. Две неразлучные подружки — Таня Абрикосова (дочка шоколадного фабриканта) и Майя Рощина (племянница Ягоды) переглянулись, и Таня сказала:

— Разве это по-честному! У нас забрали автомобиль, а Наталка Рыкова каждый день ездит для форсу в школу на царском «роллс-ройсе»?

— Танька, опомнись, чего несешь! — перебила ее Рощина. Она-то знала, как ее дядя, Генрих Ягода, относится к таким разговорам.

Обсуждение принимало явно нежелательный оборот. Тема неравенства захватила класс.

— Мой папа делал революцию вместе со всеми, — подлил масла в огонь Боря Лебедев, — а я вот просидел все лето в Москве. Лева Подвойский и Андрей Свердлов объехали все заграницы, а мне нельзя, да? Мне тоже хочется!

— Хочется, хочется! Мало что тебе хочется! — снова раздались голоса с Камчатки.

Поднялся толстый, упитанный Лева Сосновский, говоривший обычно тоном, не терпящим возражений. Он слыл среди нас философом и, когда философствовал, у него краснели уши.

— Равенства нет и не будет. Даже среди вождей его нет. Вот вчера мы играли в Кремле, нажимали звонки в квартирах. Вышла Крупская, улыбнулась, покачала головой и захлопнула дверь. Троцкий открыл дверь сам. Посмотрел

на нас сквозь очки, как в пустоту, и закрыл дверь. Затем позвонили Сталину. Он по-дружески нам улыбнулся, подзвал к себе, а затем как схватит меня за уши. До сих пор красные. Ужасно болят.

Владя Ногин, живший в «Потешном Дворце» со Сталиным, подтвердил: «Мы никогда не шумим возле его квартиры: знаете, как дерется!» Левины опухшие уши разрядили обстановку, разговор перешел на шутки и мало-помалу иссяк.

В школе прививали нам только хорошее. До плохих вещей мы доходили своим умом. Правда «хорошее» в устах педагогов отличалось от «хорошего», которое мы слышали дома. В Доме советов «хорошим» считалось все то, что шло на пользу пролетарской революции, «плохим» — то, что шло во вред ей. Так говорили взрослые, мы им верили на слово но, кажется, во время той дискуссии о равенстве шевельнулся в нас червь сомнения.

После школы я не очень утруждал себя домашними заданиями. Меня интересовало все, за исключением того, что было задано назавтра. Однажды сидел я, оставленный после занятий в классе, и с ненавистью смотрел в задачник по арифметике. Со школьного двора доносились крики мальчишек, игравших в футбол. Это мешало сосредоточиться, хотя арифметика давалась мне легко. Неожиданно открылась дверь и вошла Тамара Махрова, первая в классе ученица. Она пристроилась за моей спиной и долго смотрела на мою истерзанную тетрадку, потом присела рядом.

— Тебе чего?

— Да так. ничего.

— Если ничего, проваливай!

— Какой ты смешной! — сказала она. — Ты только посмотри, что ты тут написал: «Футболист забил три гола сукна!..» Давай прочитаем вместе!

Я хотел вырвать у нее тетрадку и отодвинуться. На меня смотрели ее веселые, испытующие глаза, и что-то во мне дрогнуло. Даже задачка показалась интересной.

Когда мы вышли, она спросила:

— Хочешь проводить меня?

Мы долго шагали по улицам. У подъезда ее дома остановились и внимательно посмотрели друг на друга. На улице уже зажглись фонари. И тут я наклонился и, как сейчас понимаю, очень неловко поцеловал Тамару в губы. Она вздрогнула, строго посмотрела на меня, но не ушла...

Я так и не решил, считать мой поцелуй «хорошим» или «плохим» поступком. Идет он на пользу пролетарской революции или во вред. И уж никак не думал, что эта девочка со смешными, оттопыренными косичками, спустя много лет принесет мне столько радости и разочарования.

Между тем весной 1921 года объявили новую экономическую политику. Еще вчера за грязными витринами магазинов царили пустота и запустение. Теперь они расцветали соблазнами нахлынувших вдруг товаров. Ошеломляющей роскошью проходит нэп на экране моей памяти — золото, блеск фарфора и медной бижутерии, посуды, украшения, игрушки...

В каких-нибудь пятидесяти шагах от «Националя» снова открылся «Охотный ряд» — как вызов бастиону коммунизма — Дому советов. В былые времена до революции «Охотный ряд» — средоточие гастрономических лавок и магазинов — славился изысканным ассортиментом и замечательным вкусом своих продуктов. Целые поколения московских гурманов шли в «Охотный ряд», и каждый мог найти здесь любой разносол на свой вкус. Дурманящее ощущение возврата к старому теперь было разлито в воздухе. Никто не старался вдуматься в само слово нэп: долговечен ли он, не придет ли ему на смену другая политика?

Арбат и Тверская сверкали чистотой. Нарядные дамы в экипажах на дутых шинах («дутиках») с помпой катили по шумным улицам Москвы. Театры и кино были забиты до отказа. В растущих, как грибы, кабаках и ресторанах исполнялись фокстроты и цыганские романсы. Всем хотелось забыться, стереть из памяти время лишений и голо-

да. И только чумазы, одетые в лохмотья беспризорники, копошившиеся у асфальтовых котлов, напоминали о том, через какие тяжелые годы прошла страна.

Память моя неизбежно ограничена кругозором подростка. Сохранилось лишь общее эмоциональное ощущение от той короткой «ленинской оттепели», вскоре уступившей место тяжелым временам коллективизации и сталинским пятилеткам. Наши учителя в те дни усердно внедряли в нас нравственные начала. Может быть, даже более усердно, чем это требовалось школьникам. Слушать одно и то же вызывало скуку. Чувство долга развивалось во мне плохо и медленно, да и слишком много было соблазнов в неповской Москве тех лет. Долг нашептывал мне, что следует переписать неправильные французские глаголы, но меня тянет в кино «Бельгия» на Цветном бульваре, где идет «Питер Фосс — похититель миллионов», шесть серий в одном сеансе и всего за пятнадцать копеек! Со мной два моих школьных друга — Женя Фейнберг, мы зовем его Фешкой и Женя Фальк — Фалькаша. Отец Фешки — врач, бывший меньшевик, у Фалькаши — тоже врач, но коммунист и притом большой начальник в Наркомздраве. Мальчишки очень воспитаны, выросли с боннами, политика их не интересует, они сходят с ума от кино и мечтают стать киноартистами. Оба уже успели побывать на кинофабрике и предложили свои услуги, но там им почему-то ответили, что пока не собираются ставить картин из еврейской жизни.

После кино втроем возвращаемся домой. Возле цирка видим высыпавшуюся из подворотни свору мальчишек. Фешка и Фалькаша бледнеют, оба они хилые, изнеженные, их философия — никогда не ввязываться в драку. Между тем, с нас уже требуют деньги, немного — тридцать копеек, и только одолжить. Но я то понимаю, что это «прелюдия» — надо действовать, и первый наносу удар головой: в мгновение всю свору сдувает, как ветром.

Фешка и Фалькаша страшно застенчивы и потому на переменах держатся в стороне. Фешка — пухлый, сдобный и

в классе любят из него «выжимать сало». «Выругайся, Фешка, тогда отпустим». Он молчит, и мне импонирует его стойкость. Фешка считает, что мир состоит из принципиальных и беспринципных людей. Беспринципные не заслуживают его уважения, кем бы они ни были.

— Но принципы бывают и плохими, как тогда? — говорю я.

— Плохие — это уже не принципы! — следует ответ. Кто знает, может быть, он и прав.

Я сижу за партой вместе слевой Подвойским. Мы с ним тоже большие друзья, хотя и редко сходимся во мнениях: он очень воображает. По каждому поводу говорит, что его отец руководил Октябрьским восстанием в Петрограде в 1917 году, он горд, что его отец был наркомом военных и морских дел Украины. Но меня в их семье интересует другое: у Подвойских много оружия, всякого оружия и военных трофеев.

С третьего класса нас слевой постоянно избирают в учком. Я и Лева были в числе первых юных пионеров страны, вместе вступили в комсомол. Были делегатами на разных пионерских слетах, вплоть до международных.

И снова перед глазами картинка — на этот раз школьного утренника, который устроила накануне каникул заведующая школой Поликсена Ниловна. Она вообще любила устраивать пышные зрелища и приглашать на них именитых гостей. На этот раз пожаловал сам нарком просвещения Луначарский, хотя сын его и не учился в Пятой школе. Началось как всегда с концерта, затем показывали выставку школьных дарований. Наш школьный Пушкин, Вова Именитов, прочел «Оду Советскому правительству», которая страшно понравилась присутствовавшим Рыкову и Калинин. В конце утренника первоклашки окружили своего любимца, Николая Ильича Подвойского. Был он высокий, грузный, с наружностью сельского батюшки (до революции действительно окончил духовную семинарию), гово-

рил он с малышами, как со взрослыми, даже с оттенком некоторого почтения.

Увидев меня (мне предстояло лето в душной Москве), Подвойский спросил:

— А ты чего киснешь? На тебя это непохоже. Где каникулы думаешь провести?

Я угрюмо ответил, что ехать мне некуда.

— У меня к тебе предложение, — продолжал Подвойский, — провести лето в нашей семье, на даче.

Не заезжая домой, Николай Ильич посадил меня в свою открытую машину и, миновав Тверскую, затем Хорошевское шоссе, мы вскоре оказались за городом. Остановились у крыльца огромного каменного дома с колоннами, сооруженного в конце прошлого столетия. Все осталось, как при бывших владельцах: персидские ковры, диваны, обитые кожей, ломберные столики, статуэтки, на стенах картины в золоченых рамах.

В правом крыле здания жил зампредседателя Совнаркома Лежава, холеный и избалованный барин. В левом крыле — семья Подвойских, на втором этаже — секретарь ЦК партии Яковлев, внешне скромный и, как будто, без особых претензий человек. В полуподвале разместились многочисленная челядь: повара, уборщицы, садовники, дворники.

Я еще никогда так не проводил лето. В нашем распоряжении были верховые лошади, лодки, кегельбан, скейтинг-ринг, крокет. Вскоре я заметил, что деревенские дети, встречая нас, обходят стороной. Они никогда не появлялись в нашей усадьбе. Взрослые не рекомендовали нам приглашать их к себе, чтобы не было лишних сплетен.

Вернувшись после летних каникул в пятый класс, мы заметно повзрослели. Теперь считалось уже неприличным дергать девочек за косички. Все мы словно переродились, являлись в школу в чистых, выутюженных костюмчиках. Девочки стали каждый день менять банты, тщательно следили за своей внешностью.

Галя Николаевская больше не жаловалась, что у нее пропадают фарберовские карандаши, подаренные ее дядей Рыковым. Галя Светлова не хотела замечать, что мальчишки подсунули ей другую резинку. А косолазенькая Таня Гинзбург была вне себя от радости, когда подходили мальчики и подолгу разговаривали с ней (она даже готова была страдать от мужского непостоянства).

Дни рождения справлялись на паритетных началах. Каждый мальчик приводил свою девочку. Взрослые на днях рождениях не присутствовали — они мешали. Все игры, как правило, заканчивались поцелуями, целовались через бумажку — так считалось гигиеничным.

Учился я в пятом классе хорошо, но неровно. Меня увлекали обществоведение, литература, физика, география, химия, и тут я знал намного больше, чем это требовала программа. Но по остальным предметам приходилось ловчить. Однажды учитель географии поручил мне сделать доклад о железе. Я спросил, на сколько минут. Он ответил, что время неограничено. Тогда я решил удивить учителя и класс. Я рассказывал о железе пять часов подряд. Выдавал на гора сотни цифр, цитировал по памяти авторитетные источники и ни разу не заглянул в конспект. В этот день занятия по другим предметам были отменены. Я произвел фурор. Те, кто в этот день не успели приготовить уроки, аплодировали мне наиболее рьяно. Но в самом большом выигрыше оказался я сам — преподаватель, уверовав в мою гениальность, в течение года меня не беспокоил

В дни революционных праздников школа устраивала пышные утренники, об одном из которых я хотел бы рассказать. Был он, впрочем, не столько помпезным, сколько необычным. Так вот: это был «Суд над Тьером», который предложил нам устроить 18 марта, в День Парижской коммуны учитель по обществоведению Павел Матвеевич. Все участники суда должны были самостоятельно приготовить свои выступления. Никаких репетиций, никаких кон-

сультаций, но книгами пользоваться разрешалось. Председателем суда назначили Леву Подвойского. Роль Тьера поручили мне. Все почему-то считали, что я вылитый Тьер — мал ростом и толст. Я пытался отказаться, не хотелось играть кровавого карлика, но затем согласился, кажется, уже тогда у меня появился свой план.

Обвинителями были Саша Аникст и Витя Бердников. Защитниками — Сережа Фофанов и Юлик Майзель. В качестве присяжных назначили шесть мальчиков и шесть девочек. Меня усадили на скамью подсудимых.

— Слушается дело гражданина Тьера, палача первого в мире пролетарского государства — Парижской коммуны, — открыл заседание председательствующий Лева Подвойский. — Признаете ли вы себя виновным в том, что потопили в крови революцию и открыли ворота Парижа неприятелю?

— Нет. Не признаю! — последовал мой ответ. — Я расправился с кучкой мародеров и насильников, не вижу в этом преступления. Я стоял во главе государства и действовал согласно мандата, врученного мне народом.

Председатель суда спросил, кто были мои сообщники.

— Все члены законного французского правительства.

— Но вы были вдохновителем и организатором террора?
— Террора не было. Я действовал согласно закона и навел порядок в стране.

— Кто был инициатором разгрома Парижской коммуны?
— спросил Подвойский.

— Французский народ. Я действовал в интересах народа и по его поручению! — последовал ответ.

— Везде есть вожак, даже в невинных детских играх, — стоял на своем судья. — Кто руководил кровавой бойней в Париже?

— Я стоял во главе государства и беру на себя полную ответственность за подавление бунта мерзкой черни.

Я начинал входить в роль и говорил явно не то, чего от меня ожидали. Учитель делал мне какие-то непонятные

знаки, на которые я не обращал внимания. С какой стати я буду так легко сдаваться! Кто Тьер? — Я! В таком случае позвольте мне защищаться так, как я сочту нужным.

Этот суд состоялся за 15 лет до 1937 года. Я еще не имел понятия, что на суде положено «каяться». Публика — ученики других классов — начала шуметь: одни были за меня, другие — против. Председатель зазвонил в колокольчик.

— Пусть публика ведет себя приличней! Вы находитесь в зале суда. Есть вопросы у присяжных?

Вы говорите, что представляли народ? — поднялась Майя Рощина, — в таком случае, как смогли вы посягнуть на жизнь парижских пролетариев? Ведь они тоже народ.

— В Париже скопился в то время не народ, а чернь, подонки. Париж это еще не Франция. Если бы народ Франции сочувствовал парижской черни, он бы пришел ей на помощь, но он этого не сделал.

Суд предоставляет слово первому обвинителю Саше Аниксту.

— Мне противно смотреть на этого мерзкого карлика, на эту аморальную личность. Любой другой, стоящий во главе правительства, не допустил бы такой ужасной расправы. Где были ваши красивые слова о народе, когда вы писали о нем, как историк? Вы забыли о них. Вашим именем будут теперь пугать детей. Вы превратились в олицетворение зла и коварства.

— Обвинение требует, чтобы гражданин Тьер был наказан как можно строже, — поддерживает второй обвинитель Витя Бердников. — Считаю, что упоминание его имени должно исчезнуть из истории, книги и портреты — сожжены. Я предлагаю любое скопление нечистот называть именем Тьера. (Смех в зале).

Зазвонил звонок.

— Давайте теперь слушаем защиту, — говорит Подвойский и предоставляет слово Юлику Майзелю.

— Хорошо, — начинает защитник, — если статья на точку зрения обвинения, то нам придется изъять из истории всех

знаменитых людей, поскольку они знамениты, прежде всего своими насилиями. Что же тогда останется в истории? Безликая масса, или как вы все это называете, борьба классов. Кого вы накажете этим? Самих себя! Это вам тогда придется всю жизнь есть похлебку без соли, не так ли? Согласитесь, советское правительство самое гуманное в истории. Пролетариат законный наследник всей человеческой культуры. Пусть гражданин Тьер и превысил свои полномочия, но это ведь не остановило исторически детерминированного, победоносного шествия пролетариата. Так пройдем же, граждане судьи, мимо Тьера, как большой океанский пароход проходит мимо дохлой крысы и оставим его жить в истории таким, каким он был на самом деле.

— Слово предоставляется обвиняемому Тьеру, — говорит председатель и предоставляет слово мне.

— Я не собираюсь просить у суда прощения. Я не виноват ни перед вами, ни перед историей. Я бы надругался над вашим историческим материализмом и марксизмом, если бы признал себя виновным. Вы отрицаете добро и зло. По вашему — это идеализм. Вы утверждаете, что все определяется экономическими факторами. Но ведь даже младенец знает, что Франция в мое время не была готова к социализму. Что же вы тогда хотите от меня? Тогда ваше время еще не пришло. Пеняйте на себя, милостивые государи! Я кончил.

Суд удалился на совещание и провел в совещательной комнате — учительской — не более пяти минут. Приговор был краток: «Поскольку революция произошла в России, а не во Франции, которая во времена Тьера экономически не была к этому готова, гражданин Тьер не может нести ответственности за провал революции».

В частном определении было сказано: «Суд обращает внимание Союза писателей и Союза историков Франции на антигуманное поведение гражданина Тьера и просит их рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего пребы-

вания Тьера в указанных Союзах».

...Со времени «Суда над Тьером» прошло пятьдесят лет. Я сидел в профессорском зале Ленинской библиотеки в Москве. Готовил доклад о получении пищевых дрожжей из нефтепродуктов. Поработав, решил немного пройтись — размяться. Впереди меня шел высокий, грузный и совсем лысый человек. Я узнал его со спины — это был мой «обвинитель» Саша Аникст. Через полвека! Подумать только, и главное, узнать со спины...

Я спросил:

— Вы Саша Аникст?

— Да. А вы кто?

Я ждал, пока он догадается?

— Убейте, не могу.

Я назвал себя и почувствовал, что он не верит своим глазам.

— Додька! — ошалело повторял он, — ты жив!

Пошли воспоминания и, конечно, заговорили о «Суде над Тьером».

— Ты был восхитителен! — сказал Саша.

— Мы все тогда были в ударе. Мы ведь говорили то, что думали и говорили по-своему логично. Наши предки, к сожалению, не достигли нашего уровня на своих процессах-спектаклях в 1937-1938 годах...

Затем Саша рассказывал о себе, о своих близких... Отец его, Аникст-старший, в прошлом известный анархист, а затем замнаркома труда, сгинул вместе с женой в сталинских лагерях. Сам Саша стал ученым, он — известный специалист по истории английской литературы.

Мы понимали друг друга с полуслова. Хрущевская оттепель была на исходе. Так что для сына врага народа, профессора Александра Аникста было более безопасным заниматься далеким прошлым. Он стал главным шекспироведом страны и, может быть, благодаря этому, сумел пройти между Сциллой и Харибдой тех лет.

ГЛАВА 4

В сентябре 1927 года в Пятую школу пришел наш бывший ученик, Гдаля Мильман, который уже два года был студентом истфака Московского университета. Гдаля отозвал меня в сторону и тихо сказал:

— У меня есть к тебе дело, Додя.

Гдаля был моим школьным кумиром, и всякое дело с Гдалей было для меня лестно. Был он для меня самым умным, самым талантливым, самым образованным, короче, «самым, самым». Так вот, Гдаля предложил мне перейти в школу имени Короленко, где он преподавал историю и был политруком.

Пятая школа с ее привычным, налаженным распорядком и лицемерием начинала меня тяготить. К тому же в школе, где преподавал Гдаля, с пятого класса изучали языки — немецкий, французский и английский, и, немного подумав, я принял его предложение.

Случилось это через год после опубликования в «Правде» фельетона Михаила Кольцова «Начинает надоедать». Фельетон этот, появившийся 26 марта 1926 года, был посвящен гдалиной школе и царившим в ней порядкам.

Кольцов писал:

«Опять Москва, бывшая женская гимназия. Опять бывшая владелица гражданка Потоцкая в роли советской руководительницы, опять нравы «довоенного качества» под вывеской школы имени Короленко. Опять столкновение старых прожженных педагогов с зеленой советской порослью детей. И опять борьба, хотя и не в трагических, а скорее комических, но опять в очень вопиющих формах. В школе — фронт! Боевое настроение! Театр военных действий! Дети и взрослые — ученики и педагоги. Красные и белые. Может быть, красивые дети несправедливо вообразили педагогов белыми? Но что делает противник, чтобы разубедить в этом детей... и нас с вами. Штаб одной воюющей стороны: владелица школы, ныне заведующая, учителя, администрация. Штаб другой стороны: комсомольцы, пионеры, учитель-политрук. Ученики и комсомольцы требуют открытых заседаний школьного совета, принятых во всех учебных заведениях. Администрация отводит, несмотря на официальную справку Наркомпроса. Советский актив настаивает на совместном обучении во всех группах, на отмене вставания при входе учителя в класс, на отмене об-

ращения «господа», администрация уклоняется. На уроке обществоведения преподаватель утверждает, что революция идет назад. Пример — Октябрьская революция и нэп.

Разбирая конфликт на Китайско-Восточной железной дороге, преподаватель вразумительно объясняет, что все дело в империалистической политике СССР. На уроках русского языка учитель объясняет, что буква «ять» отменена после Октябрьской революции большевиками ввиду их полной безграмотности. Пропаганда Достоевского. Разъяснение иррациональности развязки «Евгения Онегина». «Проворовался, как комиссар» — выражение преподавателя.

Марксизм объявляют метафизикой. Девочки, например, заявили, что солидарны с администрацией и что просят по вопросам религии с ними совсем не говорить, ибо они «держатся определенных убеждений».

Пионеры бомбардируют учителя в стенной газете статьями насчет советского империализма. Другая группа учеников на уроке политграмоты заявляет: «Большевики не отдадут державам долги просто потому, что они нечестные люди...»

Под впечатлением этой статьи я собирался в моей новой школе громить контрреволюцию. Что же оказалось в действительности?

Никакой контрреволюции в школе не было. Не было и фронтов, не было ни красных, ни белых. Что же было? Были девочки из очень культурных и думающих семей, были лучшие в Москве педагоги.

Правда, педагоги и школьники не питали особой любви к режиму пролетарской диктатуры. Но и не боролись против него. Они просто не отвыкли еще высказываться свободно и их высказывания не всегда соответствовали новым прописным истинам. Что касается «молодой советской поросли пролетариата», то она состояла из одного пионера (дед которого был известный миллионер в городе Иркутске) и одного комсомольца — политрука Мильмана, по чьему настоянию я пришел в школу им. Короленко. Остальное в фельетоне следовало отнести к чрезмерной фантазии автора.

Моя новая школа помещалась в Большом Каретном переулке, вблизи Самотечной площади. Каждый день мне приходилось совершать длинное путешествие на трамвае. Проезд стоил 22 копейки, мне давали на дорогу тридцать копеек. Экономленные деньги я тратил на сладости.

Школа, занимавшая старое здание не школьного типа, резко отличалась от сановной Пятой школы. Все было в ней интимно и по-домашнему приятно. Девочки отнеслись ко мне предупредительно, но с осторожностью: они видели во мне одного из тех комсомольцев, которые пришли к ним внедрять коммунизм и отвращать от Бога. Я, в свою очередь, относился к девочкам вполне дружелюбно, совсем не чувствуя в них классовых врагов. У меня не было и половины знаний, какими в избытке владели они, и потому рядом с ними я чувствовал себя дикарем.

Треть школьного времени здесь отводилась преподаванию иностранных языков. В нашем седьмом классе большинство учениц свободно владело тремя языками. Они занимались дома с частными преподавателями, и мне было просто не под силу с ними тягаться. Я нашел выход: мы (я и еще пять учеников) организовали литературный кружок, который работал в часы классных занятий по иностранным языкам. Руководил кружком сын известного литературного критика Борис Юльевич Айхенвальд. Вел он занятия интересно и независимо. Страницы учебников и монографий были для Бориса Юльевича всего лишь поводом к сверкающей остроумием, увлекательной беседе. Все, что я узнал о русской и мировой литературе в человеческом, а не вульгарно-марксистском изложении, впервые пришло ко мне от Айхенвальда.

Мне не довелось, к сожалению, прослушать курс истории у Гдали Мильмана, которого вынудили покинуть школу из-за того, что он примкнул в троцкистской оппозиции. О Мильмане ходили легенды. Девочки, обычно склонные к экзальтации, при одном упоминании его имени закатывали глаза и нежно вздыхали. Почти все они были влюблены в Гдалю, несмотря на то, что он был комсомолец.

На смену изящному и тонко воспитанному преподавателю Мильману пришел Иван Иванович Захваткин, грязный, косноязычный и невежественный партийный деятель. А на смену политруку Мильману райком комсомола при-

слал Владимира Березина, молодого человека со свиноподобной физиономией, иначе его лицо не назовешь, и маленькими, вечно бегающими глазками. Старшие братья Березина были «заслуженными чекистами» (и такие звания были!). Семейный почерк чувствовался и у Березина.

Оба — и Захваткин и Березин, сразу же невзлюбили меня, и довольно скоро я это почувствовал.

Через Леву Подвойского я имел возможность доставать самые что ни на есть секретные партийные документы. Лева их заимствовал у своего отца и давал мне почитать. Как-то я имел неосторожность принести в школу стенограмму заседания ЦКК, на котором громили оппозиционеров. После школы я должен был вернуть ее Подвойскому. Случилось так, что я забыл стенограмму в парте и хватился только по дороге домой. Когда вернулся в класс, стенограммы в парте уже не было: ее обнаружил Захваткин. Никакие просьбы отдать ее назад на Ивана Ивановича не действовали. Он верноподданнически, что называется в зубах, снес стенограмму в Краснопресненский райком партии и вручил ее лично первому секретарю Рютину. Рютин ненавидел Сталина, потому решил не придавать этому случаю большой огласки. Захваткин был поражен и с тех пор затаил на меня лютую злобу. Но не только злоба руководила им, он стал еще и побаиваться меня. Если я не понес должного наказания, значит у меня в верхах связи. И чего доброго я смогу расправиться с ним.

В отличие от Захваткина, политрук Березин сидел в своем кресле крепко: родственные связи с органами делали его неуязвимым. Авторитетом в школе он не пользовался, острые на язык мальчики и девочки открыто издевались над ним. Издевались так тонко, что не придерешься. Березин копил обиды, пока не подвернулся случай.

В разгар деятельности троцкистской оппозиции, в 1927 году, на собрании комсомольской ячейки четырех школ я воздержался при голосовании за резолюцию против троцкистов. Всякий воздержавшийся уже тогда расценивался

как скрытый троцкист. Я им не был — ни скрытым, ни явным. Просто я хорошо знал, чего стоят лидеры оппозиции, и мне не хотелось таскать для них каштаны из огня. Когда Березин увидел меня среди воздержавшихся, глаза его зажглись злым и мстительным огоньком, и он попросил слова. С каждой фразой он подогревал себя все больше: «Мы вас будем скоро расстреливать! Не только тех, кто голосует «за», но и тех, кто воздерживается. С кем ты?!» — кричал он на все собрание. Я не придавал особого значения его угрозам. «Пусть его, собака лает, ветер носит», — подумал я. А зря — лаял-то он из-под чекистской подворотни.

Десять лет спустя, сидя во внутренней тюрьме на Лубянке, напротив дома, где жил Березин, я невольно вспомнил его пророческие слова. Но в 1927 году мало кто предполагал, что пойдет так далеко.

Мой отход от политики и исключение из комсомола началось из-за пустяка — из-за швабры. Однажды во время пустого урока — было это 7 марта 1928 года — две наших ученицы прибежали зачем-то в девятый класс. Одна втокнула в дверь швабру, а другая, как гласило позже сформулированное обвинение, засмеялась. В это время мимо проходила заведующая школы Елена Михайловна Карпакова — Карпачиха. Она-то и подняла скандал: «Вон из школы! — кричала она на девочек. — Я вас исключаю». Карпачиха бегала по классам и громогласно оповещала о случившемся, да еще при этом угрожала: «Кто будет себя так вести, будет немедленно исключен!»

В этот же день состоялся школьный совет. Я, как председатель учкома, предварительно зашел в кабинет Елены Михайловны и стал добиваться, чтобы вопрос о девочках разбирался на школьном совете. Карпакова многозначительно улыбнулась: «Пришел просить за своих пассий?»

Это была неправда, и Карпачиха знала это. Просто она хотела разозлить меня, чтобы в пылу я наговорил ей лишнего.

Сильву Энгель — ту, что воткнула в дверь швабру — я органически не переваривал. Это была вульгарная, развязная девица, мнящая себя примой-балериной Большого театра. Другая, что засмеялась, Вика Кубышкина, тоже ничего собой не представляла, она была уже просватана и с нетерпением ждала дня окончания школы, чтобы сыграть свадьбу.

До истории со шваброй ни с той, ни с другой мне не доводилось даже разговаривать — просто меня возмутил произвол Карпачихи. Я сказал ей, что как представитель учащихся считаю, что с девочками поступили неправильно — во время выпускных экзаменов они не могут быть исключены из школы.

— Ты еще будешь меня учить! Это мое право исключать или не исключать, — оборвала меня заведующая. — Школа устала от тебя. Ты везде суешь нос, куда тебя не просят.

Я явился на заседание школьного совета и попросил разобрать «Дело о швабре». Члены совета обещали, что в ближайшее время администрация вместе с учкомом решит вопрос о двух исключенных.

На следующее утро Карпачиха умышленно в школу не явилась. В классах создалась напряженная обстановка. Кругом только и слышно было о судьбе двух несчастных школьников. Чувствуя себя защитником угнетенных, я привел Кубышкину и Энгель в школу, несмотря на протесты их родителей, опасавшихся, как бы не вышло хуже. Две «преступницы», смущенно улыбаясь, вернулись в свой класс, а я схватил звонок и, неистово звеня, стал созывать школьников на общее собрание. Они побросали книги и тетради, те, кто отвечали у доски, остановились на середине фразы и выбежали в коридор. Учителя были в недоумении. Все устремились в актовый зал. Стоял невыносимый шум, заведующую срочно вызвали из дома. Возмущенная, она прежде всего стала выяснять:

— Кто звонил на общее собрание?

— Я звонил, — сказал я. — Девочки — наши товарищи,

и вы не имели права исключать их, не объяснив нам причину.

— Азбель прав! — слышал я вокруг. — Долой несправедливость! Мы не допустим!

Заведующая сказала, что она возмущена моим поведением: комсомолец, председатель учкома, сорвал занятия во всей школе, а теперь призывает к забастовке.

— С тобой будут говорить другие и в другом месте, — заключила она и, хлопнув дверью, возмущенная, вышла из зала.

Занятия в классах прекратились, и когда комсомольская группа одобрила протест против заведующей, начал наступление политрук Березин, который давно ждал этого дня. Все разыгрывалось как по нотам: забастовка! контрреволюция! мятеж! Восстание против советской администрации, а значит против советской власти!

Две девочки со шваброй тотчас исчезли со сцены. Они, собственно, играли только роль наживки, на которую нужно было подловить крупную (в школьном масштабе) рыбу — меня и Женю Левенсона. Два года тому назад Левенсон открыл борьбу с бывшей владелицей школы Потоцкой; теперь он активно меня поддерживал в «миссии справедливости». Кстати, Женя вместе со мной воздержался на комсомольском собрании, когда голосовали за резолюцию, осуждающую Троцкого. В общем, у Березина и Захваткина были с нами особые счета.

Нас обоих начинают таскать по инстанциям, допрашивать с пристрастием, уличать в создании нелегальной организации. Вмешиваются наши партийные родители: требуют от нас хотя бы полураскаяния, осуждения своей чрезмерной активности. «Так нужно, — слышу я каждый день дома. — Не сделаешь этого, исключат из комсомола, исключат из школы. Смотри, тебе жить!»

Я частично признаю свои «ошибки», но продолжаю настаивать, что администрация школы и политрук неправы.

После вынужденного признания, казалось бы, инцидент

исчерпан. Но не для того Карпачиха и Березин заварили кашу, чтобы остаться без реальных результатов. Враг должен быть разбит наголову, уничтожен и рассеян. Под давлением политрука Березина комсомольская ячейка исключает меня и Женю из комсомола. И, наконец, — гром победы раздавайся! — нас с Женей исключают из школы. В выписке из протокола, которую присылают родителям, сказано, что «эта мера оздоровляющим образом повлияет на нашу жизнь». Когда же с этой бумагой я являюсь в школу, мне приказывают немедленно убраться.

Все это я пережил сравнительно легко. Хотелось лишь набить морду Березину. Я говорил себе, что у меня все впереди, в жизни бывает всякое и ни в коем случае не надо падать духом.

По-иному реагирует Женя. Не выдержав накала страстей, он приходит однажды домой и в состоянии тяжелой депрессии стреляет в себя из пистолета.

Вот так в школе имени Короленко я получил первый предметный урок по курсу коммунистической морали.

С помощью влиятельных знакомых мне все же удалось восстановиться в школе, в комсомол меня больше не тянуло. В день, когда я навсегда покинул школу и передо мной распахнулась дверь в будущее, я думал о своих врагах: Елене Михайловне Карпаковой, Иване Ивановиче Захваткине и Владимире Березине. Нет, я не проклинал их. Проклинают только в романах. В жизни, в конце концов, мирятся со всем. Мои враги были всего лишь марионетками, веревочки же находились в руках большого хозяина в Кремле. Общась с его марионетками, я начинал понимать, как далеко зашла в те годы нивелировка личности. Личность не смеет бороться против коллектива, не смеет сомневаться. Беспартийная коммунистка Карпакова и чекистский выкорыш Березин привили мне бациллу неверия в возможность справедливости в стране победившего социализма, и я им за это благодарен: за учебу нужно платить!

С чувством спокойного скептицизма я расстался со школой имени Короленко. В ту весну 1928 года мне шел восемнадцатый год... Мое вступление в совершеннолетие завершилось.

ГЛАВА 5

По мере того как Москва оправлялась от голодных дней военного коммунизма, обитатели «Националя» стали покидать свой ноев ковчег, переселяться в комфортабельные квартиры, особняки, принадлежавшие ранее аристократам и буржуазии.

Уехала из «Националя» и тетя Леля. Переезд ее совпал с уходом от первого мужа Якова. Причина, как я полагал, была политическая. Тетя Леля считала, что она не имеет морального права жить под одной крышей с бывшим меньшевиком, не приемлевшим режима пролетарской диктатуры. Моя кузина Оля ушла вместе с отцом, а я вернулся к Идочке.

Квартира тети Иды, которую я впервые увидел в 1919 году, преобразилась до неузнаваемости. Комнаты были обставлены антикварной старинной мебелью. На стенах висели картины известных мастеров. Буфет в столовой был заставлен коллекционным фарфором, книжные шкафы в кабинете — уникальными книгами.

Идочка держала горничную и повариху, арендовала два фаэтона на «дутиках» — для себя и для мужа. Будучи по натуре человеком энергичным и инициативным, она не довольствовалась положением жены председателя правления первого частного банка в Москве; она еще и сама владела и успешно управляла двумя мануфактурными магазинами — розничным и оптовым.

В 1924 году в поселке Ильинское (в 35 километрах от Москвы) муж ее, дядя Миша, купил участок земли, где собирался выстроить большую дачу, но в последний момент передумал. Построил сторожку, правда, на три комнаты.

Видно, уже тогда червь сомнения точил его: насколько устойчив нэп?

Лето этого года я провел с Идочкой в Кисловодске, где она сняла комфортабельную виллу под названием «Божий дар». Была она страшно занята, ходила на медицинские процедуры, почти каждый день ездила в Ессентуки, в Цандеровский институт и грязелечебницу. Я был предоставлен сам себе.

Тем летом в правительственных санаториях вместе со своими родителями оказались многие из моих школьных товарищей. Родители приглашали меня в дальние поездки, в горы на машинах, а иногда верхом на лошадях. Приглашения я эти с удовольствием принимал: шататься бесцельно по городу мне порядком надоело.

С детства я был «слишком умным» для своих лет. Так, по крайней мере, считали вокруг. От нечего делать, просто для того, чтобы удивить окружение, я прочитал «Капитал» Маркса и, возмнив себя большим эрудитом по части марксистской теории, охотно ввязывался в разговоры взрослых. Кстати, в Кисловодске в то лето я встретил Бухарина, который часто брал меня с собой на прогулки, но у Бухарине ниже, а пока об Идочке и дяде Мише.

В конце лета мы с ней вернулись в Москву, нэп еще был в разгаре. Память сохранила многие детали, помогающие воссоздать обстановку тех бурных и пестрых дней, в особенности, взлет и не менее стремительное падение Идочки и дяди Миши. Мне казалось, что в эти годы они жили беспечной жизнью, словно не было революции и гражданской войны. Супруги по вечерам ездили в рестораны, в сад «Эрмитаж» и театры. К дому обычно подъезжал нарядный фаэтон. Идочка в туго затянутом платье и в модной шляпке, а Миша в костюме, пошитом лучшим московским портным, выезжали в свет.

Они знали, как вести свои дела, знали, что скрыть и как утаить доходы от ушлых фининспекторов. Тучи еще не нависли над их головами, но тетя Ида уже начала превен-

тивные операции: прятала куда-то наиболее ценные вещи. «На хранение, — говорила она, — много ненужных вещей скопилось дома. Не люблю захламляться».

Осенью 1925 года у нас дома стали появляться дельцы из Персии, Турции, Польши. Дядя Миша запирался с ними в кабинете и подолгу беседовал, он был большой мастер устраивать дела в обход законов.

Однажды мне довелось услышать разговор, доносившийся из его кабинета. Миша уговаривал Идочку уехать за границу, он говорил, что в кармане у него лежат заграничные паспорта, что он уже перевел изрядный капитал в швейцарский банк. Идочка наотрез отказывалась. Никакие доводы и мольбы на нее не действовали. Я словно прирос к стулу. Хотелось закричать: «Соглашайся с Мишей! Неужели ты все забыла?» Но я молчал: они не нуждались в моих советах.

Недолго пришлось ждать Идочке, чтобы убедиться в правоте мужа. В январе 1926 года его арестовали. Четыре месяца провел он на Лубянке. Допросы с пристрастием его не сломили. Мишу судили в открытом заседании Верховного Суда за экономическую контрреволюцию — незаконные банковские операции. Он был оправдан, но домой не вернулся: в зале суда чекисты арестовали Мишу вновь. Оправдательный приговор не помешал ему получить свои законные пять лет за то же «преступление», но на сей раз по решению коллегии ОГПУ

Летом 1926 года Идочка взяла меня с собой навестить дядю Мишу. Он отбывал свой срок в «СЛОНе» (Соловецких Лагерях Особого Назначения), на берегу Онежского озера, вблизи от железнодорожной станции «Медвежья гора». Спустя четыре года эта станция станет центром Беломорско-Балтийских лагерей.

Когда мы сошли с поезда, солнце уже садилось в Онежское озеро, но от этого темнее не стало. Стояли белые ночи. Тихий рыбацкий поселок дремал, словно застыл в зыбком сиянии угасавших солнечных лучей. В 1925 году сюда

впервые пригнали заключенных, которые прорубали просеки в тайге и заготавливали лес.

Дядя Миша встретил нас на станции, сидя на повозке и без конвоира. Его сделали десятником, ведавшим лесоразработками. Сквозь стену угрюмого леса, через болота, мы долго ехали на лагпункт, где он отбывал свой срок.

Заключенные, по пояс в холодной воде, заводили деревья в кошели, связывали их прутьями. Работа была тяжелая и чрезвычайно опасная.

В лагпункте сели втроем в лодку и поехали на озеро. Миша с укоризной смотрел на Идочку. Согласись она в тот вечер уехать, не знал бы он лагеря, да и вся их жизнь пошла бы по-другому.

В лодке супруги договорились ликвидировать магазины, ждать лучших времен. Теперь и Идочке стало ясно, что нэп вступил в свою последнюю, завершающую стадию. Только по одному вопросу не смогли договориться — об уплате налогов. Миша считал, что нужно заплатить все до последней копейки, Идочка же наотрез отказывалась, ибо расценивала требуемый налог, как ничем не прикрытый грабеж среди бела дня. Она говорила, что ей легче дать себе вырвать зубы, чем платить такую громадную сумму.

Арест Миши не повлек за собой конфискации имущества, поскольку супруги сумели надежно упрятать свои богатства. Были они в то время, вероятно, самыми богатыми людьми в Москве. В этом я смог воочию убедиться позднее.

Между тем, Идочка пошла работать. То ли не давала ей покоя предпринимательская жилка, то ли хотела показать, что ей не на что жить. На свои деньги она организовала артель и открыла два кондитерских магазина — на Петровке и Сретенке. Сама делала мороженое, фруктовые воды и пирожные.

Конец нэпа пришел в наш дом неожиданно. Не находя в себе сил бороться с фининспекторами. Идочка уже подумывала о закрытии артели, но сделать это не успела.

В канун Рождества двадцать седьмого года шла бой-

кая торговля, наступил вечер, но Идочка не возвращалась. Ночью, когда раздался звонок в дверь, я был уверен, что это она, но в квартиру ввалились четверо или пятеро мужчин в штатском. Это были не чекисты и не «фины» — просто бригада представителей общественности, помогающая финансовым органам взыскивать налоги. Как полагалось, они предъявили ордер на обыск и перевернули квартиру вверх дном в поисках драгоценностей и денег.

Бригада уже собиралась восвояси удалиться, когда одному из них вздумалось вернуться и заглянуть под кровать. У меня под кроватью стояли два чемодана, но я понятия не имел, что было внутри. Когда чемоданы открыли, то под слоем постельного белья обнаружили толстые пачки долларов, которых было там около шести миллионов.

Бригада переполошилась, я был удивлен не менее чем они. В последнее время Идочка всегда жаловалась, что ей не хватает денег на жизнь. А я, оказывается, спал на миллионах!

Срочно вызвали чекистов — специалистов по экспроприациям. Они увезли деньги на Лубянку, оставив в квартире засаду, чтобы поймать Идочку, но она в ту ночь не вернулась. Много лет спустя она рассказывала: «Подошла к дому, увидела свет в окнах. Зная, что ты видишь уже десятый сон, я тихо приложила ухо к двери. Услышала посторонние голоса и все поняла».

Два месяца тетя Ида пряталась от чекистов. Только когда арестовали всех родственников, включая меня, как заложников, Идочка добровольно явилась на Лубянку.

Чекисты были взбешены, они жаждали крови. На карту была поставлена честь мундира — как получилось, что не они нашли деньги? Разговоры об Идочкиных миллионах достигли самого Сталина. Он-то смог оценить эту «экспроприацию». Даже ему, когда в молодости он занимался ограблением банков, никогда не удавалось захватить таких сумм. В общем, он решил проявить милосердие, что

редко случалось с ним: Идочке дали всего пять лет ссылки; очутилась она за полярным кругом — в Нарымском крае, а Миша получил десять лет лагерей, дополнительно.

Для моей тетки настали тяжелые времена. Муж в лагере, дома остались двое маленьких детей — девочка четырех лет и мальчик одного года. Без копейки денег, без теплой одежды, без крыши над головой она очутилась в тайге на границе с тундрой, где трудно было выжить городскому жителю. Но Идочка оказалась удивительно стойкой, она научилась выращивать овощи, ухаживать за коровами, смогла сама построить дом и ко времени окончания ссылки считалась богатой женщиной среди местного населения. Возвратившись в Москву, сначала работала в подмосковном совхозе, затем стала заготовителем утильсырья. И снова разбогатела в невероятно короткий срок. Она купила большую дачу в Кратове, под Москвой, две кооперативные квартиры для детей и затем вышла на пенсию.

Идочка была по-своему талантлива, ибо даже в сталинские годы могла приспособиться к любой ситуации. Несколько лет тому назад я спросил ее, довольна ли она прожитой жизнью, не жалеет ли, что в свое время не покинула Россию. Она ответила, что Россия ее родина, а родину не выбирают. Было много плохого, но много и хорошего. Без плохого не может быть хорошего. Вы не можете различить хорошего, если не с чем сравнивать. Я всегда вспоминаю эти слова тети Иды, простой и необразованной женщины.

Дядя Миша много пережил за годы заключения и вышел из лагеря больным и морально разбитым. Он сменил много работ, но не мог ничего найти по вкусу. Он вышел на пенсию и проклинал тот день, когда «черт его дернул вернуться из Америки в Россию».

После ареста Идочки я возвратился к тете Леле и находился у нее вплоть до ареста, до 14 марта 1935 года. Леля тогда жила со своим новым мужем, Ароном Исааковичем Вайнштейном, бывшим председателем центрального

комитета Бунда. Был он одним из семи участников первого съезда Российской Социал-Демократической Партии в Минске, в 1893 году. В 1921 году он привел большинство членов Бунда к большевикам, продлив жизнь своих товарищей по партии и свою собственную на лишних пятнадцать лет.

ГЛАВА 6

Я вступил в полосу совершеннолетия, когда приобретая, всегда что-нибудь теряешь. Даже следуя заветной цели, теряешь уйму времени, уйму сил, радостную беспечность детства.

В школьные годы, я, как и многие мои сверстники, был большим фантазером — писал сценарии своей будущей жизни в розовых и голубых тонах. Даже последние месяцы в школе не сбили моего оптимистического настроения. И все же жизнь вывела меня на околицу страны грез, подвела к перекрестку, где, мне казалось, должен был лежать камень с надписью: «Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь...» Да, мне казалось, что весной 1928 года у истоков моей судьбы должен был быть какой-то предупреждающий знак — куда идти, к какому часу... Увы! Надписи на камнях всегда уклончивы и неконкретны. Даже в сказках посылают за счастьем безадресно: «Иди, дескать, иди! Как износишь семь пар сапог, так и быть заветному!»

Сказка — ложь! Двадцать лет спустя я своими глазами увидел эти стоптанные сапоги и у ученых, и у артистов, и у инженеров, и у рабочих, и у крестьян. Они шагали по бесчисленным арестантским дорогам и обрели свое «заветное»... в сталинских лагерях смерти.

Летом 1928 года начал я готовиться к конкурсным экзаменам. Я уже говорил, что считался большим эрудитом по части марксизма. Мне хотелось стать историком или философом. Но близкие и слышать не хотели, чтобы я по-

святил себя такой «чепухе». Странно было слышать из уст старых революционеров уничтожающую критику доктрины, которой они посвятили всю свою жизнь.

Мой дядя, Арон Исаакович Вайнштейн, советовал мне стать инженером. «В гуманитарных науках, — говорил он, — все шатко, мало обосновано и чрезвычайно опасно. В любой момент ты можешь превратиться не только в отрицательную, но и в мнимую величину. Ведь даже я не могу всегда высказать то, в чем глубоко убежден. Недавно ты дал мне свой трактат о роли денег в Советском Союзе. Ты способен проникать в суть вещей — это не каждому дано. Но сумей ты это опубликовать — только тебя и видели! Это была бы твоя первая и последняя работа».

Арон Исаакович прошел большой жизненный путь, испытал многое... Мог ли я не прислушаться к его голосу? И после долгих раздумий я решил стать инженером.

Говорят, что каждый человек чувствует, когда у него кончается детство. «В этот момент он попрощался детством», — пишут в книгах.

Когда кончилось мое детство? Не знаю. Может быть, это случилось в лесах, близ Гомеля, когда убили мою маму, может быть, позже, когда пришли за Идочкиными миллионами, и я увидел «кристально чистых» чекистов, набивающих свои карманы драгоценностями. А может, это произошло совсем недавно — в школе? Но это произошло! Детство кончилось, и мне было бесконечно грустно, что оно больше не вернется.

Взрослые меня недолюбливали за излишнюю сообразительность, за то, что чувствовал я, когда они говорят неправду. От своей проницательности я не испытывал особой радости. Мне хотелось быть таким же, как мои сверстники, столько же понимать в жизни, сколько они. Но мне это плохо удавалось. Я постоянно вступал в споры со взрослыми, которые называли меня несдержанным, излишне самолюбивым и даже грубым. Злобы в моих спорах не было — я просто самоутверждался, хотел до всего доко-

паться сам. Спорил не только с людьми, но и с книгами. Принципы и убежденность в своей правоте были для меня дороже всего. Меня раздражало, когда политическим деятелям приписывали качества, им не свойственные. Позднее я к этому привык. Мне казалось странным, когда я впервые, в 1928 году, услышал, как Сталина стали величать мудрым. Это как-то не вязалось с моим понятием о мудрости. Ведь мудрый — это и умный, и справедливый, и добрый, и честный. Разве таким был наш вождь и учитель?

Мне доводилось часто видеть Сталина, когда я был в пионерском отряде при ЦК партии. Он мало походил на свои портреты: был рыжий, рябой, мал ростом и ко всему еще казался злым. Когда Сталин появлялся в ЦК, по этажам, как по эстафете, передавалось: «Хозяин приехал!» Слышал я эти слова в 1922 году еще при жизни Ленина.

Дома у нас часто говорили о положении в деревне. «Сталин, — говорили, — недалеко ушел от Троцкого». Но на собраниях мои близкие с пеной у рта защищали политику «хозяина»: они были штатными пропагандистами Московского комитета партии и очень этим гордились. Мой юношеский максимализм не мог простить двоедушие тети Лели и дяди Арона. Их поведение я считал недостойным старых революционеров. Позже я понял: осудить легче, чем понять. Часто Арон Исаакович разговаривал со мной с глазу на глаз. Он не хотел огорчать свою жену, твердокаменную большевичку, и прививать бациллу скептицизма своим двум несовершеннолетним сыновьям. Меня же он считал человеком конченным — понимал, что коммуниста из меня все равно не получится.

Старый бундовец, он раньше других постиг, что его партия, так же как и другие социалистические партии, обречена на гибель. Как я писал, понял он и другое: выжить и защитить интересы евреев он сможет только примкнув к большевикам. Беспринципность эта не вызывала во мне восторга. Беседуя с ним, я часто бывал бестактным, не-

чутким, не хотел, да и не мог понять его. Опытный полемист, он отводил от себя мои обвинения и ставил меня в положение, когда мои латы поборника справедливости оказывались детскими игрушками. Постепенно я стал уяснять, что правда побеждает только в книгах. В реальной жизни все по-другому: прав тот, на чьей стороне сила, и кто умеет приспособиться к жизни. Пока Троцкие, Зиновьевы, бухарины краснобайствовали, любовались собою, «хозяин» со Старой площади тихой сапой прибрал страну к рукам и, окружив себя преданными ловкачами, взял курс на уничтожение ленинской гвардии.

Многие мои друзья считали: школьные годы — жизнь не настоящая. Самое интересное — впереди! Я думал по-другому. Для меня жизнь началась уже в школе, может быть, даже раньше. Изо дня в день, в течение двух последних лет, я упорно занимался политической экономией, химией, литературой и историей. Писал трактаты на мною самым выбранные темы. Готовясь к институту, я зубрил целыми днями и сам наслаждался своей неутомимостью. Спал мало. Мозг не отдыхал. И во сне решал задачки, доказывал теоремы. Два месяца перед экзаменами были моим первым испытанием характера. Я сам себе отдавал приказы и сам их исполнял. Повышенная требовательность к себе, которую я развил за время моей бессонной вахты, помогла мне сравнительно легко пройти через испытания, которые довольно щедро мне были отпущены. Тогда же я проходил период самовоспитания, когда сплетаются долг и дисциплина, совесть и радость бытия, непримиримость к злу и чувство собственного достоинства. Я постигал старинную, но вечно юную науку — науку властвовать над самим собой.

Экзамены в Институт народного хозяйства были трудными и утомительными. Я был хорошо подготовлен, сдал испытания на круглые пятерки. Отличников оказалось всего четыре на факультет, но никого из них не приняли — всех подвели родители. Они были служащими — ка-

тегория, для которой двери в вузы были практически закрыты. К тому же я был исключен из комсомола. Упустили мы тогда, что наряду с конкурсом детей существует конкурс родителей. Чувствовал ли я разочарованность от того, что меня не приняли в институт? Нет! Мне просто хотелось покинуть страну, не видеть ее, не вспоминать о ней.

До 1930 года еще существовала возможность учиться за границей, и я послал документы в Берлин, в Шарлоттенбургский университет. Но, чтобы выехать, я должен был восстановиться в комсомоле. Дело дошло до Московского Комитета, где разбиралось мое дело. Вот там выступила моя соученица, Аня Пирятинская, она сказала, что я хочу восстановиться в комсомоле с единственной целью — убежать из страны. Когда кончилось судилище — в те годы за это еще не пришивали измену родине — на душе были пустота и странное безразличие. Аня Пирятинская была моим другом — только ей я и решился доверить свою самую большую тайну.

В январе 1929 года я поступил на механический факультет химико-технологического института имени Менделеева. Помогла тетя Леля, которая была членом коллегии Наркомпроса, ведающего в те годы вузами страны.

Шел первый год пятилетки. Инженеры старой школы оказались «вредителями». Правительство слишком нуждалось в инженерных кадрах пролетарского происхождения, чтобы проявлять особую требовательность к знаниям студентов. Двери вузов открылись для всякого рода «парттысячников», «профтысячников» — фактически были они оккупированы воинствующим хамьем и полуобразованной. Запомнился мне в Менделеевке некто Петров, вожак макеевских пролетариев, как он сам себя называл. Рассказывали, что перед этим Петров был начальником макеевского райотдела НКВД. Он картинно расхаживал по коридорам института в кожаной куртке, с пустой кобурой на боку, словно рабовладелец по своей вотчине, внушая страх даже профессуре и дирекции. Этот Петров от-

личался исключительной и откровенной наглостью. Не раз доводилось мне слышать от него: «Большевикам математика не нужна!» Когда же мы, питомцы средних школ, недоумевали, как можно учиться, не зная математики, он цинично отвечал: «А вас для чего мы держим?»

Окончивших нормальную среднюю школу «парттысячники» нещадно эксплуатировали. Мы тратили на них по три-четыре часа в день, натаскивая их по каждому предмету. Партийная фанаберия не позволяла им расписаться в своем ничтожестве. «Нет такой крепости, которую большевики не могут взять!» — вот был их главный лозунг.

С грехом пополам эти неучи с партийными билетами все же заканчивали курс науки, тут же получая ответственные назначения. Некоторые стали даже наркомками и начинали командовать теми, кто в институте сдавал за них экзамены. К счастью, власть их была кратковременной, по крайней мере, многих из них, которых Сталин упрятал в места не столь отдаленные.

Такой была вузовская атмосфера. Канули в Лету традиции старого студенчества. Студенты уже отвыкли делать то, что они хотят. Более того, многие не знали, собственно, чего они хотят. В душе у них была пустота, им не нужна была свобода. А мне свобода все-таки была нужна, хотя с некоторых пор я предпочитал хранить свое мнение при себе, с однокурсниками старался не сходиться. Мне было скучно слушать их разговоры о тряпках: кто и где что достал.

В свободное время я уходил на Белорусский вокзал, благо он был рядом с институтом. Смотрел, как провожали людей в свободный мир. Когда поезд трогался, мне хотелось вспрыгнуть на подножку вагона... Я не хотел жить по образцу моих отцов. За неприятием их позиции не было, однако, у меня и своей собственной. Просто я не хотел жить, как они. Хотел по-другому! Благие намерения!.. Дорога ими выстлана даже в ад...

И я продолжал посещать Менделеевку. Учебный план ин-

ститута подавлял своей бессмысленностью. Куда укроешься от курса марксизма-ленинизма, который похищал 25 процентов твоего времени (лекции, семинары, конспекты), и если еще приставлено к тебе недремлющее око комсорга и парторга.

Вдобавок к марксизму и общественная работа, особое рвение к которой проявляли наши «парттысячники». Они были присяжными ораторами на всех собраниях, без конца проводили различные кампании, разоблачали «классового врага». Их вопросы были предельно просты: «Кто против? Нет! Воздержавшихся? Нет! Принято единогласно!» Даже профессура боялась собственной тени.

Вспоминается случай с профессором Чичинадзе, который был еще моим учителем по химии в Пятой школе имени Калинина. На лекции, при демонстрации опыта, Чичинадзе имел неосторожность сказать: «Вы сами видите, какой противный красный цвет». Через несколько дней Чичинадзе исчез, и больше о нем никогда не слышали.

Особенно неприглядную картину являл собой институт в дни очередных партийных чисток. В эти дни аудитории пустовали, зато в коридорах царил невероятный шум. Пробуждались самые низменные интересы людей. После чистки разоблаченный исчезал из института. Был у нас в группе студент со странной фамилией — Недовес. Он особенно неистовствовал на чистках и вечно требовал крови. Позднее и он исчез. Сказали, что он оказался сыном кулака с Кубани: поистине чистка могла унести любого и каждого.

Учась в Менделеевке, я продолжал встречаться со своими школьными товарищами. Сидя за накрытым, изысканно сервированным столом, они болтали о путях, какими доставались им эти блага жизни. Немного подпив, начинали подводить теоретическую базу: «Так все живут! А мы что рыжие? Плетью обуха не перешибешь... Должны, наконец, подумать и о себе!» Сделать это им, однако, не удалось. За них подумал и уготовил им счастливое будущее их великий вождь и учитель.

ГЛАВА 7

С Витей Беловым я подружился еще в Пятой школе. Был он на класс младше чем я, и относился ко мне с большим уважением. Меня всегда куда-то избирали, всегда я что-то возглавлял. К тому же ему, по-видимому, импонировала моя физическая сила, мои успехи в спорте.

В школе Белова недолго любили за гонор и большое самомнение, которого он не скрывал от окружающих. Он совершенно искренне верил, что ему на роду написано стать вождем мирового пролетариата. Я подтрунивал над ним, однажды он даже послал мне протест в стихах.

Одна строка из его послания запомнилась: «Человек, лишенный жажды славы — это все равно, что автомобиль без горючего». У Вити хватало горючего на целую танковую дивизию! Его угнетало, что он не принадлежит к «ста семействам» партийно-советской олигархии; среди Троцких, Рыковых, Калининных и Каменевых его фамилия как будто и не числилась, хотя и жил он со своей милой мамой в Пятом доме советов.

Отец Вити, бывший чекист, жил отдельно от них. Раз или два я встречал его, был это, надо сказать, пренеприятный субъект.

Заботу о Вите и его маме взял на себя директор 22 авиазавода Беленкович, в прошлом командир Буденовской дивизии, приходившийся Вите дядей. В 1928 году Беленкович привез с Дона восемнадцатилетнюю красавицу — казачку Марину, которую поселил в тайне от своей жены в квартире у Беловых. «Мою бабу не тронь!» — предупредил он Витю.

Марина была дочерью бывшей пассии Беленковича, жены казачьего офицера, ушедшего с белыми. В один из рейдов своей дивизии Беленкович взял приступом маму Марины, но не успел, а может быть и не хотел защитить ее, когда в Армавире она попала в лапы ЧК.

Зато Марину, в тайне от всех он растил и холил, предвкушая, какой прекрасный цветок достанется ему в бу-

дущем. Марина Беленковича не любила, может быть, считала его виновником смерти матери, но перед соблазном прекрасной жизни не устояла. Сначала согласилась на ампулу любовницы, а затем стала женой всесильного директора 22 завода.

У Беловых я бывал довольно часто и однажды застал Марину одну. На ней был легкий, почти прозрачный пеньюар, сквозь который отчетливо просматривалась ее фигура, прекрасные ноги. Я был мальчиком, никогда не знавшим физической близости с женщиной. «Иди сюда!» — негромко скомандовала она. Это, собственно, были единственные слова, которые она произнесла.

Через полчаса, когда все кончилось, она, вкрадчиво улыбаясь, спросила: «Что, в первый раз?» Я утвердительно кивнул головой. «Ну и повезло тебе, мальчик! — сказала она. — Понять и оценить это ты сможешь позже. Теперь уходи, с минуты на минуту могут придти!»

В Марине было что-то хищное, но и притягивающее. После той нашей встречи я каждый день жаждал видеть ее, но отношения продолжались недолго. Она была слишком расчетлива и никак не хотела ставить под удар свою жизнь с Беленковичем. Вскоре я потерял Марину из виду. Она уехала в отдельную квартиру, куда вскоре перебрался ее муж. Вновь я ее встретил спустя 20 лет при очень трагических обстоятельствах.

Рискуя отвлечь читателя, я хотел бы рассказать эту историю подробнее — иногда просто не верится, сколь причудливы и трагичны были судьбы людей, оказавшихся в чреве ГУЛАГа.

Итак, я встретил ее в 1947 году на Архангельской пересылке, в Морском порту, близ причалов. До этого никогда мне не доводилось видеть столь высокой концентрации убийц-рецидивистов, приходящихся на квадратный метр лагерной «жилплощади». Как только появились блатные, они выгнали за зону вооруженную охрану, и начальник ВОХРа вызвал на подмогу части МВД. Я воспринял

тогда эту меру, как очередную чекистскую перестраховку. Но это было не так: блатные затевали, как они выражались, «шумок», собираясь перебить охрану и с захваченным оружием двинуться в город.

К вечеру того же дня начальник оцепления отдал по мегафону приказ: «Заключенным немедленно разойтись по своим баракам. К нарушителям будет применено оружие без предупреждения». Все стало ясно на следующее утро: оказывается, ночью прибыл женский этап, и для того, чтобы его ввести в зону, потребовалось мужчин загнать в бараки. Уголовники были так давно лишены женщин, что готовы были идти на все, даже рисковать жизнью ради мимолетного свидания. Потерпев поражение в прямой схватке с охраной, они пошли на хитрость — послали лучших своих «простячек» (так они называли проститутку) ублажать надзирателей. «Простячки» были горды доверенной им миссией — они выручали своих мальчиков, и их не смущало, что их благотворительность протекала под аккомпанемент пулеметных очередей. Не смущало и то, что устраивались так называемые «трамваи» — групповые изнасилования, часто выглядевшие, впрочем, как групповая любовь, где все шло по взаимному согласию сторон.

Вот в этой милой обстановке и произошла моя встреча с Мариной.

Однажды утром мой сосед по нарам Мишаня Корзубый толкнул меня в бок.

— Хватит спать, Давид! Сейчас приведут вашу московскую. Никола Жид ее заказал. Толковал — генеральша, муж директором авиационного завода.

— Как фамилия? — успел я спросить Корзубого, и тотчас увидел перед настезь открытой дверью барака женщину с тряпкой и ведром. Она только закончила мыть вахту — в награду ей разрешили навестить мужчин. Одета она была в длинные синие шаровары, на глаза был низко надвинут платок. На вид ей можно было дать лет тридцать. (Действие лагерной диеты благотворно влияло на женские фигуры.)

Затем я увидел, как Никола Жид — один из самых авторитетных на пересылке воров — провел ее к себе в закуток на нижние нары, завешенные цветастым ватным одеялом. Картинно откинув полог из одеяла, он выставил свою новую даму для всеобщего обозрения. «Генеральша» предстала моему взору в легком, полупрозрачном халатике — деталь, которой мне не доставало, чтобы вспомнить события двадцатилетней давности. Сомнений не оставалось: это была Марина, — мы сразу узнали друг друга.

Она всегда любила комфорт и — как это ни дико выглядело — не изменила себе и в лагере, став мимолетной подружкой знаменитого Николы Жида. Затем на моих глазах оказалась в объятиях еще девяти авторитетных воров. Она плакала, кричала, что пришла на вызов только к одному Николе Жиду, но ей на это резонно ответили, что и сам Никола не в праве нарушать законы блатного мира.

В последний раз я встретил ее в приемном покое. Мы были одни — «лепила» (фельдшер) и надзиратель в счет не шли. Время основательно поработало над Мариной. От былой красоты в этой лагерной матроне мало что осталось. Глядя в ее постаревшее, желтое лицо с тонкими морщинами у глаз, я почему-то вспомнил, как когда-то она сказала: «Что, в первый раз? Ну и повезло тебе, мальчик!»

Неожиданность встречи Марину не смутила. Особой радости она ей, конечно, не принесла, но и огорчений тоже. Эрозия чувства зашла у нее слишком далеко, чтобы обращать внимание на то, что произошло в бараке.

В сущности и меня с ней ничего не связывало. Перекинуть мост в прошлое как-то плохо удавалось.

— Не забыла меня еще? — спросил я.

Потупив глаза, она сухо ответила:

— Не забыла.

И была при этом поразительно спокойна, проявляя непостижимое равнодушие к собственной судьбе.

Но вернусь к своему рассказу. Беловы жили в одной квартире с Александром Слепковым. Я часто встречал там

Астрова, Марецкого, Айхенвальда из бухаринской школы молодых. Приходил на огонек и сам мэтр — Николай Иванович Бухарин. Речи, которые я слышал в этом доме, были полны искрящегося остроумия, приправленного, однако, изрядной дозой ничем не прикрытого цинизма.

Я изо всех сил старался понять этих людей, чувствовал, что они не стремятся к достижению порядка, который был бы лучше существующего. Стоит ли в таком случае ввязываться в их безнадежную игру? В свое время я не примкнул к троцкистам. Разве правые лучше их, мучимые единственной заботой, как бы не упасть с высоты вниз?

В те дни во мне жили как бы два человека: один — идеалист, рожденный философией и литературой, и рядом реалист, видевший события и людей такими, как они есть. Это были как бы мои два начала, которые неизменно чередовались: идеалист забывал о реалиях жизни, реалист забывал об идеалах.

Встречаясь с дядей Сашей — как я звал Слепкова — я хотел видеть в нем носителя новых идей. Но, увы, я чувствовал в нем всего лишь прирожденного политического вождя: умного, прозорливого и беспринципного. В зависимости от конъюнктуры он мог быть предельно жестким или предельно мягким. Поменяйся он в свое время местами с Николаем Ивановичем Бухариным, история государства российского могла пойти совсем по другому пути.

Витя Белов старался подражать Слепкову, готовясь стать вождем с целеустремленностью, достойной лучшего применения. Он подбирая себе своих будущих соратников (точнее будет — однодельцев!). Среди них были: Адя Свердлов, Дима Осинский-Оболенский и я. Адя и Дима жили в Кремле; для меня судьба уготовила «аппаратменты» тоже в Кремле... но в Соловецком кремле.

Запомнился один разговор с дядей Сашей в августе 1930 года, незадолго до XVI съезда партии. Бог миловал — разговор был без свидетелей. Говорили о колхозах, ре-

жиме в партии и, конечно, лично о товарище Сталине.

Дядя Саша сказал: «То, что происходит сейчас, словами не поправишь. Только силой можно изменить порядки в стране.

— Вы говорите о дворцовом перевороте?

— Нет. В настоящих условиях это невозможно.

— А что возможно? Индивидуальный террор?

— Да! Это много проще. Избавившись от него, можно восстановить нормальную жизнь и в партии, и в стране.

— Но как это вяжется с вашим учением о диктатуре пролетариата?

— Что поделаешь, если власть сосредоточена не у пролетариата и не у партии, а в одних руках. В этом случае террор против такого лица — единственный выход.

— Значит, вы против того, что ваш мэтр тратит усилия на борьбу в Политбюро и на пленумах ЦК?

— Да. Это не подходящая арена, где следовало бы действовать.

— А сумеет ли горстка храбрецов навязать свою волю стране, как Ленин в 1917 году?

— Нет, времена не те. Тогда не было НКВД.

— Но вы все же боретесь со Сталиным. Правда, пером, ораторским искусством, хоть и взялись за это оружие слишком поздно.

— Согласен, наши вожди — народ трусливый. Им уже есть что терять. Они полезли в драку, затем пошли каяться. Стары они, не хватает им чувства реальности.

— Зато у Кобы реализма хоть отбавляй! Он окружил себя людьми, которые его боятся больше смерти. Что ему нужны идейные люди? Идеи можно сменить, страх — никогда! Его кадры готовы к любому насилию. Помните, как из вашего дома одноглазый Кишкин вывозил Троцкого в ссылку в Алма-Ату?

— Сегодня Троцкого, а завтра кого прикажут, — горько заметил дядя Саша.

На этом наша беседа оборвалась. В комнату вошла его

жена. Больше мы к этой теме никогда не возвращались. Не касался, мне кажется, Слепков этой темы ни с Андреем Свердловым, ни с Витей, ни с Димой Осинским. Иначе это бы выявилось на следствии в 1935 году. Диалог со Слепковым оказался всего лишь разговором. Реализуйся он на деле, не одна сотня тысяч человеческих жизней была бы спасена.

Вечером, после закрытия XVI партсъезда я забежал к Вите узнать новости. У него уже сидели Адя Свердлов и Дима Осинский — дожидались прихода к Слепкову Бухарина. Всех разбирало любопытство, чем закончилась «битва русских с кабардинцами». После покаяния на XVI съезде партии Николай Иванович должен был придти на покаяние к Слепкову. Последний не возражал против того, чтобы зашли к нему и мы. Он надеялся, что одним фактом своего присутствия мы поубавим покаянный фонтан Н.И. Ждали его очень долго. Слепков нервничал. «Второе покаяние за один день, не много ли? Мэтр явно не торопится», — язвительно иронизировал он. Вошедший наконец Бухарин был спокоен, ничуть не смущен, хотя и выглядел несколько возбужденным. Час назад он произнес очередную покаянную речь. Мы были разочарованы его поведением, как и, вообще, поведением старших.

Как никогда у них была возможность устранить Сталина, воспользовавшись провалом коллективизации. Но они этого не сделали. Побоялись! Сталин был признателен правым за столь неожиданную помощь. На радостях простил, оставил в партии. Николай Иванович был доволен.

Впервые я встретил Бухарина в 1922 году на Международном слете юных пионеров, затем, спустя два года, в Кисловодске, о чем я уже упоминал.

Внешне он был ничем не примечателен: в кожаной куртке, кепочке, я никогда его не видел с охраной (хотя, может быть, она и была), и вообще, демократизм у Николай Ивановича был натуральный, ничуть не наигранный. Он любил нравиться окружающим, женщинам, был разговорчив,

нарочито раскован, словно даже обликом своим хотел отличаться от нудных ортодоксов, которых так много было среди его многочисленных друзей и сторонников.

Бухарину нравилось разговаривать со мной, особенно, когда я начинал вслух философствовать (возможно, это казалось ему занятым). Когда я задавал ему неудобный вопрос, он весело хлопал меня по плечу и восклицал: «Хочу быть Додей Азбелем».

Однажды, в Кисловодске, я встретил его вместе с Зиновьевым. Они что-то оживленно обсуждали. Я поздоровался и решил пройти мимо. Но Бухарин меня остановил, предложил присоединиться. Очевидно, ему хотелось сменить тему разговора. Зиновьев был сильно возбужден и не обращая на меня внимания, продолжал:

— Пойми, Николай, я политический деятель, а не уголовник. Как он только мог мне предложить это? Я требую немедленного созыва Политбюро.

Бухарин испытующе взглянул на Зиновьева, потом на меня, как бы желая сказать: «Не при прислуге!» И Григорий Евсеевич мгновенно замолчал. Где-то в извилинах моей памяти запомнилась эта встреча у «Красных камней», невольным свидетелем которой я стал.

Почему в тот день Зиновьев был так взволнован, узнал я лишь шестнадцать лет спустя, в Орловской тюрьме. Мой сокамерник Христиан Георгиевич Раковский присутствовал на заседании Политбюро в августе 1924 года, где Зиновьев обвинил Сталина в том, что тот предлагал ему принять участие в покушении на Троцкого. Произошло это во время их совместной прогулки на Медовый водопад, опять же близ Кисловодска. Сталин не отрицал факта разговора, но сказал, что это была шутка. Эту свою зловещую «шутку» он реализовал много лет спустя, в Мексике.

И вот теперь, в доме Вити Белова, я снова говорил с Бухариным. Видя, как он радуется тому, что оставлен в партии, я сказал:

— Николай Иванович, хотите расскажу анекдот, он к месту.

— Ну что ж, говори.

— Еврей попал в железнодорожную катастрофу. Ему оторвало руки и ноги. Лежит, истекает кровью. Улыбается. Подходит спасательная команда: «Ты чего улыбаешься?»

— Хорошо! Гарью не пахнет!

— Юмор висельника. Но идея понятна, — засмеялся Бухарин.

Затем говорили о внутривнутрипартийной демократии. О демократии для всех мы как-то тогда мало думали. Не знали пророческих слов Розы Люксембург: «Средство против капитализма, придуманное Лениным и Троцким, — всеобщее подавление демократии — хуже самой болезни».

Бухарин сетовал на невозможный режим в партии, и я не удержался, хотя и стремился быть корректным:

— А когда троцкистов громили, партийный режим не мешал?

— Тогда не мешал!

Любимец партии, как именовал его Ленин, был не лишен чувства юмора.

Видя, что Бухарин в хорошем настроении, Андрей Свердлов продолжил:

— Мой дядя Ягода рассказал мне анекдот. Тоже к месту. После съезда вы подходите к Кобе и решили поплакаться в жилетку. А он вам и говорит: «Это ничего еще, Николай, это цветочки. Ягода потом будет!»

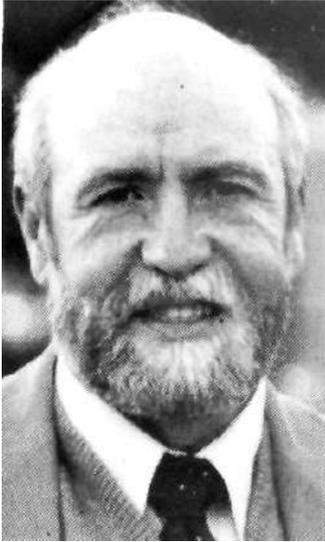
— Дяде твоему, пожалуй, виднее, — снова засмеялся Николай Иванович.

Бухарин, будучи человеком мягкой, артистичной натуры, к тому же и необыкновенно талантливый, никогда не претендовал на роль вождя номер один. Он хорошо уживался с Лениным, мог ужиться и со Сталиным, как Молотов, например, не помешай ему в этом его школа молодых, куда входили лучшие умы партии тех лет. И прежде всего Слепков, в котором Сталин, «великий ведун человеческих душ», видел опасного и талантливого сопер-

ника. Бухарин подшучивал в этот вечер над «великим знатоком русской литературы». Сталин кроме Салтыкова-Щедрина и Гоголя никого не знал и знать не хотел. Николай Иванович рассказал, как Сталин однажды поразил его эрудицией: «Послушай, Николай, ведь Гоголь сюжет «Мертвых душ» спер! Таки спер! А знаешь у кого?.. У Пушкина!»

Бухарин шутил, а Слепков молчал. Ему было не до шуток его мэтра. Он, как никто, понимал: это начало конца. Понимал, что ставка на Бухарина бита. За мягкотелость и нерешительность учителя придется платить своею жизнью ему. Кажется, первым почувствовал приближение беды Дима Осинский — и именно в тот вечер, когда мы вышли из Пятого дома на улице Грановского. «Покаяние уже было, — сказал он, — за панихидой дело не задержится!» Впрочем, сам Дима панихиды не дождался: он погиб в лагерях за год до казни Бухарина.

Окончание в следующем номере



Юрий ДРУЖНИКОВ

ДОМА У СТАЛИНА БЕЗ ЕГО ПРИГЛАШЕНИЯ

Из будущей книги о прошлом

Московский писатель Тыковлев (изменю ему фамилию, чтобы не обижать), вполне преуспевающий, а тогда молодой и целеустремленный, в начале 1953 года закончил поэму. Герой ее — мальчик, очень трогательно выписанный, идет со свертком на Красную площадь, прямо к Спасской башне. Чтобы не возникло более современной мысли о нехороших замыслах мальчика, сразу уточню. Мальчик решил вручить подарок Сталину и этим выразить любовь миллионов детей. Впрочем, «миллионов» — политическая ошибка. Надо написать «всех».

Мальчика не пропустили. То есть, вообще, да, пожалуйста. Сталин, как никто, любит детей. Но сейчас это исключено. Дяди даже повели глазами в неопределенное небо за кремлевскую стену: вон, видишь, окошко светится? Там день и ночь он стоит у руля. Он пишет. Когда не пишет, думает. «О всех о нас он думает в Кремле». Думает о судь-

бе человечества. И о тебе, мальчик. А подарок оставь. Его передадут, когда Сталин выйдет на минутку в мавзолей посоветоваться с дедушкой Лениным. Имя свое написал? Ну, и ступай быстрее отсюда.

Тут у мальчика отрастают крылья ангела, и он, счастливый, улетает. Или ничего не отрастает. Просто, выполнив пионерский долг, герой уходит на своих двоих. А мудрый человек в Кремле, прервав на секунду напряженный труд, подходит к окну и, шурясь от солнца, провожает мальчика теплым взглядом.

Стереотипы гипнотизируют. Хочется написать «мальчик» без мягкого знака, как он произносил. Но не буду: ведь в трудах по языкознанию он мягкий знак не запретил. А мог бы. И никто б не пикнул.

Тема поэмы Тыковлева была не на все сто процентов оригинальна. Вот, например, такое же: «Сталин часто курит трубку, а кисета, может, нет. Я сошью ему на память замечательный кисет». Один мальчик в моем классе во время войны, декламируя это стихотворение, вместо слова «кисет» говорил «корсет». Другой мальчик говорил «кастет». Где эти мальчики, я не знаю. Что касается семантики процитированной парафразы, то теория учит, что маслом кашу не испортишь. В общем виде, данный сюжет давно сформулирован в полублатной песне «Мама, я Сталина люблю».

Все должны были его любить. Многие любили — кто теперь проведет грань? Некоторые уважают посейчас. Но речь дальше не о любви, как подумал проникательный читатель. И не о поэзии (профессор Колгейтского университета Ричард Сильвестр уже занимался интереснейшим исследованием о Сталине как герое советской поэзии). Вопросы вполне прозаические: почему герои поэм шли именно в Кремль? Где на самом деле жил Сталин? Откуда управлялась страна?

Как и все советские люди, он был где-то прописан. Не на небе. Местом тем был действительно Кремль. Взоры

прогрессивного человечества были устремлены по месту его прописки, а он, подобно многим другим советским людям, жил в другом месте непрописанным. Теперь все знают, где. При его жизни это была стратегическая тайна, которую хранило (не считая спецслужб) весьма ограниченное число лиц.

Большинство тех, с кем он встречался по делам или без, привозили в Кремль, где он после переезда продолжал иногда бывать. Туда, где он жил, нужных лиц доставляли в машинах с занавешенными окнами. Сопровождающие говорили: «Везем в Кремль». Такая серьезная игра. Настолько серьезная, что и много лет спустя даже для авторитетных авторов источником информации служил официальный миф. Скрупулезно точный Роберт Конквист в книге «Большой террор» (издание 1969 года) констатирует, что Сталин жил в скромной квартирке в Кремле.

Надо определенно уточнить, что Иосиф Виссарионович выехал из Кремля в московский пригород в 1934 году. Квартира его в Кремле оставалась. Всегда ожидая покушения (как сегодня Ясир Арафат), он до последнего момента не говорил даже начальнику охраны генералу Влазику, что поедет домой. Но почти всегда уезжал в Кунцево. Потом настал период, когда он вообще перестал выезжать, а затем, подобно многим старикам, перестал и выходить из этого дома. Даже советоваться с дедушкой Лениным в мавзолее перестал.

В телефонных переговорах, которые могли подслушать враги народа, на жаргоне охраны, приближенных и его самого Кунцевская дача называлась «Ближняя», в отличие от других, дальних его дач. Я узнал о кунцевском доме, попав в гости к Сталину. Правда, сам хозяин за полгода до этого умер. Очутился я там в конце 1953 года. Потрясение, несмотря на легкомыслие молодости, оказалось настолько сильным, что детали впечатались в память намертво.

Дом этот позднее был описан в книге Светланы Аллилуе-

вой «Двадцать писем к другу» (Лондон, 1967, в основном, страницы 17-23). Далее мне придется не раз сравнивать то, что, конечно же, автор писем к другу знает лучше, с тем, что я однако же, видел собственными глазами. Светлана Иосифовна была последний раз в кунцевском доме в день смерти Сталина, а я — после. Разночтения представляются важными, любопытными. Они имеют свои причины.

Был я студентом третьего курса пединститута в Москве, на Пироговке. Сейчас в Америке и на других материках немало выпускников нашего института — хоть организуй вечер встречи. Ответственную за культмассовые мероприятия в группе звали Нина Иванова. Тоненькая белокурая девочка, она оперативнее других вышла замуж, само собой, за нашего однокурсника. Оказалась она жесткой, со вздорным характером, избалованной. С мужем ссорилась на лекциях, делая аудиторию соучастницей семейной свары. Казалось, лекция по зарубежной литературе эпохи Возрождения читается на коммунальной кухне.

Всегда голодные, мы глотали слюны, когда в перерыве она вытаскивала из маленького зеленого чемоданчика бутерброд с красной или белой рыбкой, какой-нибудь фрукт зимой. Восемь лет прошло после войны, но многие в группе с начала войны ни разу сытно не поели. Зато общественная деятельность Нины заслуживала уважения. Она пеклась о коллективных походах в кино и музеи, о кассе взаимопомощи, в которой иногда удавалось взять займы рубль, если вернул предыдущий долг.

В конце ноября Иванова подошла ко мне между лекциями и шепотом спросила:

— Хочешь попасть в список желающих посетить дом Сталина?

Я выпучил глаза.

— Скорей всего, не получится, — поспешно прибавила она, — но шанс есть. Никаких вопросов! Молчи, как рыба, и всегда носи с собой паспорт.

Оставалось догадываться, в чем дело: отец Ивановой был начальником хозяйственного управления Кремля.

Эпоха висела странная. Сталина оплакали девять месяцев назад. «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке», — примерно так смекнули лидеры и, на всякий случай, пристрелили Берию. Происходили таинственные перетряски наверху. Хрущев рвался вперед, но разрыв между ним и остальными оставался легко преодолимым. Глава отдела Культуры ЦК и почтенной памяти сталинский секретарь Союза писателей Дмитрий Поликарпов вдруг оказался в опале в кабинете на Пироговке директором нашего института.

Повеселели и чуть-чуть осмелели капустаники, которые мы делали с одноклассниками, в том числе, Юрием Визбором и Юликом Кимом. В институте вырос процент лиц с пятым пунктом. На литературный факультет зачастили выступать писатели (помню Федина, Эренбурга, Светлова). Прекратилось славословие великого из великих, хотя в лекциях по-прежнему обильно цитировали две его брошюры — по языкознанию и экономике.

Боюсь перенести сегодняшний цинизм на ощущения того времени и исказить картину. Ни намек на злоупотребления Сталина сказано не было. Многое воспринималось в лоб. Бог стал полубогом. Но посещение дома, где полубог жил, казалось ирреальным. Тем не менее, через пару дней культорг Иванова сообщила, опять по секрету, что путевка оформлена, и нас повезут в «только что открытый закрытый музей». Терминология не вызвала недоумения, суть тоже. Естественно, после смерти Сталина открывается музей. Есть же музеи других великих людей. Объявить нельзя: толпа начнет давить, как на похоронах. И требование естественное: «Паспорта! Главное, чтобы у всех были с собой паспорта!» Кругом враги.

Падал пушистый снег. Разбрасывая снежное месиво, к скверу возле института подкатил небольшой автобус — белый верх, голубой низ — обляпанный грязью. Шофер про-

верил путевку и пересчитал пальцем севших. Нас двенадцать. Окна закрыты занавесками, но не сплошными. Проехали Киевский вокзал, оказались на Минском шоссе. С него свернули влево за Поклонную гору. Сразу попали в густой лес. Снег перестал идти.

Вдруг дорога и снег вокруг стали чистыми, по-новогоднему обвисли от тяжести лапы елок. Ни жилья, ни людей, если не считать милиционеров, прогуливавшихся вдоль обочин. Везли недолго. Никто не шутил, не смеялся. Молчали торжественно, будто на похоронах.

Автобус свернул, и пасмурный день озарился светом прожекторов. Шофер затормозил. Когда глаза привыкли, стало видно, что нас окружают военные в форме ГБ. Не выясняли, кто мы и что, знали. Просто стали пересчитывать. Потом открылись ворота. Автобус въехал и снова замер.

Позади забор высотой метров пять, темно-зеленый. Внутри, на некотором расстоянии от него, еще ограждение — из колючей проволоки. Вдоль забора — узкая асфальтовая дорожка, освещаемая фонарями под черными абажурами. Сейчас бы сказал: лагерная зона.

Снова несколько человек в форме вокруг автобуса. Двое влезли в проход и берут паспорта, глядя каждому в лицо и сверяя со списком. Заглядывают под сиденья, что приводит в смущение прекрасную часть группы, стискивающую колени. Проверяющие уходят в служебное помещение, а в автобус влезает двое молодых людей в штатском и с равнодушным видом садятся на заднее сиденье. Стоим, молчим, ждем.

Через некоторое время по ступенькам взбирается женщина средних лет, я бы сказал, строго-красивая. Здоровается, предупреждает:

— Нельзя отставать ни на шаг, нельзя фотографировать, нельзя записывать. При выходе из автобуса нельзя брать с собой никаких сумок, свертков или книг. Нельзя курить. Мужчины должны оставить шапки на сиденье.

Она делает паузу, кивает шоферу, чтобы трогался. Гебисты расступаются. Стоя на ступеньке, вполборота к нам, женщина меняет интонацию на вполне экскурсоводскую.

— Вы находитесь на территории, где расположен дом, в котором жил, работал и умер гениальный вождь прогрессивного человечества Иосиф Виссарионович Сталин. Когда товарищ Сталин выбрал участок в Кунцеве, здесь был пустырь, голое место. Лес, по которому мы едем, посажен искусственно, по указанию товарища Сталина.

Заявление это казалось неправдоподобным: автобус двигался минут десять (а может, показалось, что так долго) по чистой узкой асфальтовой дороге, на которой нельзя разъехаться, по большому, настоящему лесу. Вековые сосны и ели росли то густо, то реже, но вплотную к автобусу с обеих сторон.

— Кроме того, — продолжала экскурсовод, — здесь искусственно прорыты овраги, насыпаны холмы, и все это по личному указанию товарища Сталина, который очень любил природу. Видите, в лесу дорожки? Когда шел снег, их протапывали, чтобы он мог гулять в лесу.

Днем шел снег, и в лесу действительно были протоптаны дорожки. Для кого? Ведь любитель лесных прогулок умер прошлой весной... Может, просто забыли отменить приказ протапывать? Изредка в лесу видны фонари и торчащие трубы с кранами для полива.

Незаметно на нас выплыло двухэтажное здание, окрашенное в зеленый цвет, с застекленной террасой и обычным парадным входом, возле которого автобус встал. Нам предлагают вылезти и стоять на месте, не двигаться. Нас пересчитывают. Автобус отъезжает. Наступает мертвая тишина. Дом, как явствует из объяснений экскурсовода, спроектирован архитектором Мироном Мержановым по личным указаниям Сталина и построен в 1933-34 годах. Здесь нужен комментарий.

Мержанов строил и другие дачи генсеку на Кавказе и в Крыму. К мысли о выезде из Кремля Сталина, по свиде-

тельству дочери, подтолкнуло самоубийство жены 8 ноября 1932 года. Но, думается, другим, более практическим соображением было желание отделиться от остальных партийных лидеров. Все они жили в Кремле. Ему хотелось иметь свой особый «кремль».

Дорожки тщательно расчищены, лишний снег вывезен. Справа от входа укромная небольшая дверка. Товарищ Сталин не любил парадного входа, объясняет экскурсовод. Машина подходила вплотную к этой двери, и он исчезал в ней. Что это было, думаю я теперь: скромность, революционная привычка к конспирации или чувство постоянной опасности? А может, свойство характера?

Глядим вверх, на второй этаж. Сперва второго этажа у дома не было. На крыше размещался солярий. Но владелец дома больше любил лесную прохладу. Второй этаж был пристроен в 1948 году, вспоминает автор книги «Двадцать писем к другу». Стояла надстройка без дела, если не считать одного приема китайской делегации. Нам экскурсовод объяснила иначе:

— Надстройку (видите, она меньше первого этажа — дом на доме) приказано было быстро сделать во время войны.

Тут «жили представители генерального штаба». Там, в небольшом помещении, днем и ночью решались судьбы страны, да и всей Европы.

Нас ведут вокруг дома. Едва начинает смеркаться. Вдоль застекленной террасы, укрытые от мороза рогожами, выстроились кусты, припорошенные снежком. Чуть далее — вишневые деревья, наверное, красивые, когда в цвету. Из пояснений явствует, что под рогожами розы. Садовники сажали и ухаживали за ними по указаниям и под наблюдением хозяина дома. Сам он не любил работать в саду. Но иногда брал ножницы и срезал сухие ветки.

С противоположной стороны дома открывается вид на березовую рощу, посаженную искусственно. Там беседки. В них шезлонги, столы, кресла. Старик гулял от одной беседки до другой. Туда ему приносили чай.

— Еще до начала строительства дома, — говорит экскурсовод, — сюда начали перевозить двадцати- и тридцатилетние деревья из Московской и Смоленской областей. Именно тогда у товарища Сталина зародился великий план преобразования природы нашей родины.

От березовой рощи дом отделяет ложбина, похожая на широченный ров с текущим внизу ручьем. Через ров переброшен мост с толстыми перилами. Много лет спустя я узнал, что средневековая идея возродилась в мозгу человека XX века. Холм, на котором поставили дачу, окопали гигантским рвом, перебросив через него два моста. Рвы заполнили водой, поступающей из реки Сетуни, тщательно охранявшейся от истока до Кунцева.

По мосту, миновав березовую рощу, выходим к оранжевым. Ярко сияют стеклянные стены и крыши. Внутри на ветках грозди винограда. Виноград выращивался по личным указаниям, вино делалось по рекомендациям хозяйна. И в этой области он был специалистом.

— Садовники высокой квалификации работают тут над осуществлением агрономических идей Мичурина и Лысенко, одобренных товарищем Сталиным, — просто объясняет экскурсовод.

Без сомнения, они были не только высокой квалификации, но и определенных чинов. Кто еще мог тут находиться постоянно, внутри двух колец охраны — грузинской и русской, не говоривших на общем языке? Кому еще доверили бы выращивать для него овощи и фрукты? Ведь экскурсовод пояснила, что Сталин любил питаться свежими овощами со своего огорода и давал указания, как их правильно выращивать.

Время от времени наша группа останавливается. Снег перестает хрустеть под ногами, экскурсовод умолкает и наступает тишина. Она давит на уши. А может, это просто кажется от нервного напряжения. Все-таки 1953-й.

Другой, то есть заборный мир здесь отсутствует. Живая природа, созданная искусственно, красива, но остается

муляжом. Жизнь здесь остановилась в марте. Время умерло вместе с хозяином усадьбы. Ни птицы, ни белки на деревьях. Необитаемый остров. Ни войти, ни выйти без сопровождающих, которые у тебя за спиной. Ощущение жителя чужой планеты, хотя где-то недалеко Москва.

Внезапно, возвращаясь лесной дорожкой к дому, обнаруживаем, что мы не одни. Навстречу двигается группа, которая уже вышла из «музея». Впереди женщина-экскурсовод — полный двойник нашей. Позади двое — близнецы-братья. Между ними группа писателей. Узнаю Алексея Суркова, Бубеннова, Ажаева, сестру Владимира Маяковского, писателя Тыковлева, создателя поэмы о мальчике, спешащем в Кремль. Опубликовать ее Тыковлев не успел.

Смеркается. Загорелись фонари. Лес оказывается освещенным. Едва мы приближаемся к дому, человек в форме ГБ открывает парадную дверь. Экскурсовод входит первой, последними двое в штатском. Здесь тепло.

— Снимайте пальто, вешайте на вешалку. На обувь привязывайте тапочки...

Обыкновенные музейные тапочки с веревками. Будь это сегодня, кто-то обязательно спросил бы, носил ли такие тапочки сам. Тогда в прихожей тишина нарушалась лишь шуршанием одежды. Ощущение мавзолея.

Без пальто и в тапочках я оглядываюсь. Налево, прямо и направо двери в комнаты. Между дверями лифт. Рядом ванная и уборная. На панели лифта четыре кнопки. Значит, еще один этаж вверх и два этажа вниз.

— Вверху, — произносит экскурсовод, — кинозал.

Про «внизу» не упоминает. Никто, разумеется, не спрашивает. Нет упоминания о бункере, в котором Сталин провел опасные месяцы войны, и в книге «Двадцать писем к другу».

Нас вводят в комнату метров двадцати, почти без мебели, если не считать большого овального стола посередине и дивана.

— На столе вы видите газеты за первые дни марта. Сю-

да приносили по утрам почту, и он сам просматривал. Вы видите письма трудящихся о беззаветной любви к нему. Эти газеты и письма товарищ Сталин прочитать не успел...

Ну, разумеется, письма о любви. Письма с мольбами и горем текли по другой реке. Лишь чистый ручеек ответвлялся в эту обитель.

Возвращаемся в коридор и проходим в столовую. Обыкновенная квартира. В Москве в те времена были лучше, красивее, дороже — у академиков, народных артистов, лауреатов Сталинских премий. Сам раздатчик премий жил скромнее их. Тут сервант светлого дерева, недорогой. В нем посуда. Посередине, под матерчатым с кистями оранжевым абажуром, стол. Диван с круглыми валиками и высокой спинкой. Окостеневшая мода тридцатых годов. На столе ваза с яблоками. На серванте открытая бутылка «Боржоми», стакан. Холодильник — не очень большой, склонен считать, один из первых советских. Невысокий книжный шкаф. За стеклянными дверцами сочинения — конечно, Маркс и Энгельс, Ленин. Для примера открыты книги: в них ученические подчеркивания заученных всеми со школы цитат.

— Здесь он обедал, — поясняет экскурсовод (как выяснится позже, на самом деле, чаще всего не здесь).

Кухня не в доме. Еще выходя из березовой рощи, экскурсовод обратила внимание на длинный крытый переход, соединяющий дом с флигелем. Там была кухня и столовая для челяди: шоферов, охраны, официантов, садовников, поваров, генералов охраны, комендантов имения. Хозяин не переносил кухонных запахов, объяснили нам тогда. Напоминали они ему о детстве, которое он не любил вспоминать? Или это было сделано для отдаления прислуги?

— В доме было заведено, что подавальщица, которая приносила еду, сперва пробовала каждое блюдо...

Экскурсовод вдруг выговаривает это, оставив без объяснения, и сразу ведет из гостиной налево, в зал, кото-

рый никак не вяжется с небольшой квартирой. Скромность хозяина несколько гипертрофируется. Зал длиной метров тридцать. Овальный противоположный конец, как в дворянских особняках позапрошлого века. Много одинаковых окон, плотно задраенных тяжелыми белыми гардинами, такими же, как во всех важных учреждениях центра Москвы.

Нижняя часть стен, метра на полтора от пола, коричневая, отделанная карельской березой, что выглядит довольно казенно. Под окнами — батареи электрического отопления, укрытые решетками из такой же березы. В промежутках между окнами висят портреты. Это члены Политбюро: Маленков, Булганин, Каганович, Микоян, Ворошилов, Молотов, Хрущев...

Посреди зала, на всю его длину, стол. Плоскость покрыта темно-зеленым бильярдным сукном. Вокруг спинки жестких кресел из светлого дерева. Вдоль стен кресла, диваны. На полу колоссальный ковер на весь зал — кажется, единственная действительно дорогая здесь вещь.

— Мы с вами находимся в помещении, где проходили заседания Политбюро, — торжественно произносит экскурсовод. — Товарищ Сталин любил, чтобы каждый из присутствующих сидел за столом точно под своим портретом.

Ничто не смутило нас, двадцатилетних, тогда. Теперь читаю старую свою запись и останавливаю глаза. Что за домашние сборища лидеров? Они кто, подпольщики? Или генсеку лень было ехать на службу? А этот «подпортретный» ритуал?

В отличие от последующих выродившихся поколений Политбюро, тогда мы знали их не только поименно, но и в лицо. Сталин при жизни Берию не отдалил. Портрета Берии не было. Значит, убрали — единственное, что я тогда сообразил.

Экскурсовод опустила руку на спинку отодвинутого жесткого кресла с подлокотниками. Место это сбоку, возле

угла, не во главе стола. На зеленом сукне лежат аккуратно заточенные, непользованные простой и цветной карандаши, пачечка листов чистой бумаги. Подле пепельницы покоится трубка. Известно, что он перестал курить за несколько месяцев до смерти. Но трубка лежит.

— Товарищ Сталин любил сидеть за этим столом один и работать.

Чуть левее книга — не трудно узнать том из собрания сочинений Ленина. На странице отчеркнуто красным карандашом несколько строк и что-то мелко написано поперек поля. Экскурсовод прочитала надпись. Какую-то многозначительную банальность.

Позади стула у стены буфет, в котором он хранил свои бумаги, конверты с зарплатой (которую не расходовал) и лекарства, кои принимал по своему усмотрению. Например, капал в воду йод и выпивал. Врачи не могли его лечить не только потому, что их пересажали, но и потому, что указания, как во всех других областях, мог давать медицине он, а не в врачи ему.

На стене китайская вышивка — большой яркий тигр, да еще копеечные репродукции: портреты Горького и Шолохова, картина Репина «Запорожцы пишут письмо султану». Рядом несколько крупных фотографий детей. Экскурсовод комментирует:

— Товарищу Сталину понравились эти фотографии советских детей в «Огоньке», и он попросил увеличить их.

Читаю у г-жи Аллилуевой, что из восьми собственных внуков пятерых он не пожелал даже увидеть. И не в состоянии объяснить себе, как сопоставить оба эти факта.

Рядом с отодвинутым его креслом у стены небольшой стол. На нем два телефона — белый и черный. Один обычный, другой «вертушка». Два стула. Тот, что пониже — с короткими ножками.

— Товарищ Сталин был невысокого роста, — разгласила государственную тайну экскурсовод. — Когда он говорил по телефону, ему было неудобно сидеть, и он приказал

плотнику подпилить ножки стула. На большом стуле сидела секретарша.

Вот так, незначай, открывается вчерашняя истина. Обыкновенный стул, у которого простой советский крепостной мужик подпилит по приказу помещика ножки. Этот кургузый стул-уродец, стул-коротышка, стул-карлик, сделанный нормально, а затем изуродованный, и был треном державы. Местом, откуда она управлялась посредством двух телефонов — черного и белого. По второстепенным вопросам звонил черный телефон, по важным — белый, только и всего. Или не звонил, когда хозяин дремал. Веками столицами России значились Петербург и Москва. Советская истина в том, что секретной столицей СССР с 34-го по 53-й годы был город Кунцево, Московской области. Западных кремленологов правильнее было называть кунцевологами. Если б знать тогда сей факт.

«В этой комнате прошли все последние годы, почти двадцать лет», — отмечает в письмах Аллилуева, добавляя, что рядом с большим залом был малый. Нам его не показали. О веселых ночных застольях за этим гигантским столом, которые восточный человек уважал, когда был моложе, тогда не было сказано ни слова.

— Иосиф Виссарионович любил народные песни, — сказала экскурсовод, — русские, грузинские и песни других народов. Вы видите радиолу и большую коллекцию грампластинок.

От стола заседаний Политбюро нас сразу провели в дверь рядом с рабочим местом. Спальня. Маленькая квадратная комната, пара окон, тусклый свет. Слева по-старинному высокая и довольно широкая кровать (в России она называется «полупторной», в Америке «квинсайз») с деревянными спинками, аккуратно застеленная покрывалом. Подушки тщательно взбиты, одна на другой, покрыты накидкой. Напротив кровати платяной шкаф. Створки обычные, даже не резные. Дверцы открыты. Внутри две трети под вешалки, треть — полки для белья.

На вешалках в шкафу, как мираж: френч и шинель с погонами генералиссимуса, брюки с широченной красной полосой, — атрибуты гениального полководца, знакомые целому поколению. Дизайнеры проектировали уникальный костюм для одного человека. Лучшие анонимные портные меряли его перекошенную физическим уродством фигуру, чтобы скрыть изъяны. Мастерицы-золотошвейки плели узоры. Но — один френч. А мог бы иметь форму на целую роту генералиссимусов.

Рука потянулась, но прикоснуться я не решился. Вещи ношенные, не раз чищенные. Рядом два обычных темных мужских костюма, в которых мы его никогда не видели ни на фото, ни в кино. Носил дома один? принимал гостей? или держал про запас для срочного отлета в Вену или Цюрих?

На полках аккуратно положены стопочками нижние рубашки, кальсоны, свернутые в шарики черные, многократно стиранные носки. Внизу две пары черных ботинок, чищенных гуталином и тоже, заметно, поистертых. А рядом, у той же стены, еще книжный шкаф. Опять книги Ленина и советских писателей.

За несколько лет до той экскурсии мой школьный учитель истории Петр Васильевич Гора, большой знаток марксистской диалектики, которую он вдабливал нам по «Краткому курсу ВКП(б)», нещадно ставя двойки, не раз повторял, что Сталин ежедневно читает по 500 страниц. Откуда учитель взял эту цифру? Когда даже гению, читая по пятьсот страниц в день, обдумать прочитанное? С недоумением вспоминая убогую библиотеку, умещающуюся в паре небольших шкафов, я размышляю о вкусах этого быстрочитателя и о литературе, одаренной его премиями в соответствии с его вкусом.

Мы между кроватью и шкафами. За окнами уже тьма. Здесь, в спальне, такие же белые учрежденческие шторы. Перед ними черный рояль. Для чего и когда появился рояль в доме отца? Светлана Аллилуева вспоминает о

рояле, добавив, что не знает его происхождения. Она обратила внимание на перемещение рояля из большого зала в спальню, где Сталин на самом деле не спал. Сопровождающая нас женщина тогда говорила так:

— Крышка открыта, будто кто-то только что играл... Нет, товарищ Сталин сам не играл на рояле. Этот рояль принадлежал товарищу Жданову. Товарищ Сталин очень любил товарища Жданова и любил, когда тот играл. Когда Жданов умер, Иосиф Виссарионович приказал этот рояль привезти. На этом рояле играли те, кто бывал в гостях.

— Здесь? — вырвалось у кого-то.

— Нет, не здесь. Рояль переносили в зал.

Рояль принадлежал покойному свекру Светланы Иосифовны. Между тем, экскурсовод открыла дверь, которую мы не заметили. Это был еще один выход — из спальни на застекленную террасу. Плетеная дачная мебель, кадки с землей для цветов, но без цветов. На террасе стоял холод. Мороз зарисовал стекла узорами.

— Последние месяцы, когда он уже не мог гулять, он любил сидеть на этой террасе, — сказала экскурсовод. — В ту последнюю зиму, несмотря на морозы, он любил подолгу сидеть здесь в тулупе, шапке-ушанке и валенках.

Продрогшие, возвращаемся в спальню, оттуда в зал. Теперь зажгли для нас свет в левой, если идти из спальни, части помещения. Здесь, на светлом лакированном паркете, стоят несколько кадучек с пальмами и наискосок, не увязываясь с залом для заседаний, выдвинулся вполне домашний диван с круглыми валиками и нелепо высокой вздутой спинкой, заканчивающейся полочкой для статуэток. Диван как диван. Такой же стоял и у нас в комнате до войны. Очень неудобно было на нем сидеть. Голос экскурсовода звенит и падает:

— На этом диване вождь советского народа товарищ Сталин лежал больной и скончался...

Неоконченное слово повисло в тишине. Из глаз ее выступили самые настоящие слезы. Заплакала Нина Иванова,

за ней кто-то еще из девочек. Наконец, экскурсовод справилась с собой и продолжила спокойнее.

— Справа вы видите алые подушечки с орденами и медалями, которыми его наградили партия и правительство.

Она аккуратно и долго перечисляет, каким орденом, за что, когда. Наши глаза бегают за ее указательным пальцем. Вдоль стены, прикрывая камин, венки из бумажных цветов с железными зелеными листьями: от ЦК, от Совмина, от Союза писателей и прочих организаций, будто его еще только будут хоронить. Но студенты уже бродят по его апартаментам, заглядывая в шкафы. Значит, он все-таки умер. А если умер, для чего такая тщательная охрана? Почему нас стерегут, чтобы никто ни на шаг не отстал? И сейчас помню это чувство, тогда у меня возникшее. Чувство западни. Привезти-то привезли. А вот выйдем ли отсюда? Нас провожают в прихожую и велят одеться.

— А где кабинет? — робко спрашивает кто-то.

Ответа не поступает. После я прочитал у Аллилуевой, что кабинет был запроектирован архитектором. Но дом много раз перестраивался по приказам хозяина, и кабинет за ненужностью исчез.

Для нас открыта дверь. Выбираемся на воздух. Он промозглый и сырой. Автобус отворяет дверцу. Кино прокручивается в обратном порядке: лесная дорога в слепящем свете прожекторов, проходная. Осмотр, проверка документов по списку. А он тоже подъезжал и слепили? или для него прожекторы выключали? Наконец выезжаем на шоссе. Через полчаса нас выпускают у станции метро «Киевская». На душе пустота и странное чувство освобождения.

Дочь Сталина называет Кунцевский дом мрачным и пустым. Это субъективное ощущение. Мне он таковым не казался. Светлый, просторный, а при том нашем коммунальном уровне жизни — просто роскошный. Вокруг сказочная природа. В чем же неувязка в душе? Поньше не могу объяснить собственное ощущение. Попробую сформулировать так: шел в театр на Шекспира, а увидел Софоронова.

Нынче, после воспоминаний Хрущева и Аллилуевой, после исследований серьезных историков мы знаем больше подробностей о состоянии его здоровья, о том, как он умер. у него было высокое кровяное давление, и некому было его лечить. Незадолго до смерти он парился в бане, что не пошло ему на пользу. В конце склероз сосудов, инсульт с параличем половины тела и потерей речи. Нашли его на ковре в другой комнате и перенесли в большой зал, как сообщили вызванной к отцу дочери. Не смею спорить. Любопытно лишь, что экскурсовод сказала:

— Его нашли на ковре в этом зале, возле этого дивана. Подняли и положили на диван.

Перелистывая литературу, вижу множество разночтений, касающихся дома в Кунцеве. Необходимы точные детали его жизни и для историка, и для писателя. Мы все собираем детали — с миру по нитке.

Каков на самом деле был этот человек наедине с собой? Его вкусы, привычки, любимые занятия, его ум, мораль, культура, отраженные в быту по принципу «стиль — это человек»? Описывая этот визит, я стараюсь отделить то, что видел собственными глазами, от слышанного и прочитанного. Вчерне впечатления записаны в моем дневнике зимой, в начале 1954-го. Теперь необходимо кое-что прибавить.

«Формула «Сталин в Кремле» выдумана неизвестно кем», — пишет г-жа Аллилуева. Известно кем, осмелюсь я не согласиться. Конечно, им самим. Это была неотъемлемая часть большого государственного мифа. Попробуйте заменить на формулу «Сталин в Кунцеве» — и мифа нет. Главный мифодержец умер. Но мифодержавие осталось. (Прошу прощения за слова собственного изобретения, но нет подходящей замены самодержцу и самодержавию.) Возникла идея музея.

Дочь была в этом доме в декабре 1952 года на дне рождения отца. Затем ее вызвали за несколько часов до его

смерти. Светлана Иосифовна вспоминает важную подробность. «Готовились открыть здесь музей, наподобие Ленинских Горок. Но затем последовал XX съезд партии, после которого, конечно, идея музея не могла прийти кому-либо в голову». Я побывал в музее (и не я один) более чем за два года до указанного съезда. Но в промежутке между смертью Сталина и открытием музея произошло следующее.

На второй день, вспоминает Аллилуева, Берия приказал всем покинуть территорию. Сразу начали грузить и вывозить мебель и вещи на склады МГБ. Может, Берия, спросу я, вознамерился переехать в особняк из своего дома на углу Садовой-Кудринской и Качалова, неподалеку от музея Чехова? Прислуге, прожившей здесь двадцать лет, некуда было деваться. Двое застрелились. После отстранения Берии все стали завозить обратно, восстанавливать, как было. Пригласили назад бывших комендантов, прислугу. Не ошибусь, если скажу, что это происходило во второй половине лета и осенью 53-го.

В конце шестидесятых я познакомился с женщиной, музейным работником. Она рассказала, как осенью того памятного года ей позвонили и пригласили в приемную на Лубянку. Женщина простилась с мужем и детьми, взяла мешочек с сухарями и ушла.

Принял ее пожилой человек в майорских погонах. После проверки документов он весьма корректно попросил проехать с ним в одно место, где, как он выразился «нам нужна ваша консультация». Ее привезли в Кунцево. Там майор объяснил, в чем дело:

— Есть решение открыть в доме Сталина музей. Я был при Сталине всю жизнь. Сейчас здесь все, как при нем. Посмотрите, пожалуйста. Можно ли в таком виде открыть?

Ее провели по дому. Она насчитала шестнадцать комнат (нам показали не все). Во всех стояли диваны. На каждом диване лежала бурка.

— А где он спал? — спросила она.

— Этого никто не знает, — просто ответил его телохранитель. — В какой комнате он спал и когда — днем или ночью, мы только догадывались, чтобы его не побеспокоить. Спал он одетым. Изнутри запирал дверь или только накидывал дверную цепочку. Если прислуга знала, где он то в щель просовывала ему еду. Но разве это важно?

— Это личный музей, — отвечала женщина-музеевед. — В нем, согласно науке, необходимо сделать так, чтобы посетителям было ясно, где гостиная, где спальня и так далее. А тут получается, что все комнаты одинаковые. Например, у посетителей обязательно будет возникать вопрос: «Почему он спал в разных местах?» И экскурсоводы должны объяснить.

Майор ее внимательно выслушал и попросил:

— Вы не могли бы изложить все ваши претензии на бумаге?

— У меня нет абсолютно никаких претензий, — сказала, похолодев, музеевед. — Просто вы спросили — я ответила.

— Вот и изложите для руководства...

— А портреты были? — спросил я женщину.

— Какие портреты?

— Членов Политбюро?

— Нет, портретов точно не было.

Не упоминает портретов и автор книги «Двадцать писем к другу».

Через несколько дней музей принял посетителей. Видимо, спешили выполнить указание и наскоро заперли лишние комнаты. Чья была идея музея? Какова цель? Может, просто ритуальная инерция? Зачем развесили членов Политбюро?

Думается, распорядясь об открытии музея, сподвижники вождя думали не столько о его славе, сколько о себе.

Мифодержавие работало. Трон опустел, но собутыльники оставались в списке действующих лиц около трона. И кто его займет, было неясно. Не отказался бы ни один

из них. Но корабль накренился, собираясь затонуть. За подол шинели мифодержца придворные держались, как за спасательный круг, стараясь выплыть, остаться у престола.

В самом деле, Сталин вполне мог проводить заседания Политбюро с их портретами вместо них. Портреты столь же активно выражали свое мнение, как и оригиналы. Но зачем ему было глядеть на портреты тех, кого он глубоко презирал и использовал в качестве прислуги? Сегодня мне ясно: это они сами распорядились повесить свои портреты в этом зале и сочинили легенду о том, что Сталин сажал их под портреты. Так делал Сталин: на фотографиях он оказывался задним числом рядом с Лениным. Так они становились обладателями его скипетра.

Преемники Сталина несомненно хотели почестей, которые он могучей рукой загреб под себя. Именно поэтому первыми попали в музей лучшие писатели (нас, студентов, пропустили за ними по высокому благу).

Писателям предстояло продолжить традицию. Тыковлев, например, как только появилась возможность, создал поэму о мальчике, который несет в Кремль подарок товарищу Хрущеву. Опубликовать поэму Тыковлев опять не успел: Хрущева сменил следующий. А еще через пятнадцать лет талантливый этот писатель переработал поэму снова. Мальчик шел в Кремль к товарищу Брежневу. Но опять поэме не повезло. Я далек от придумок насчет коллеги. Надеюсь, ему скоро повезет. Тогда читатель убедится, что я не шутил.

Говорю это к тому, что местоительство лидеров остается по сей день тайной. Но все знают, что в Кремле они не живут. Хотя и имеют там покои, как говаривал покойный писатель Борис Балтер, на случай народных волнений.

Не знаю, сколько всего лиц и каких социальных категорий побывало в поместье в Кунцево. Полагаю, немного. Слышал, что музей через несколько дней закрылся. О нем, разумеется, не объявляли. Закрылся так же таинственно, как был открыт. XX съезд тут ни при чем. Происходило это

в дни смуты, когда окружение Сталина еще не знало, что делать: петь «Сулико» или затапывать прах. Впрочем, музей мог бы служить любой из двух противоположных целей. И, пожалуй, второй еще лучше. Но об этом чуть позже.

Для приведения впечатлений в норму той зимой я решил совершить паломничество в Кунцево еще раз, самостоятельно. Найти место и посмотреть хотя бы снаружи, из лесу, как оно выглядит, чтобы лучше запомнить. Намерением своим я поделился с приятелем, а он мне рассказал про человека, который туда пару лет назад съездил.

Человек пересек лес, держа за руку маленького сына. Успели они пройти буквально несколько шагов в направлении запретной зоны, когда тихо подъехала машина и его пригласили сесть. На допросе спросили, почему он оказался на шоссе. Он искренне ответил, что слышал, будто здесь проезжает товарищ Сталин, и хотел показать его сыну. Итог — десять лет за умысел покушения на вождя.

— Туда хочешь? — поинтересовался приятель.

— Так ведь Сталин умер, — возразил я.

— Много ты понимаешь! Сталин умер, но дело его живет.

В общем, тащиться туда я побоялся и вскоре об «умысле» позабыл. Бывать в тех краях я стал, уже когда у меня появилась машина. К тому времени город Кунцево, а с ним и реку Сетунь, идущую по низу Вознесенского леса, досаженного садовниками из органов в начале тридцатых годов, и древнее село Очаково, владение поэта Хераскова, и ряд прилегающих деревень — словом всю эту древнюю окрестность, включая сталинское имение, Хрущев росчерком пера присоединил к городу Москва.

Почему ни он сам, ни один из них не переселился на шикарную сталинскую дачу? Сделать это было не просто. Все они выглядели мелкогато на фоне хозяина дома. Так, на более низком уровне, герой соцтруда, лауреат Сталинской и Ленинской премий Чингиз Айтматов позже побоялся занять дачу, отобранную Литфондом у родственников Бориса Пастернака. Хочется, но страшно. Репута-

цию марасть не стыдно, она уже давно вывожена в грязи. Общественности тоже не бояться. А статья посмешищем в глазах коллег неловко.

Сталинский дом для лидеров новой волны еще и устарел. Повидав Запад, все они хотят иметь комфорт более современного уровня. Скромность в личной жизни и походный аскетизм террористов, всегда готовых смыться, стали ненужными. Дачи последующих руководителей располагаются в неприкосновенных лесах, подальше от центра города.

За годы после Сталина Минское (раньше Можайское) шоссе, построенное на костях сотен тысяч заключенных, перерубила широченная Минская улица. Теперь в этой части и шоссе названо Проспектом маршала Гречко.

Минскую улицу местные жители одно время почему-то звали Хрущевским шоссе. Перерезала эта новая улица и нелюбимое шоссе, идущее лесом вдоль Поклонной горы к сталинскому имению. Лес остался, но вокруг началось запрещенное тут при хозяине жилищное строительство. Стандартные корбки одинаковых домов заплонили Очаковскую округу и пойму реки Сетунь, демонстрируя собой унылое торжество такого градостроительства, на фоне которого даже сталинский ренессанс выглядит шедевром. В лесу, по другую сторону шоссе, сохранилась дача Калинина, куда иногда поселяют высоких гостей — лидеров братских компартий. Им показывают и «Кунцевский дом-музей».

На территорию имения я попал снова в 1976 году, поехав навестить больного друга-журналиста. Он лежал в одном из корпусов, где раньше помещалась сталинская охрана. Тут теперь возвели многоэтажное терапевтическое отделение больницы № 1 Четвертого управления Минздрава, филиал «кремлевки». Остановка автобуса на бывшем девятом километре Минского шоссе скромно называется «Первая больница». Не самая шикарная из их больниц, однако ж не для простых смертных. В одной палате с моим

приятелем, попавшим туда по благу, лежали зам какого-то министра, сын ответработника ЦК и личный шофер Блатова, помощника Брежнева, — вот он, отечественный табель о рангах.

Шофер Блатова жаловался, как растравил себе язву желудка из-за свадьбы дочери шефа. К свадьбе Блатову слали посылки секретари обкомов со всех концов страны. Шофер две недели носился как угорелый по почтам, вокзалам и гостиницам, собирая «барашков в бумажке». И конечно, со всеми пил. Вот и открылась язва.

Замминистра рассказывал, как наверху собираются закончить с евреями в стране. Польский путь — выгнать сразу — не годится: сперва надо подготовить замену в ведущих отраслях культуры и науки. А тем временем выпускать ненужных и держать остальных до подготовки русской смены. Ближе к вечеру разговоры в палатах стихли. Послышался треск радиоприемников. И шоферы, и министры вытаскивали из-под подушки коротковолновые приемники и настраивались на волну Голоса Америки.

Я вышел из бывшего корпуса охраны и пошел к лесу. Через ров вел мост, но дальше дорогу перекрывал высоченный забор, столь памятный со студенческих лет. Поместье как бы урезали. Вспомнился один из разговоров в больнице (лежа рядом с домом Сталина, больные то и дело возвращались к священной теме). Сын ответработника ЦК рассказал, что перед крупными партийными мероприятиями в доме Сталина поселяют лиц, которые сочиняют и согласовывают доклады для руководства. Атмосфера хорошо способствует творческому началу.

Еще через десяток лет я попал к знакомой в Дом ветеранов кино, построенный возле того же леса. Ветеранам разрешают ходить на окраину парка, но, конечно, не к секретной обители. Вокруг нее вознесли новый железобетонный забор. А внутри, говорят, все так и стоит, как раньше. И правильно. Вдруг опять понадобится? Переждем стихию, а там видно будет, что делать с национальной святыней.

А моя бы воля, я б музей Сталина в Кунцеве сейчас опять открыл. Правдивый или лживый — не имеет значения. Чем лживей, тем, как ни парадоксально, реальней. Музей не столько скромного, сколько примитивного мизантропа. Национальный коммунистический парк. Музей Политбюро, то есть их всех, власть предрежащих в несчастной стране. Музей убожества советской идеологии. Музей, подчиняющийся, в отличие от всех прочих, не Министерству культуры, а соответствующему отделу КГБ.

Хорошо бы только у хозяина дома разрешение спросить. Все-таки личная собственность. Не знаю, простил ли он, что мы тогда попали к нему в гости с соизволения Политбюро, но без его приглашения. Может, тень его, ночью бродящая по вытоптаным в снегу дорожкам, еще прикажет насчет непрошенных гостей распорядиться?

ПЛАГИАТ В ЭПОХУ ГЛАСНОСТИ

Письмо в редакцию

Уважаемый господин редактор.

Недавно я прочитала вышедшую в Москве новую книгу Анатолия Рыбакова «Тридцать пятый и другие годы», являющуюся продолжением романа «Дети Арбата». Буду откровенна, я не поклонница «Детей Арбата». На мой взгляд, это просто очень скучный роман. Однако о его продолжении — «Тридцать пятый и другие годы» — я бы этого не сказала. Роман распадается на две, в общем-то мало связанные друг с другом, части: одна — о дальнейших перипетиях судеб героев, в другой представлены реальные события и реальные исторические фигуры: Сталин, Ягода, Ежов, подсудимые на московских процессах, следователи НКВД, Вышинский, советские военачальники, впоследствии уничтоженные Сталиным.

Читать документальную часть романа захватывающе интересно: однако заслуга в этом принадлежит не Анатолию Рыбакову, а совсем другому человеку, которого уже давно нет в живых, который не был членом Союза писателей и не имел никакого отношения к советской литературе. Человек этот — Александр Орлов, бывший генерал НКВД, который в конце 40-х годов бежал в США, а в 1953-м выпу-

стил на английском языке книгу «Тайная история сталинских преступлений». Русский вариант ее вышел в 1983 году в издательстве «Время и мы», что и побудило меня написать письмо именно в Ваш журнал.

В силу занимаемого положения Орлов знал о преступной деятельности Сталина очень многое, более того, к началу 50-х годов он оказался единственным хранителем уникальной информации о подготовке московских процессов — все остальные, причастные к сталинской кухне на таком высоком уровне, были мертвы. Материал Орлова и «позаимствовал» Анатолий Рыбаков для документальной части своего нового романа.

Если читать обе книги одну за другой, то без особого усилия можно увидеть, как Рыбаков разбивает книгу Орлова на блоки, куски, эпизоды и даже отдельные фразы, которыми затем густо насыщает страницы своего романа. Делает он это достаточно умело, избегая дословного списывания, точнее искусно стилизуя его, чтобы не быть уличенным в прямом плагиате. Перейдем к примерам.

Орлов (речь идет о подозрительно легком наказании, которому подверглись двое ленинградских руководителей Медведев и Запорожец после убийства Кирова):

Капризная жена Медведева уже трижды побывала у него в Сибири... Меня пригласил в гости начальник транспортного управления НКВД Александр Шанин. Показав на два альбома пластинок старинных русских песен, Шанин сказал, что специально отложил их, чтобы послать их Ване Запорожцу в «Лезолото»... Шанин добавил, что Паукер, начальник личной охраны Сталина, только что послал Запорожцу в подарок импортный приемник (стр.22-24*).

Рыбаков (в форме внутреннего монолога Сталина): Почему разрешают жене Медведева ездить к мужу туда и обратно? Зачем это демонстрируется у всех на глазах? Начальник транспортного отдела НКВД Шанин послал Запорожцу два альбома старинных русских песен... Даже Паукер, начальник его, товарища Сталина, охраны, фигляр и трус, парикмахер из Будапешта, и тот осмелился послать Запорожцу радиоприемник (стр.154).

Разницы тут, по существу, нет. Только если Орлов, опираясь на факты, пишет, что все это делалось не только с ведома, но и с поощрения Сталина (кто бы в таком деле осмелился самовольничать?), то Рыбаков представляет дело так, будто и Шанин, и Паукер действовали по собственной инициативе, чего просто никогда не могло быть.

Далее:

Орлов:
В начале 1936 года Молчанов собрал около сорока видных сотрудников органов на специальное совещание... Молчанов сообщил им о раскрытии гигантского заговора, во главе которого стояли Троцкий и Зиновьев, и другие бывшие руководители оппозиции... Все услышанное поразило участников совещания. Посыпались вопросы: как же так могло случиться, что такой гигантский заговор был раскрыт без их непосредственного участия? (стр.71-72).

Рыбаков:
Шарок был единственным оперуполномоченным, вызванным на совещание к Молчанову. За столом усаживались начальники отделов и отделений, их заместители и помощники. В напряженной тишине, ровным голосом он (Молчанов) сообщил, что раскрыт троцкистско-зиновьевский заговор, направляемый из-за границы лично Троцким, а в стране возглавляемый Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым и другими зиновьевцами... Никто на совещании вопросов не задавал, хотя вопросы, как отлично понимал Шарок, были у каждого. Возможно ли, что НКВД с его гигантским агентурным аппаратом, с его всеохватывающей сетью осведомителей... не знал о таком широко разветвленном заговоре (стр.180, 182).

Орлов пишет сжато, может быть, даже сухо, без красоты и эмоций. В его книге — только факты. Рыбаков же берет информацию Орлова, разжижает ее, разбавляет литературными красотами, не пренебрегая подтасовкой фактов и присочиняя, если нужно, кое-что «свое» — его ничуть не смущает, что «клубничка» эта искажает смысл происходящего.

Примеров тьма. Чтобы все их привести, пришлось бы перепечатать почти всю книгу Орлова и полкниги Рыба-

*Здесь и далее цитаты из книг: Александр Орлов «Тайная история сталинских преступлений» («Время и мы», 1983) и Анатолий Рыбаков «Тридцать пятый и другие годы» (Москва, «Известия», 1988).

кова. Но вот, например, очная ставка Ивана Смирнова с его бывшей женой Сафоновой.

Орлов:

Рыдая, Сафонова умоляла Смирнова спасти жизнь им обоим и подчиниться требованиям Политбюро. Она откровенно убеждала его в присутствии Гая, что никто не примет его признания за чистую монету, что все поймут: судебный процесс организован по чисто политическим мотивам... «Тогда, — объясняла Сафонова, — на вас будет смотреть весь мир, и они не посмеют вас расстрелять». (стр.113).

Несколько фраз, добавленных от себя Рыбаковым, и Иван Смирнов становится куда более похож на советского хама (более поздней формации), чем на самого себя.

Далее,

Орлов:

Начальник погранвойск Фриновский взял со стола один из шаров и, поглядывая на него с презрительной усмешкой, обратился к Волвичу: «Если вам требуются корпуса для бомб, можете зайти ко мне, я вам дам настоящие... А те, что вы привезли, для бомб не годятся» (стр.97).

По столь же нехитрому рецепту — что-то — слово в слово, а что-то подправив, подсочинив от себя, — переписывает Рыбаков воссозданную Орловым очную ставку Каменева и Зиновьева на Лубянке, их свидание со Сталиным в здании ЦК, сцены допросов Исаака Рейнголь-

Рыбаков:

...Она опять всхлипнула, выперла глаза, прерывающимся голосом заговорила:

— Иван! У нас нет другого выхода... Только ты можешь спасти наши жизни... Если ты выйдешь на суд, то тебя увидит весь мир и тебя не расстреляют, а если нет, если не выйдешь, то и тебя расстреляют, и нас расстреляют, и никто об этом не узнает...

— Уведите эту дуру! — сказал Смирнов...

— Иван!

— Убирайся! — оборвал ее Иван Никитич. (стр. 258-259).

Рыбаков:

Начальник особого отдела Гай подержал в руках один из шаров, усмехнулся:

— Эти шары так же годятся для изготовления бомб, как и для приготовления из них куриных котлет. Любой артиллерист вам это скажет, любой повар подтвердит (стр.234).

да, «душевную» обработку Пикуля... Но вот, под занавес, еще одна сцена.

Описывается банкет в честь двадцатилетия ЧК-НКВД, на котором начальник сталинского секретариата фигляр Паукер рисует сцену расстрела Зиновьева.

Орлов:

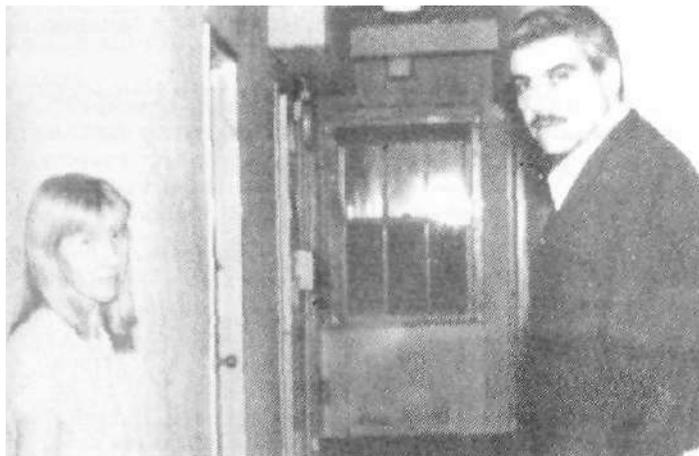
Поддерживаемый под руки двумя коллегами, игравшими роль тюремных охранников, Паукер изображал Зиновьева, которого ведут в подвал расстреливать. «Зиновьев» беспомощно висел на плечах «охранников» и, волоча ноги, жалобно скулил, испуганно поводя глазами. Посередине комнаты «Зиновьев» упал на колени и, обхватив руками сапог одного из «охранников», в ужасе завопил: «Пожалуйста... ради Бога, товарищи... вызовите Иосифа Виссарионовича!» (стр.335)

Рыбаков:

Поддерживаемый под руки Фриновским и Берманом, игравшими охранников, Паукер беспомощно висел у них на плечах, скулил и испуганно вращал глазами. Дойдя до середины комнаты, Паукер упал на колени и, обхватив сапог Фриновского, прижимаясь к нему, завопил: «Товарищ, ради Бога... Товарищ... Позвоните Иосифу Виссарионовичу...» (стр.330).

И все-таки, может быть, напрасны упреки Рыбакову в том, что он позаимствовал материал Орлова. А где еще мог он его раздобыть? К тому же, после выхода за пределами СССР книги Орлова абсолютно все, кто пишет о сталинщине и московских процессах, черпают информацию из «Тайной истории сталинских преступлений». Однако есть разница, так сказать, «мелочь». Западные авторы непременно ссылаются на источник информации. Рыбаков этого не сделал. Он воспользовался тем, что книга Орлова в СССР мало известна, и выдал чужую работу за свою.

*С уважением Людмила Кафанова
Нью-Йорк,*

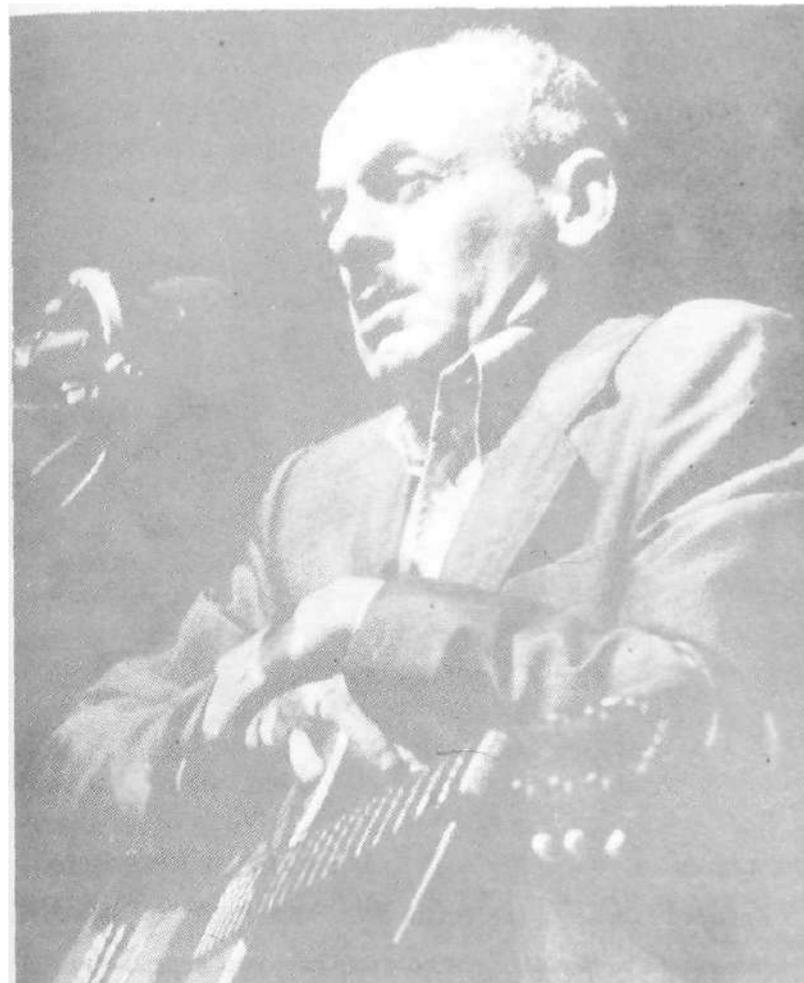


РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ПОРТРЕТАХ И АНЕКДОТАХ

О русской культуре написаны многие тысячи томов — диссертаций, книг, статей, эссе, исследований — океан, который невозможно ни постигнуть, ни даже просто охватить взглядом. А культура развивается, и пишутся новые книги и новые диссертации, и появляются все новые авторы — один серьезнее другого, и все глубже становится научный подход. И это прекрасно, хотя, откровенно говоря, иногда немного скучновато. Бывает же так в жизни: все прекрасно, но что-то тянет ко сну.

По-иному к этой вечной теме решили подойти Марианна Волкова и Сергей Довлатов, заявив, что интересные вещи и интересных людей надо показывать интересно. Вот, собственно, и все, что заявили писатель и фотограф, выпустившие фотоальбом, с несколько интригующим заглавием «Не только Бродский» и с предельно ясным подзаголовком: «Русская культура в портретах и анекдотах». Итак, 60 портретов Марианны Волковой и 60 анекдотов Сергея Довлатова — про Лилю Брик, про Неизвестного и Шемьякина, про Синявского и Марию Васильевну Розанову, про Леву Збарского, про Комара и Меламида, про Аксенова и Элема Климова, про Бахчаняна и Лимонова — словом про очень разных и интересных людей, живущих по обе стороны границы. «Суть книги — в желании запечатлеть черты друзей», — сказали авторы предисловия. И с этой задачей великолепно справились.

В. Петровский



БУЛАТ ОКУДЖАВА

Это было в семидесятые годы. Булату Окуджаву исполнилось 50 лет. Он тогда пребывал в немилости. «Литературная газета» его не поздравила.

Я решил отправить незнакомому поэту телеграмму. Придумал нестандартный текст, а именно: «Будь здоров, школяр!» Так называлась его ранняя повесть.

Через год мне довелось познакомиться с Окуджавой. И я напомнил ему о телеграмме. Я был уверен, что ее нестандартная форма запомнилась поэту.

Выяснилось, что Окуджава получил в юбилейные дни более ста телеграмм. Восемьдесят пять из них гласили: «Будь здоров, школяр!»



ЭЛЕМ КЛИМОВ

У Климова был номенклатурный папа. Член ЦК. О Климове говорили:

— Хорошо быть левым, когда есть поддержка справа...



МАРЬЯ И АНДРЕЙ СИНЯВСКИЕ

Марья Васильевна своеобразно реагирует на письма. Она их даже не распечатывает. Ей кажется, что это не порок, а интересная, даже метафизическая особенность характера. При этом Марья Васильевна занимается самой разнообразной деятельностью. В том числе и предпринимательской. Ведет идейную борьбу. Поддерживает отношения с большим количеством людей. Однако писем не распечатывает. Друзья указывают на конвертах:

«Деньги!»

Или:

«Чек!»

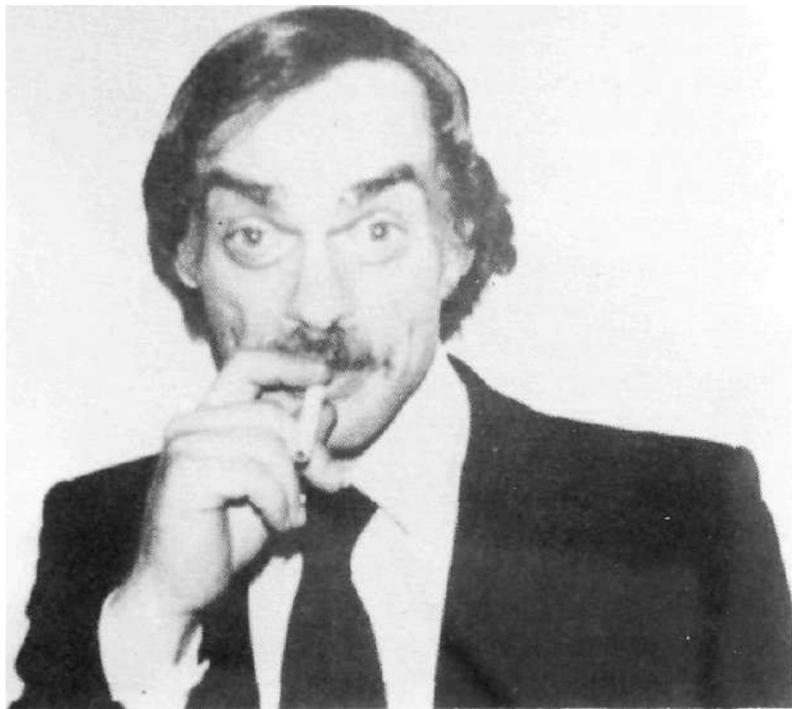
Или:

«Потрясающая сплетня о Максимове!»

Даже это не всегда помогает...

Синявский говорил:

— Хорошо, когда опаздываешь, немного замедлить шаг...



ЛЕВ ЗБАРСКИЙ

Лично для меня хрущевская оттепель началась с рисунков Збарского. По-моему, его иллюстрации к Олеше — верх совершенства. Впрочем, речь пойдет о другом.

У Збарского был отец, профессор, даже академик. Светило биохимии. В 1924 года он собственными руками мумифицировал Ленина.

Началась война. Святыню решили эвакуировать в Барнаул. Спровождать мумию должен был академик Збарский. С ним ехали жена и малолетний Лева.

Им было предоставлено отдельное купе. Левушка с мумией занимали нижние полки.

На мумию, для поддержания ее сохранности, выдали огромное количество химикатов. В том числе — спирта, который удавалось обменивать на маргарин...

Недаром Збарский уважает Ленина. Благодарит его за относительно счастливое детство.



ВАЛЕРИЙ ПАНОВ

Ленинградского хореографа Якобсона западные критики иногда называли провинциальным. Панов этим возмущался. Высказывался на этот счет примерно так.

Называть художника провинциальным — глупо. Художник подобен электрической батарее. Заряжается он, действительно, в столице. Образование получает в столице. А потом ему необходимо уединение, сосредоточенность. Это только бездарные критики должны постоянно заряжать себя информацией. А люди, которым есть что сказать, одиноки...



ВАГРИЧ БАХЧАНЯН И ЭДУАРД ЛИМОНОВ

Как-то раз я спросил Бахчаняна:

- Ты армянин?
- Армянин.
- На сто процентов?
- Даже на сто пятьдесят.
- Как это?
- Даже мачеха у нас была армянка...

Это случилось на одной литературной конференции. В ней участвовали среди прочих Лимонов и Коржавин. В конце состоялись прения. Каждому выступающему полагалось семь минут. Наступила очередь Коржавина. Семь минут он ругал Лимонова за аморализм. Наконец председатель сказал:

- Время истекло.
- Я еще не кончил.
- Но время истекло...

Вмешался Лимонов:

- Мне тоже полагается время?
- Семь минут.
- Могу я предоставить их Науму Коржавину?
- Это ваше право.

И Коржавин еще семь минут проклинал Лимонова за аморализм. Причем теперь уже за его счет.



ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

Как-то раз мне довелось беседовать со Шкловским. В ответ на мои идейные претензии Шкловский заметил:

— Да, я не говорю читателям всей правды. И не потому, что боюсь. Я старый человек. У меня было три инфаркта. Мне нечего бояться. Однако я действительно не говорю всей правды. Потому что это бессмысленно. Да, бессмысленно...

И затем он произнес дословно следующее:

— Бессмысленно внушать представление об аромате дыни человеку, который годами жевал сапожные шнурки...



ЛИЛИЯ БРИК

Самоубийство Маяковского остается для нас трагической загадкой. Многие обвиняют в его гибели Лилию Брик. Она была, что называется, гипотенузой любовного треугольника. Она наводнила дом сотрудниками ЧК. И так далее.

Сама Лилия Брик распространяла другую версию. По ее версии, у Маяковского было глубокое предрасположение к самоубийству. Что-то вроде маниакальной жажды смерти.

Более того, Маяковский и раньше делал попытку самоубийства. Но револьвер с единственным патроном в барабане дал осечку. Лилия Брик выпросила этот патрон у Маяковского. Патрон был чем-то вроде доказательства ее невиновности.

Все это отмечено, увы, печатью дурного тона. Вообще на фоне чьей-то смерти катастрофически проявляется любая безвкусица.

Недаром поэт Крученых говорил:

— Умереть бы, если хватит мужества, со вкусом!



ИОСИФ БРОДСКИЙ

Бродский перенес тяжелую операцию на сердце. Я навел его в госпитале. Должен сказать, что Бродский меня и в нормальной обстановке подавляет. А тут я совсем растерялся.

Лежит Иосиф — бледный, чуть живой. Кругом аппаратура, провода и циферблаты. И вот я произнес что-то совсем неуместное:

— Вы тут болеете, и зря. А Евтушенко между тем выступает против колхозов...

Действительно, что-то подобное имело место. Выступление Евтушенко на московском писательском съезде было довольно решительным. Вот я и сказал:

— Евтушенко выступил против колхозов...

Бродский еле слышно ответил:

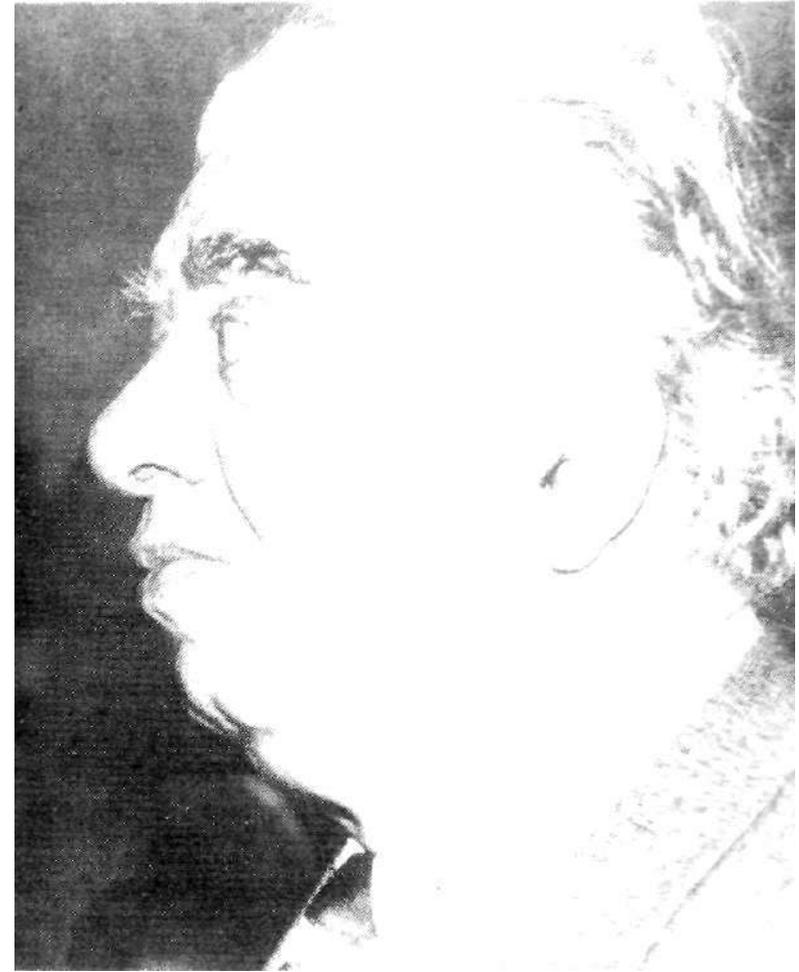
— Если он против, я — за.



ГИДОН КРЕМЕР

Кремер — человек эксцентричный. Любит действовать наперекор традициям. Часто исполняет авангардные произведения, не очень-то доступные рядовым ценителями. Что приводит в ужас его импресарио.

Если импресарио нервничает, проданы ли билеты, Кремер говорит:
— А чего беспокоиться? В пустом зале — резонанс лучше!



АРАМ ХАЧАТУРЯН

Хачатурян приехал на Кубу, Встретился с Хемингуэем. Надо было как-то объясняться. Хачатурян что-то сказал по-английски. Хемингуэй спросил:

- Вы говорите по-английски?
- Хачатурян ответил:
- Немного.

— Как и все мы, — сказал Хемингуэй.

Через некоторое время жена Хемингуэя спросила:

— Как вам удалось английское произношение?

Хачатурян ответил:

- У меня приличный слух...

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ДАВИД ШАХАР — известный израильский писатель. Родился в 1926 году в Иерусалиме. Изучал психологию и литературу в Иерусалимском университете, был учителем, переводчиком, редактором. Автор серии романов «Храм разбитых сосудов», состоящей из шести книг. Первая из них «Лето на улице Пророков» выходит на русском языке в издательстве «Алиа». Третья книга «День графини» была отмечена во Франции в 1984 году как лучшее переводное произведение года. Кроме того, Давиду Шахару принадлежат романы «Агент его величества» и «Медовый и золотой месяц», а также две книги рассказов. Давид Шахар лауреат нескольких премий, его книги переведены на ряд европейских языков.

НАТАЛИЯ ВОЛЬБЕРГ — родилась в 1929 году в Москве, в семье беженцев из Польши. В 1953 году окончила географический факультет Ленинградского университета и факультет русского языка и литературы пединститута имени Покровского. Работала инженером-гидрологом, корректором, литературным редактором. В Израиль эмигрировала в 1973 году, живет в Беер-Шеве, окончила Беер-Шевское педагогическое училище, в течение последних тринадцати лет на педагогической работе.

ЛЕОНИД ИЦЕЛЕВ — родился в Ленинграде в 1945 году. Эмигрировал в 1978 году. Автор драматической дилогии «Мечтатели» (персонажами которой являются Ленин, Гитлер, Сталин, Троцкий, Бухарин), сатирической биографии Коллонтай, а также ряда рассказов. В настоящее время живет в Мюнхене.

ШАРЛЬ ДОБЖИНСКИЙ — см. вступительную заметку к его поэме «Открытое письмо советскому судье».

ЛАРИСА МИЛЛЕР — родилась и живет в Москве. Окончила Московский институт иностранных языков. Член Союза писателей СССР. Публиковаться начала в начале 60-х годов, но ее первый сборник стихов «Безымянный день» вышел в свет в 1977 году, а второй — «Земля и дом» в 1986 г. В течение ряда лет Лариса Миллер преподавала и преподает английский язык, а также «Алексеевскую гимнастику» — пластическую систему, ведущую свое начало от идей Айседоры Дункан.

ДОРА ШТУРМАН — публицист, филолог и историк, заведующая израильским отделением журнала «Время и мы». Родилась в 1923 году на Украине. В 1944 году была осуждена на 5 лет за исследование творчества ряда советских поэтов, связанное с рассмотрением некоторых сторон советской действительности. После освобождения закончила университет и преподавала русский язык и литературу. В Израиле с начала 1977 года. Автор ряда книг и фундаментальных исследований о проблемах советского строя. Последняя фундаментальная работа Доры Штурман «Городу и миру» (О публицистике Солженицына). Постоянно выступает со статьями и исследованиями в русской зарубежной печати.

ВАЛЕРИЙ ЧАЛИДЗЕ — родился в 1938 году. Окончил в 1965 году физический факультет Тбилисского университета, работал физи-

ком в Институте пластмассы. С конца шестидесятых годов начинает активно участвовать в правозащитном движении. В 1968 году во время лекционной поездки В. Чалидзе в США власти СССР лишают его советского гражданства. В Соединенных Штатах совместно с Эдуардом Клейном он организует издательство «Хроника-Пресс», а также собственное издательство «Чалидзе-публикэйшн». Автор четырех книг, из которых наибольшую известность получила «Будущее России», Валерий Чалидзе — лауреат премии Мак-Артура.

ЕЛЕНА ГЕССЕН — переводчик и публицист. Окончила институт иностранных языков. Работала в Московской информационной библиотеке. Эмигрировала в США в 1980 году. Постоянно выступает в русской зарубежной печати.

ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ — известный советский математик. Родился в 1923 году. Начиная с послевоенных лет и до середины семидесятых годов был профессором Московского университета, с 1958 года — член-корреспондент Академии наук СССР. В настоящее время — заведующий отделом алгебры института Стеклова. Игорь Шафаревич — участник диссидентского движения и автор ряда публицистических работ, в частности, он один из авторов сборника «Из-под кльб».

ЕФИМ ЭТКИНД — писатель, литературовед, переводчик и критик. Во время войны воевал на Карельском и Третьем Украинском Фронтах. После войны преподавал в Ленинградских вузах, был профессором Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. В настоящее время живет в Париже, выступает с лекциями в Западных университетах. Под редакцией Е.Г. Эткинды впервые на французском языке вышли поэтические переводы А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Сейчас готовятся переводы А.К. Толстого.

ДАВИД АЗБЕЛЬ — родился в 1911 году в Чернигове. В Москве жил с 1921 года. В 1932 году окончил Московский институт химического машиностроения. В 1935 году за контрреволюционную деятельность был осужден Особым совещанием к пяти годам лагерей, однако, просидел в общей сложности 16 лет. После освобождения защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертации. В последние годы до эмиграции был профессором Всесоюзного заочного политехнического института. В 1974 году эмигрировал в США, был профессором ряда американских университетов. В университете штата Миссури Давиду Азбелю было присвоено звание заслуженного профессора. Автор 50 научных работ и 14 книг в области химического машиностроения.

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ — писатель, журналист, член редколлегии журнала «Время и мы». Родился в 1933 году в Москве, окончил историко-филологический факультет Педагогического института. Работал зав.отделом науки газеты «Московский комсомолец», в СССР был членом Союза писателей, автор нескольких книг прозы и двух педагогических монографий. В 1977 году возбудил ходатайство об эмиграции, однако разрешение на выезд получил только в 1987 году. Сейчас живет в США. В 1988 году вышла книга Ю. Дружникова «Вознесение Павлика Морозова», получившая широкий резонанс как на Западе, так и в СССР.

Summary for the 104th issue of "Vremya i My" ("Time and We")

DAVID SHAKHAR, "Caesar." A modern novel by one of Israel's best-known writers about the life of an Israeli family. The problems of the modern world, of social justice, society and individuals as seen through the eyes of a young Israeli man.

LEONID ITZELEV, "A Detective Story With a Plot Full of Holes." A short story on the topic of emigration and perestroika in the USSR.

CHARLES DOBJINSKY, "Open Letter to a Soviet Judge." An epic poem about the trial of Joseph Brodsky in Leningrad by the renowned French poet and translator. Published to mark the 25th anniversary of Brodsky's trial.

LARISA MILLER, "Words and Silence." Modern verses.

DORA SHTURMAN, "The Temptation of Prognosis." Analyzing the course and the results of perestroika in the USSR, the author arrives at the conclusion that the Gorbachev reforms cannot lead Soviet society out of its dead end.

VALERY CHALIDZE, "Rebirth Is Not Easy." An argument for the opposite point of view: despite the complex and contradictory nature of Gorbachev's reforms, the country is making important steps on the way to democracy.

ELENA HESSEN, "The Colorado Beetle Syndrome." A satirical essay blasting the anti-Western attitudes of Soviet Russophiles.

IGOR SHAFAREVICH, "On Russophobia." The final chapters from the Samizdat tract of the well-known Soviet mathematician, evaluating Russia's past and present from a strongly anti-Semitic point of view. Followed by a commentary by Prof. Yefim Etkind who harshly criticizes Shafarevich's anti-Jewish theories.

DAVID AZBEL, "Before, During and After." This memoir by a former labor camp prisoner who spent sixteen years in Stalin's Gulag focuses mainly on the 1930s, unveiling the processes that laid the ground for the final victory of Stalinism and analyzing the sources of the "Gulag Archipelago" in the USSR.

YURI DRUZHNIKOV, "Visiting with Stalin without Invitation". An essay describing the author's visit to Stalin's dacha in Kuntzevo when it was briefly turned into a museum. On the basis of what he saw, Druzhnikov tries to recreate a real life image of Stalin enriched by many details of his daily life.

ФОНД 100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»

В связи с выходом 100 номера журнала «Время и мы» и в целях его дальнейшего развития принято решение основать ФОНД 100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ».

Журнал «Время и мы» был создан в Израиле в 1975 году и за истекшие 13 лет стал одним из самых авторитетных и популярных русских изданий на Западе. За эти годы в общей сложности было выпущено и разошлось по миру более 150 тысяч экземпляров журнала, из них десятки тысяч ушли по разным каналам в СССР, находя там все новых благодарных читателей.

Но выпустив 100 номеров, редакция считает необходимым со всей откровенностью заявить, что финансовое положение журнала и после 13 лет его существования остается тяжелым. И по сей день каждый его номер создается ценой невероятных усилий, путем огромных затрат средств и интеллектуальной энергии.

Содействие журналу редакция рассматривает как важное общественное дело. Поэтому все, кто внесет средства в ФОНД 100 НОМЕРА, будут отмечены на его страницах.

По договоренности с Координационным центром американских литературных журналов (Coordinating Council of Literary Magazines — CCLM) чеки необходимо выписывать на имя этой организации, с указанием в нижней части чека: «Для поддержки журнала «Время и мы», и высылать в адрес редакции ("Time and We", 409 Highwood Ave., Leonia, New Jersey 07605, USA).

В соответствии с уставом CCLM, все внесенные в ФОНД средства подлежат списанию с налогов.

ВРЕМЯ И МЫ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА ЗА 13 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С №1 ПО №100

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Оз, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л. Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиле), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.

Для подписчиков — скидка 15%

Тот, кто приобретает комплект журнала, в качестве подарка получает полный комплект книг издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue,
Leonia, NJ 07605. USA

**ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ЭМИГРАНТОВ
ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА**

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЛОВО-WORD

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РУССКОЙ КНИГИ —
УНИКАЛЬНЫЙ ФОТОАЛЬБОМ,
ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ

«НЕ ТОЛЬКО БРОДСКИЙ»

(РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ПОРТРЕТАХ И АНЕКДОТАХ)

Фото — Марианны Волковой,
текст — Сергея Довлатова
на русском и английском языках.

Лучший подарок интеллигентным американцам!

В книге 112 страниц. Цена — 18 долларов.
Заказы (чеки или мани-ордеры) направлять
с пометкой «фотоальбом» по адресу:

Cultural Center for Soviet Refugees.

139 East 33rd St. No.9M. New York, NY 10016

(212)684-2356

**Александр Орлов
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книге Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА
И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА,
РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕ-
ХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловецкий детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 15 долларов. Пересылка - 1 доллар.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201)592-6155**

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА

БОРЬБА В КРЕМЛЕ —

ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА

Вслед за американским изданием (издательство "Додд-Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко нашумевшая книга "Андропов".

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ: ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО
КРЕМЛЬ — О МИРЕ

О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО
ПОХОРОНАМИ

ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО

ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ

ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ

В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?

КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

ЗНАКОМЬТЕСЬ, МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ

БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО

ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ

КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ

Цена книги — 16 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue
Leonia, NJ 07605, USA

Григорий СВИРСКИЙ

ПРОРЫВ

Роман о судьбе эмиграции из СССР

Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э.Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".

Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".

В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, которых судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.

Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни героев в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные, человеческие драмы, через судьбы героев.

"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов. Заказы и чеки высылайте по адресу:

Hermitage Publishers of New Russian Books
2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ
ВОЗНЕСЕНИЕ
ПАВЛИКА МОРОЗОВА

Первое независимое расследование зверского убийства подростка, донесшего на отца, и процесса создания из мальчика самого известного советского героя, проведенное через пятьдесят лет после трагических и загадочных событий московским писателем, который рискнул сопоставить официальный миф с историческими документами и показаниями последних очевидцев

Правда о Павлике Морозове, официальном пионере-герое № 1, убитом кулаками, противниками колхоза за то, что мальчик разоблачил своего отца, врага советской власти, тщательно камуфлировалась в течение полувека. Писатель Юрий Дружников отправился в Сибирь, на родину Павлика, а затем объехал одиннадцать городов в поисках оставшихся в живых родственников, очевидцев, свидетелей. Он фотографировал места, людей, документы, сохранившиеся в частных архивах, и записывал показания свидетелей на пленку.

Оказалось, что герой-доносчик не был пионером, колхоза тоже не было. Сын донес на отца вовсе не ради советской власти. И убит мальчик был не кулаками. Их в деревне вообще не существовало. Автору книги удалось разыскать и сфотографировать подлинных убийц, нити от которых тянулись к начальнику Особого сектора личного секретариата Сталина.

264 стр., 75 фотографий, цена 6 дол.

Книгу можно заказать в издательстве OPI
 8, Queen Anne's Gardens, London W 4 1TU, England
 или в книжном деле
 A. Neimanis
 28 Bauerstrasse
 8000 Munich 40, West Germany

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД
СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА. АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

Цена книги — 15 долларов.

Заказы и чеки высылать по адресу:

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
 LEONIA, NJ 07605, USA
 Tel.: (201)592-6155**

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ».

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE

LEONIA, NJ 07605, USA

Tel. (201) 592-6155

Цена книги 10 долларов.

В книге 254 стр.

НОВЫЕ КНИГИ OPI

**Виктор Суворов
АКВАРИУМ**

«Каждый знает, какой стране принадлежит самая мощная в мире секретная служба. Конечно, Советскому Союзу. И эта служба именуется КГБ. А какой стране принадлежит вторая по величине и мощи тайная служба? На этот вопрос мы отвечаем так же: Советскому Союзу. И эта служба именуется ГРУ». Аквариум — здание ГРУ на жаргоне его сотрудников.

366 стр.

9.50 ф.ст.

**Илья Земцов и Джон Фаррар
ГОРБАЧЕВ:
ЧЕЛОВЕК И СИСТЕМА**

Семьдесят лет после Октября

«Исследование личности Горбачева дает нам возможность понять советское общество не только в канун семидесятилетия его революции, но и на многие годы после него. Без ортодоксального коммунизма Горбачев, возможно, обойдется. Вопрос, однако, в том — обойдется ли он без тоталитаризма» (из Пролога).

320 стр.

9.50 ф.ст.

**Жак Росси
СПРАВОЧНИК ПО ГУЛАГУ**

Исторический словарь советских пенитенциарных институций и терминов, связанных с принудительным трудом.

Предисловие Алена Безансона.

«В литературе о ГУЛаге труд Жака Росси, — читаем в предисловии. — занимает оригинальное место... В сухой и безличной форме приведено больше проверенной и классифицированной информации, чем та, которой мы располагали доселе... И тот, кто углубится в эту книгу, ужаснется, будет столь же потрясен, как при чтении искусно написанного повествования»

546 стр.

13.50 ф.ст.

**Борис Винокур
ТАЙНА КРЕМЛЕВСКИХ СТЕН**

Политический детектив, раньше издан с большим успехом в переводе на английский язык.

240 стр.

9 ф.ст.

Книги можно заказывать в издательстве OPI (Overseas Publications Interchange Ltd. — 8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England), в КНИЖНОМ деле А. Neimanis (Bauerstr. 28, D-8000, Munchen 40 West Germany) и во всех русских книжных магазинах.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. *Пикассо и окрестности.* — 12 долларов.
 М. БАХТИН. *Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса.* — 36 долларов.
 А. БЕЛЫЙ. *Христос воскрес.* — 5 долларов.
 К. ВАГИНОВ. *Труды и дни Свистонова.* — 10 долларов.
 Е. ДУМБАДЗЕ. *На службе Чека и Коминтерна.* — 10 долларов.
 П.П. ЗАВАРЗИН. *Работа тайной полиции.* — 10 долларов.
 А. КОТОМКИН. *О чехословацких легионерах в Сибири.* — 10 долларов.
 П.Н. КРУПЕНСКИЙ. *Тайна императора.* — 7 долларов.
 В.И. ЛЕБЕДЕВ. *Борьба русской демократии против большевиков.* — 12 долларов.
 И. РЕЗНИКОВА. *Пушкин и Собоньская.* — 5 долларов.
 А.РЕМИЗОВ. *Пляс Иродиады.* — 12 долларов.
 И, СЕВЕРЯНИН. *Колокола собора чувств.* — 5 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. *Ход коня.* — 12 долларов
 В. ШКЛОВСКИЙ. *Гамбургский счет.* — 15 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. *Сентиментальное путешествие.* — 20 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. *Техника писательского ремесла.* — 10 долларов.
 Э. и О. ШТЕЙН (составители). *Чтобы Польша была Польшей.* — 9 долларов.

Готовится к печати:

- В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). *Георгий Иванов — Несобранное.* Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477. USA

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1989

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 55 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 60 долларов; для библиотек — 79 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA

TEL: (201)592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....
 Имя.....
 Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на.....год. Высылать с номера.....Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE.
409 Highwood Avenue. Leonia, NJ 07605
(201) 592-6155

**Набор, монтаж и подготовка к печати выполнены
компанией NAME Advertising Co.**

OCR и вычитка — Давид Титиевский, июль 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**Первая страница обложки выполнена
художником Вагричем Бахчаняном.**

**На четвертой странице обложки Марианна Волкова: Юрий Любимов
и Эрнст Неизвестный в Нью-Йорке.**

